ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2015

Станислав Ливинский
Кусочек жизни в собственном соку
Стихи

Илья Фаликов
Борис Рыжий. Дивий Камень

«Литературный ковчег»
Армения на страницах «ДН»

Олжас Сулейменов
Независимость —
это осознанная взаимозависимость

Андрей Пустогаров
Сергей Жадан: предсказанный ад

4’2015

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Дружба народов

4'2015

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.02.2015.
Подписано в печать 27.03.2015.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7165. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ

Лев АННИНСКИЙ

Леонид БАХНОВ

Ирина ДОРОНИНА

Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Резо ГАБРИАДЗЕ
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Александр СНЕГИРЁВ
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Станислав ЛИВИНСКИЙ. Кусочек жизни в собственном соку. *Стихи* **3**
Владимир МЕДВЕДЕВ. Заххок. *Роман. Окончание* **6**
Константин СИТНИКОВ. Жив человек. *Стихи* **103**

Армения на страницах «ДН»

Эдуард АРЕНЦ. Невыносимая легковесность. *Стихи.*
Переводы Г. Арутюнян, В. Чембарцевой, Г. Баренца **106**

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Грант МАТЕВОСЯН. «Литература — это мучительная попытка мира облагородиться».
Переводы А. Тадевосян, О. Панфила. Под редакцией Е. Мовчан **108**

Клаудио ПОЦЦАНИ. Блюз Армения. *Стихи*. *Перевод Д. Матевосяна* **115**
Серж ВЕНТУРИНИ. От Эренбуни до Еревана. *Перевод Л. Меликсетян* **116**
Геворг ГИЛАНЦ. Все дороги ведут. *Перевод С. Надеева* **117**
Ованес АЗНАУРЯН. Автобус. *Рассказ* **125**
Карине АШУГЯН. Может, в другой ещё жизни. *Стихи. Перевод Т. Лесновой* **133**
Марго ГУКАСЯН. Матушки Алмаст армянского народа. *Перевод Э. Бабаханян* **135**

События. Суждения. Судьбы

Илья ФАЛИКОВ. Борис Рыжий. Дивий Камень **144**

Нация и мир

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Независимость — это осознанная взаимозависимость **228**

Литература и жизнь

Андрей ПУСТОГАРОВ. Предсказанный ад **230**
Сергей ЖАДАН. Спроси, что про всё это думает Творец. *Стихи. С украинского.*
Перевод Андрея Пустогарова **235**

Книжный развал

Станислав СЕКРЕТОВ. Обыкновенная трагедия **241**
Ирина ВАСИЛЬКОВА. Миф как миф **243**
Елена САФРОНОВА. Путь от старого маяка **248**

Эхо

К определению русскости. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **252**

Summary **256**

© «Дружба народов», 2015

Станислав Ливинский

Кусочек жизни в собственном соку

* * *

Что нам родина? Дом, неуклюжий забор,
свадьба друга — какая же свадьба без драки!
По субботам в ДК репетирует хор
ветеранов труда под названием «Факел».

Факел факелом, н*о* провели б лучше газ,
чтобы гнать было проще священный напиток.
Поздно вечером выйдешь — хоть выколи глаз,
лишь у сельского клуба фонарь-недобиток.

Разговоры всё больше про мир, про войну.
Председатель смешной в кирзачищах и шляпе.
И сосед, схоронив на неделе жену,
развязал и ещё пуще прежнего запил.

Да и сам-то ты кто?! — как вопрос и ответ.
Здесь такое бабьё про тебя нарасскажет.
Но с утра, как всегда, повторится рассвет
и окажется вдруг, что всё это не важно,

потому что на грядках морковка и лук
и своими руками сколочен скворечник,
потому что сверкает доспехами жук
и травинкой прикинулся хитрый кузнечик.

Ливинский Станислав Аликович — поэт. Родился в 1972 г. в г. Ставрополе. По специальности фотограф. Автор книги стихов «А где здесь наши?» (М., 2013). Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2012). Живет в Ставрополе.

* * *

И синева над головой,
и старый тополь в три обхвата.
Шиповник замер сам не свой,
присев на корточки у хаты.

Как описать? — изба избой,
в таких ещё сверчок за печкой
и краской светло-голубой
всегда окрашено крылечко.

Всё это выдать за своё.
Художник скажет — вот картинка!
Как бабка вешает бельё
в огромных мужниных ботинках.

Как, не отбрасывая тень,
всё время смотрит виновато.
И выкипает летний день
на медленном огне заката.

* * *

На заплёванном вокзале
негде яблоку упасть.
Утоли мои печали,
сохрани со мною связь.
Сумки с разными вещами.
Кто — из дома, кто — домой.
Обнимаясь на прощанье,
прослезились, боже ж мой.
Пассажирский пёстрый табор,
мы теперь его жильцы.
По ночам выходим в тамбур,
как заядлые курцы.
И дымим, покуда поезд
нас уносит в никуда,
оголённые по пояс,
как электропровода.

Отпуск

II. Алушта

А в тайне мечтал, что увижу прибой,
пройдусь по безлюдной аллее;
что парус тот самый, а может другой,
в тумане всё так же белеет.

Но кто-то задумал иной антураж,
собрав на продажу ракушки.
Забор неказистый, насыпанный пляж,
охранник и пальма в кадушке.

Свезли со всего побережья песок,
устроили царство загара.
Мужчина и женщина, с ними щенок —
как видно, бездетная пара.

Но лучше не думать про них и щенка,
а молча курить у причала
и в небо смотреть, как плывут облака,
которых и дома навалом.

Осень в парке

Крики дворников, мётлы и грабли,
танцплощадка с опавшей листвой.
Неуклюжие крупные капли
барабанят по сцене пустой.
Ничего, кроме смутного эха
песни, слышанной очень давно,
кроме, может быть, комнаты смеха,
где уже никому не смешно.
Даже ты, на себя не похожий —
как сказал бы отпетый поэт —
ощутишь, что гусиною кожей
покрывается память в ответ!
И ещё раз пройдёшь по аллейке,
расточая остатки тепла,
где скучают пустые скамейки
и деревья в чём мать родила.

Охотники на снегу

У них средневековая зима.
Они, спускаясь медленно с холма,
несли дары унынья и печали.
Они сходили медленно с ума
и тяжело и вдумчиво дышали.

Не шествие уже — почти обряд
божественного тайного замеса.
Скользит нетерпеливый дальше взгляд:
деревья одинокие стоят —
за чьи грехи изгнали их из леса?

Внизу — деревня, там иной сюжет,
как будто у природы именины.
Цвета нежней и даже ярче свет.
И птица вот уже полтыщи лет
летит для равновесия картины.

Художник, может быть, приврал слегка,
зато какие горы и река,
как рады все и снегу, и морозу.
Кусочек жизни в собственном соку...
И только три фигуры на снегу,
застывшие в немых библейских позах.

Владимир Медведев

Заххок

Роман

14. Даврон

Крыса был первым. Но тогда, в семьдесят шестом году, в детском доме, я этого не знал. Звали его Васькой. Крыса — это из-за фамилии Крысиков, но фактически он смахивал на Чебурашку. Был такой же слабый и наивный. Приходилось защищать, когда над ним измывались.

Однажды пацаны втихаря чухнули на канал купаться. Казнили за это по полной. Филипп Семенович, наш директор, всегда грозил: «Еще раз повторится— пожалеете, что не утонули». Все равно сбегали. Васька, дурачок, потащился со всеми. На краю канала стояла будка с плоской крышей. С нее ныряли. Смелые — головкой. Бздиловатые — ножками. Васька тоже залез на крышу и жался сбоку. Джага спросил:

«Ну че, Крыса, нырнешь или зассышь?»

«Нырну».

Конечно, зассал. Переминался на краю, пока Джага не столкнул. Васька плюхнулся животом. Вода ледяная, течение быстрое, бетонные откосы крутые. Его потащило со скоростью света. Васька барахтался, а пацаны от души уматывались: «Вот, блять, Крысеныш лягушкой заделался». А я понял: ему хана, не выплывет. Прыгнул. Когда догнал, Ваську успело на серединку вынести. Он уже и не бултыхался. Отбуксировал его к борту, но там хрен за что зацепишься. Гладкие стенки. И Васька, вроде, уже не дышит. Так и волокло меня мордой по бетону. Кранты обоим, если б не проволоки. Через каждую сотню метров по борту были проложены сверху вниз толстые проволоки. Типа рисок на линейке. Мимо одной пронесло, за другую я ухватился, а вылезти — ни в какую. Одной рукой в проволоку вцепился, другой Ваську держу. А он тяжелый. В воде что ли разбух? Пацаны прибежали, спустились по скату, кое-как вытащили. Откачали Ваську. Он по дурости проболтался воспитателям. Всех наказали.

Через неделю он выпал из окна. С третьего этажа. Верхнего. Пацаны разное болтали. Одни говорили, сам по себе свалился. Другие, кто-то столкнул. На окне железная сетка была оторвана... Асфальт не вода. Расшибся вдребезги. Его смерть никого особо не зацепила. Джага сказал: «Лягушкой был говенной, а птицей и подавно. Ни хера летать не научился». Дети — жестокие звереныши, а Крыса никогда не числился «своим». Со временем и я о нем забыл.

Окончание. Начало см. «ДН», 2015, № 3.

Вспомнился Васька в августе восемьдесят четвертого, когда умирала Надя. Я с ума сходил от чувства бессилия. От невозможности помочь. День и ночь в мозгу крутился один вопрос: почему? Тогда-то меня и пробило: это моя вина! Я приношу несчастье. Понял, и тут же передо мной выстроились мертвецы. Начал считать и ужаснулся: Крыса, Костя, Анвар, Филипп Семенович, Саид... Выпал из окна, попал в аварию, угорел в бане по пьянке, отказало сердце, погиб при неизвестных обстоятельствах, покончил с собой...

Надя пыталась разуверить. Я сидел в больничной палате возле кровати, держал ее за руку, а Надя, слабая, умирающая, шептала еле слышно:

«Прекрати фантазировать. И про этого, про Крысу тоже... Ты его не погубил, а спас. Если б не вытащил бедного мальчика из воды, он бы утонул. То, что с ним случилось потом, не имеет к тебе никакого отношения... И в моей болезни ты никак не виноват...»

Надя умерла седьмого августа восемьдесят четвертого года, во вторник. Врачи говорили: врожденная слабость легких, перенесенный в детстве туберкулез и прочее. Но я знал: виноват. С тех пор постоянно ощущаю где-то в глубине мозга темную зону. Наглухо запечатанную, блокированную область воспоминаний. Снять блокаду не дает инстинкт самосохранения. Слишком много вырвется эмоций. Разорвет на куски. Бесчувственность защищает, как панцирь. Как укол новокаина в душу. Горечь, чувство вины, отчаянье — только глухие отголоски. Постоянный фон.

После смерти Нади много думал и читал. Глушил ощущение потери и старался понять, что происходит и почему. Ответ получил в июне восемьдесят пятого. Через триста двадцать два дня после Надиной смерти. Я готовился к выпускным экзаменам. Заставлял себя сидеть над учебниками. Дело шло туго. Практически не вставал из-за стола. Двадцать третьего числа, как всегда, засиделся до глубокой ночи. Заснул за столом. Проснулся, как от пинка, и вдруг понял, как работает система. Меня окружает мощное энергетическое поле. Зона катастрофы. Чужие могут входить в нее без всякого для себя вреда. Они — диэлектрики. Зона смертельно опасна только для тех, с кем меня связывают силовые линии. Дружба, симпатия, близкие отношения. Если связь возникла, то навсегда. Ссориться, разбегаться в разные стороны, враждовать — бесполезно. Соединение не рвется. Напряжение копится, растет, пока не доходит до критической точки. Затем — разряд. Короткое замыкание.

Заранее узнать, на кого именно пробьет фазу, невозможно. Если и имеется закономерность, то очень запутанная. Не для моих мозгов. Однако кое-что я подметил. Проверил — сошлось. Четкая периодичность. Замыкание каждые три года. Семьдесят пятый — Васька. Семьдесят восьмой — Толик. Восемьдесят первый — Филипп Семенович. Восемьдесят четвертый — Надя...

Последнее замыкание произошло три года назад. Весной девяностого года. К тому времени я научился распознавать приближение катастрофы. Двадцать первого марта начали поступать первые сигналы. Мне ни с того ни с сего сделалось худо. Головная боль, сердце, озноб, слабость, кошмары по ночам... Двадцать пятого внезапно полегчало. Полностью отпустило. Штиль после шторма. Морально стало еще хуже. Я знал: кого-то пробило на фазу. Рядом никто не пострадал. Закоротило того, кто находился в зоне контакта в прошлом. Писать письма, опрашивать всех подряд — бесполезно. Со многими потеряна

связь. Фактически никогда не узнаю, кто стал жертвой. Но вина гложет, как обычно. Ни на процент меньше.

Сейчас календарь не нужен. Чувствую и так — концентрируется очередной разряд. Голова точно набита сырым мясным фаршем. Тесно в груди. Воздух вязок точно глицерин. Аритмия. Вновь снится прежний кошмар...

Кого ударит в этот раз? Зарину? Вероятность — девяносто процентов. Даже девяносто пять. Олега? Маловероятно. Зухура, диэлектрика хренова? Абсолютно невероятно. Жаль! Этого гада я с бы радостью пустил под разряд. Но не я выбираю. И не в силах повлиять на выбор. Зухур — просто проводник. Вроде вибрационного датчика мины МС-4. Сработает от малейшего толчка. У него-то волос с головы не упадет — это Зарину разорвет на куски. Теперь с него пылинки сдуваю. Изо всех сил сдерживаю ненависть. Чтоб не увеличить напряжение. К счастью, он не в курсе. Узнай, замордовал бы. Сейчас подлизывается.

Почему? Объяснение простое. Он перехватил сообщение кишлачного агентства новостей. Кто-то из мужиков попытался удрать из ущелья на отхожий промысел. И обломался. Перевал Хабуробод полностью разрушен. Придется везти товар через Бадахшан. Конечно, если пропустит тамошний авторитет Алёш Горбатый. По донесению деревенского информбюро, он в данный момент находится не в Хороге, своей столице, а в Калаи-Хумбе. Зухур загорелся — надо использовать счастливый случай, ехать на поклон. За разрешением на провоз. Канючит:

— Даврон, дорогой, как я один, без тебя?

— А гвардия твоя на что?

Мнется, мямлит:

— Э-э, шпана... Им доверять нельзя. Понимаешь, дорога, дело такое...

Зря опасается. Его блатные лейб-гвардейцы — люди подневольные. Без приказа курган-тюбинского начальства Зухура пальцем не тронут. А прикажут, и в Ходжигоне замочат. Непосредственно на дому.

— Факт, — пугаю его, — духам доверять опасно. Завалил Рембо, теперь бди.

Он вскидывается:

— Я их не боюсь! Они охранять не могут. Рычат, зубы скалят, а силы нет. Такой, как у тебя. А к Алёшу ехать — сила нужна.

Реально. Правительственные войска недавно с боями вытеснили в Дарваз и Бадашхан туеву хучу боевиков оппозиции. Многие осели в Калаи-Хумбе. Соваться туда — считай, что лезть в яму со змеями.

— Лады, — говорю. — Убедил. Еду.

Зухур скрывает удивление и тут же, покровительственно:

— Оказывается, с тобой иногда договориться можно.

Он готовился к долгим уговорам. К позиционной войне. А я вдруг — раз и согласился. Всматривается подозрительно: в чем подвох? Элементарно, Ватсон. С началом войны в Санговаре пропала телефонная связь. А мне необходим телефон. Из Калаи-Хумба позвоню Сангаку. Пусть присылает замену. Я еще не решил, уеду или останусь. Во всяком случае, получу свободу выбора. Обдумывал такой вариант, но ехать в Калаи-Хумб не решался. Страшно было оставлять Зарину без присмотра. Мало ли что стукнет Зухуру в голову.

Он тревожится:

— Не откажешься потом? Обещаешь?

— Сказал же, поеду.

Ночью снится сон: сижу в больнице у постели и держу за руку умирающую Зарину, бледную, исхудавшую...

Семь тридцать. Выезжаем на трех машинах. Впереди — десять бойцов в фургончике. Следом — Зухур. Я замыкаю. Водитель, как всегда, Ахадов. Километра через полтора он поправляет боковое зеркало. Заглядывает — не едет ли кто сзади.

— Эй, Даврон, хочу одну вещь сказать.

— Ну.

— Это... знаешь, как говорится: «Каждому своя могила, каждому свой саван».

— Давай прямо. Без народных мудростей.

— Хуш, — соглашается. — Могу прямо. Еще знаешь, как говорят: «Не мой котел, пусть в нем хоть глина варится». Понимаешь, да? Вчера вечером ко мне Гург подошел, сказал: «Брат, с Давроном поговори». Я сказал: «Хуш, поговорю». Он сказал: «Скажи Даврону, пусть он не боится. Каюм приказал Даврона не трогать. Но ты скажи, пусть Даврон тоже не борзеет. Каюм — в Кургане, а отсюда до Кургана далеко».

— Угрожал, значит?

— Не-е-т. Сказал: «Ты Даврону скажи, пусть он хорошо подумает. Зухура убирать пора. Зухур мышей не ловит. Если что случится, пусть Даврон не вмешивается».

Нормально! Так вот почему Зухур боится свою гвардию. Стало быть, ему уже успели стукнуть.

— Поня-я-я-тно, — говорю. — Что еще сказал?

— Больше ничего не говорил... Даврон, что делать будешь?

Не знаю. Сангак не поручал мне охранять Зухура. Я не обещал его защищать. Объект охраны — посевы. Если блатные устранят Зухура, это освободит Зарину. Без моего участия. Это плюс. Огромный плюс. Но я не могу позволить самодеятельность. Ситуация наверняка пойдет вразнос. Это факт. Устранив Зухура, блатные, по сути, захватят власть. Доход от нового сорта отправится неизвестно кому и куда. Наверняка не в Народный фронт. Огромный минус... Выводы: нарушить обещание Сангаку я не могу. Следовательно, придется защищать Зухура. Защищая Зухура, ставлю под опасность Зарину. Плюс и минус уничтожают друг друга. Ноль. Тупик...

Меня охватывает ощущение, что газик неподвижно застыл на месте. Точно каменная глыба посреди горной реки. Дорожное полотно хлещет в капот мутным потоком. Бурлит, бьет в ветровое стекло, обтекает и проносится мимо. Смотрю перед собой на дорогу в одну точку, и кажется, что пейзаж не меняется. Время остановилось.

На подъезде к кишлаку Кеврон дорога замедляет бег и разливается вширь. Справа открывается просторное устье бокового ущелья. В глубине лежит на боку развороченный остов «камаза».Чуть дальше — обгорелые остатки легковушки. Вокруг — десятка полтора трупов. Около них бродят люди. Думаю, родичи убитых. Отыскивают своих. Бой был ночью или вчера вечером. Иначе родственники успели бы забрать тела. Бились либо местные боевики между собой, либо погранцы с боевиками.

Десять пятнадцать. Доезжаем до Кеврона. Кишлак лепится к правому пологому склону. Вдоль дороги — беленый кирпичный забор. Погранзастава. Передние машины притормаживают, останавливаются. Путь перекрыт шлагбаумом. У глухих железных ворот — трое караульных. Бойцы вываливают из фургончика. Толпой топают к часовым. По-русски:

— Открывай!

— По-хорошему просим. Иначе плохо будет...

По-таджикски:

— Рауф, сзади зайди. Не откроет — по голове бей. Автоматы отнимем, шлагбаум поднимем, проедем...

Глушу партизанщину:

— Разойтись! Отставить базар!

Подхожу к старшему из караульных:

— В чем дело, сержант?

— Приказ — никого не пропускать.

— Мы мирные люди. Едем в Калаи-Хумб. На деловую встречу.

— Да хоть на свадьбу. Приказ есть приказ.

— У нас договоренность. С Алёшем Горбатым.

Сержант фыркает:

— А с Мишкой Горбачом не договаривались? Мне они по херу — что горбатые, что меченые... У меня свое начальство.

Говорю:

— Брось, не напрягайся. Вызови командира.

Сержант размышляет. Оценивает ситуацию.

— Михайлов, сходи.

Боец идет к воротам. Пытаюсь установить контакт:

— Тут вчера вроде как Курская дуга проходила.

Сержант поправляет на плече ремень автомата. Прикидывает, стоит ли отвечать.

— Тоже наподобие вас... По договоренности ехали. В гробу я видел такие договоры. Сначала договариваются, потом набалмашь, с дурной головы по нам пальбу открывают. Пришлось объяснить доходчиво. Так что ты мне про уговоры не толкуй...

Жду. В десять двадцать семь из КПП выходит старший лейтенант. Злой и усталый. Хмуро спрашивает:

— Кто такие?

Отвечаю:

— Мирные предприниматели. Из Санговара.

Он слегка кривится. Факт, имеет информацию о Зухуре. Уточняю:

— По торговым делам к Алёшу Горбатому. Договорились заранее.

— К Горбатому? Ну, тогда ясно, какие дела.

— Он обещал, что пропустят без проблем.

Старлей усмехается:

— Алёша Горбатый у нас — юный друг пограничника. Его гостям всегда полный хуш омадед. В любой час дня и ночи. Но не сегодня. Сегодня не пропустим.

— Ждет он, — лукавлю. — Дело горит.

Старлей:

— Коли горит, есть такое предложение. Оставьте оружие на заставе, а там — вперед и с песнями в Калаи-Хумб. На обратном пути заберете стволы. Не пропадут. У нас, как в лучших гардеробах Парижа. Гарантирую.

Говорю укоризненно:

— Товарищ старший лейтенант, как же без оружия? В гости ведь едем.

— Это верно: в гости без оружия нельзя. И с оружием нельзя.

Зухур выбирается из своего экипажа. Подходит. Важно протягивает руку. Старлей пожимает с видимой неохотой.

— Моя фамилия Хушкадамов, — сообщает Зухур. — Свяжите меня с комендатурой. С Маркеловым.

— Может, лучше сразу со Шляхтиным?

— Это кто?

— Генерал-полковник, командующий пограничными войсками Российской Федерации.

Зухуршо в упор не понимает иронии. Серьезно:

— Нет, сначала с Маркеловым.

— Послушайте, как бы вам повежливее объяснить... — устало говорит старлей. — Начальник комендатуры — большой человек. Очень большой. С ним просто так поговорить очень непросто.

Зухур хмурится:

— Слушай ты, старлей... Я Маркелова знал еще тогда, когда ты у мамки сиську сосал. Работали вместе, в Пянджском районе. Он меня знает. Звони ему.

— Ты мне приказы не отдавай! — отрезает старлей.

Зухур меняет тактику. Доверительно:

— Узнает, что ты не дал нам поговорить, — обидится.

Вижу, старлей колеблется. Факт, думает: а что если этот хрен с горы и впрямь приятель Маркелова?

— Так и быть, идите за мной.

Уходят в КПП. Бойцы усаживаются на корточки в кружок посреди дороги. Передают по кругу пакетик с насваем. Располагаются ждать с комфортом. Трое погранцов у шлагбаума откровенно держат их под наблюдением. Чувствую: готовы в любой миг сорвать автомат с плеча.

Десять сорок пять. Зухур выходит. Рожа мрачная. Следом старлей.

— Наверное, товарищ Маркелов очень занят сейчас, — говорит Зухур. — Даже вспомнить о нашей прошлой дружбе времени не имеет. Ничего, я не обижаюсь... Послушай, лейтенант, давай договоримся. Ты тоже в обиде не останешься...

— Вопрос решен, — отрезает старлей.

Остается стоять у шлагбаума. Контролирует ситуацию. Ворота заставы раскрываются, выползает БМП. Перегораживает дорогу.

— Веришь в приметы? — спрашиваю Зухура.

— Э, глупости.

— Поня-я-я-тно, — говорю. — Беды, значит, не хлебал. А я точно знаю: надо назад.

— Я решения никогда не меняю.

— Тебе справка из ЦК с печатью требуется? Прикинь, какова ситуация. Это ж прямое указание.

Мнется...

Слышу: по дороге с восточного направления приближается машина. По звуку — легковушка. Выныривает из-за поворота. Бойцы поднимаются на ноги. Отходят на обочину. Следят за приближающимся уазиком.

— Ястреб летит, — говорит сержант.

Потрепанный УАЗ-469 подлетает к заставе. Последние метры перед шлагбаумом скользит юзом. Лихо пикирует! Но чисто. Застывает в десятке сантиметров от полосатой стрелы. Из кабины выходит высокий мужик в армейской полевой форме. Без знаков различия. Обут в кроссовки. Военная выправка. Короткая стрижка. Горный загар. Кричит весело:

— Саня, здорово! Держишь границу на замке?

Старлей откликается:

— Привет. А ты все гуляешь?

— Прогуливаюсь. Дредноут, гляжу, выставил. Заминировал бы лучше дорогу, и все дела...

Мужик обменивается рукопожатием со старлеем. Протягивает краба сержанту. Обходит кружок бойцов. Пожимает руку каждому. Идет ко мне:

— Сергей.

Называюсь. Мужик задерживает мою ладонь:

— Привет, Даврон! Знаком заочно. Сангак про тебя говорил.

Зухур ревнует, тянет ручонку, спешит представиться:

— Хушкадамов.

Мужик ему в тон:

— Ястребов. Про вас тоже наслышан — в Кургане до сих пор поминают. Весь город на неделю без хлеба оставили...

Зухур пыжится:

— Городские люди. Только о своем брюхе заботятся. А что в горах от голода умирают, им безразлично. Бобо Сангак, слава Богу, не такой. Понимает... Разрешил муки взять, сколько потребно.

— Говорят, рвал и метал, когда доложили, сколько вы выгребли.

— Пусть говорят. Бобо Сангак меня знает. Как-нибудь это дело уладим.

— С ним теперь нелегко связаться.

— Почему нелегко? В Калаи-Хумбе телефон есть.

Ястребов ухмыляется:

— Туда, где теперь Сангак, линию пока не провели.

Зухур тупит:

— Дело не спешное, вернется в Курган-Тюбе, тогда поговорим.

— Вряд ли вернется, — говорит Ястребов. — Убили его.

— Ц-ц-ц-ц, — Зухур цыкает языком, качает головой. — Убили...

Строит равнодушную морду, пытается скрыть улыбку.

Чувствую, как внутри нарастает напряжение. Теснее сжимается в груди, начинает подташнивать. Изо всех сил сохраняю спокойствие. Вдох. Медленный выдох.

— Точно? — спрашиваю.

— Абсолютно, — говорит Ястребов. — Как в газете «Правда».

— Когда?

— Три дня назад. Двадцать девятого марта.

— Бомба? Снайпер? Поймали, кто стрелял?

Ястребов потирает нос:

— Он не в бою погиб. В разборке со своими...

Мозги гудят точно трансформатор под перегрузкой. Сквозь гул и треск пробивается голос Ястребова:

— Деталей никто не знает. В народе разные версии гуляют...

Вдруг чувствую, что внутри отпускает. Тяжесть в груди исчезает. Черный туман рассеивается. Остается только легкая слабость. Невесомость во всем теле. Затишье после бури. Знакомое ощущение. Так бывает всегда после того, как... Внезапно меня накрывает понимание: фазу пробило на Сангака! Мысль рушится в мозг, как неразорвавшийся снаряд весом в тысячу тонн. Плющит серое вещество, рвет нейронные связи и вот-вот взорвется. Сангак погиб по моей вине. Он находился ближе всех в зоне контакта. Мысль не укладывается в мозгу. Будто пытаюсь пристроить в черепной коробке негабаритный груз. Ворочаю. Кантую. Прилаживаю то так, то сяк. Спешу, пока не рвануло. Наконец одна за другой опускаются стальные заслонки. Отсекают, изолируют чувство вины. Отсек проваливается в глубину. Туда, где скопилось целое кладбище. Где в бронированных камерах, как в изолированных склепах, складирована память о погибших по моей вине. Отсек Крысы, Кости, Анвара, Филиппа Семеновича, Саида, Нади... С этого момента добавился склеп Сангака. Усилием воли подавляю мысль: «Скольких еще придется хоронить».

Отвожу Зухура в сторону.

— Я возвращаюсь. Дальше поезжай один.

Он взвивается:

— Как это возвращаешься?! Ты слово мне дал!

— Тебе? Когда это? Я перед Сангаком был в ответе. И баста.

— Ты мне обещал! Поехать в Калаи-Хумб обещал. Я спросил: «Обещаешь?» Ты сказал: «Поеду». Забыл? Это разве не обещание?

По сути, он прав. Формально я не произнес: «обещаю». И что с того? Никого не колышет, вслух ляпнул или подразумевал. Подразумевал — выполняй. Несмотря ни на что. Даже на приметы.

— Черт с тобой, — говорю. — Только не надейся, подгузники на тебе менять не буду.

Зухур напыживается, открывает рот... Ястребов окликает:

— Парни! Время — золото. Едете или остаетесь?

Зухур, торопливо:

— Едем, едем...

Ястребов — старлею:

— Саня, отворяй ворота! Мы с ребятами трогаемся.

Старлей:

— Поезжай один. Маркелов приказал их тормознуть.

— Да ну! С чего это? Я с ним сейчас поговорю. Мигом уладим. Он где? В комендатуре?

— У себя.

— Отлично. Скомандуй своим орлам, чтоб меня соединили, — обнимает старлея за плечи, тащит к воротам.

Подхожу к сержанту:

— Мужик этот, Ястребов... Кто такой?

— А ты сам спроси. Я его не допрашивал. Кто, кто?! Мафиозо, мать его в

масть. Со всеми дружит. Со всеми вась-вась: с боевиками, с местными начальниками. Ну и наши его не обижают...

— Ну, дела, — говорю. — Погранцы с мафией корешатся.

Сержант оскорбляется:

— Ты что, блядь, дурной?! С луны? Здешней ситуации не знаешь? Не корешатся, а вынуждены считаться. Попробуй-ка его обидь, разом осиное гнездо разворошишь. Такая буча начнется. Все местные с ним повязаны. А нам чего? Государство чужое, мы не прокуратура, наше дело — границу охранять. Мирно едет — пусть себе едет. Пропуск оформлен, документы в порядке...

Хлопает дверца ястребиного уазика. Выходит молодая женщина в армейском хаки. На окружающих — ноль внимания. Стягивает с головы тонкую косынку, перевязывает заново. Волосы русые, но понимаю, что не русская. Восточная кровь. Откуда-то с Кавказа.

— Жена, — сообщает сержант. — Они всюду вдвоем. На тот берег тоже вместе мотаются.

— В Афган? Поня-я-я-тно. Стало быть, боевая подруга.

— Подельница, — поправляет сержант и отходит. Хватит, мол, разговор окончен.

В одиннадцать семнадцать зеленые ворота с красными звездами распахиваются. БМП медленно вползает назад. Выходят старлей и Ястребов. Замечаю, что женщина улыбается, машет старлею рукой. Тот ухмыляется в ответ, шлет воздушный поцелуй. Ястребов показывает большой палец — «все о'кей». Старлею:

— Саня, распорядись, пусть палку уберут.

Сержант поднимает шлагбаум. Путь на Калаи-Хумб открыт. Ястребов рвет с места первым. Следом отъезжают фургон с бойцами, «Волга». Ахадов запускает двигатель, трогается. Злорадствует:

— Это... пришлось Зухуршо голову меж ног спрятать, да? Не пропустили его погранцы? Не зря говорят: «В кишлаке ты лев, а в Бухаре тебя ставят в хлев».

Осекаю:

— Следи за дорогой.

Зухур, конечно, тот еще скот, но дисциплина есть дисциплина. Ахадов сопит. Вытаскивает из-под сидения грязную тряпку, протирает ветровое стекло. Обижается...

Въезжаем в Калаи-Хумб. Поселок вытянут в линию, стиснутую ущельем. Центральная, она же единственная, улица обсажена тополями. По узким тротуарам слоняются люди с оружием. Гражданских мало. Ястребов паркуется у обочины в конце длинного ряда автомобилей. Ахадов пристраивается за ним. Выхожу.

— Эй, Кабоб! — зовет Ястребов.

Басмач в хэбэ и ковбойской шляпе идет на зов через дорогу.

— Салом, Ястреб...

Поболтав с басмачом, Ястребов подваливает ко мне.

— Обстановка такая: Алёш в штабе, дает разгон мелкой шелупони. Но если вам нужен кто-то из больших авторитетов — Хаким, Мухаммади или Маджнун, то...

— Нет, нет, — торопится Зухур. — Авторитеты не нужны. Только Алёш.

Штаб помещается в здании райисполкома. Перед ним на небольшой

площади клубятся вооруженные люди. В коридоре пусто, прохладно и гулко. Из правого крыла доносится громкий галдеж. Ястребов сворачивает вправо, открывает крайнюю дверь, вваливается в комнату. Женщина — за ним. Пропускаю вперед Зухура, вхожу последним. Тринадцать ноль восемь.

Полевые командиры — душманы, или шелупонь, как определил Ястребов, — расположились вокруг длинного стола. Кто сидит, кто стоит. Кричат все. Быстро пересчитываю. Двенадцать. Все при оружии. Горбатого нет ни одного. Спящий имеется. Дрыхнет на дальнем конце стола, опустив башку на столешницу.

Ястребов говорит громко и весело:

— Друзья, общий привет!

Душманы приветственно гомонят. Ястребов спрашивает:

— Эй, Алёш, ты где? Куда спрятался? Я тебе гостей доставил.

Резкий голос визжит из левого угла:

— Лучше ты бы их по дороге утопил.

Душманы расступаются, и я вижу Алёша. Он сидит в кресле. Атласный халат сверкает наподобие новогодней елки. Физиономия в общем-то красивая. Рядом — здоровенный парень. Телохранитель. Красные спортивные шаровары. Бронежилет на голом торсе. Зеленая бандана на голове. Не человек — ифрит из арабской сказки. Вооружен очень серьезно. В руках — фанатастическая бандура. Гибрид дробовика, гранатомета и космического бластера. Ифрит стоит, широко расставив ноги и выставив вперед пушку. На левую клешню натянута черная кожаная перчатка. Чтобы руку не обжигать, когда ствол раскалится...

Алёш вскакивает на ноги. Я слышал, что он невысок ростом. Так и есть. Метр с кепкой. Плюс минус сантиметр. Одет, как картинка. Под халатом — шикарный коричнево-черный камуфляж. Забугорный, у нас таких не шьют. Горбун сбрасывает новогодний балахон, подбегает к Ястребову, скалит острые зубки, вопит неистово:

— Сергей, зачем его привез?! На хера он тут нужен! Хочешь меня со всеми братьями поссорить? Куда теперь его девать? Хочешь, чтоб я его замочил? Хочешь, да? Замочу!..

Зухур стоит справа от меня. Наблюдаю, как у него отвисает челюсть. Растерян. Как же так? Разве не договаривались? Дипломат долбаный!

Переключаюсь на Алёша. Пробую понять: реальный псих или на понт берет? Нет, не блефует. Себя не помнит от ярости. Тяжелая кобура сползает на живот, он то и дело нервно ее поправляет. Не факт, но, возможно, — обманный маневр. Приучает к жесту, чтобы в нужный момент неожиданно выхватить волыну. С психа станется. На всякий случай сам начинаю очень медленно готовиться. Ифрит засекает опасное движение. Поворачивается, как танк, всем телом, наставляет на меня ствол.

Алёш визжит:

— Хочешь? Голову отрежу и в Пяндж выкину...

Ястребов убеждает весело:

— Алёша, замочить никогда не поздно. Может, поговоришь сначала.

— О чем с ним толковать?! — горбун отскакивает от Ястребова, бежит вдоль стены. — Наших братьев убивают. У Аслона племянника убили. А он приезжает и...

Кто-то урезонивает:

— Этот человек не виноват, что наших братьев убили.

— Не виноват?! — взвивается Алёш. — Из-за таких, как он, убивают. Зачем он приехал? Чего ему надо? Чего он лезет в наш бизнес? Здесь своим не хватает. Как-то уладили. Все распределили. Никто никому не мешает. А теперь опять начнется... И без него бучи хватает...

Слова эти точно выдергивают чеку, и душманская камарилья взрывается:

— Правильно говорит!

— Нам чужих не надо...

— Зачем так человека встречать? Пусть скажет, чего хочет...

— Мочить их!

От гвалта просыпается спящий. Спросонок оглядывается. Замечает Зухура. Вскакивает на ноги. Вопит:

— А-а, Хушкадамов!!!

Узнаю его. Сухроб по прозвищу Джаррох, «хирург». Живьем мне не встречался, но фото видел. Садист и психопат. Командир группы из полсотни боевиков. Когда-то в прошлом работал медбратом, но кличку получил по другой линии. «Хирургом» его окрестили в сентябре девяносто второго после налета на поселок Ургут. Вовчики вырезали всех, включая стариков, женщин, детей. Лютовали с извращенной жестокостью. А этот, значит, особо отличился...

Зухур оборачивается на вопль. Хирург прижимает руки к груди, кланяется издевательски:

— Ас-салому алейкум, брат! Как здоровье, брат? Как семья? Как дела?

Лицо его скрывает борода, короткая, плотная. Вроде черной хирургической маски. На глазах очки с темными стеклами. Облик нелепый. Вроде одновременно и пугает, и прячется.

Зухур не рад знакомцу. Буркает:

— Ва-алейкум, — и отворачивается.

— Эй, Хушкадамов, куда рыло воротишь? Сюда смотри! — вопит Хирург.— Испугался, да? Думал, никогда не встретимся? Нет, слава Богу, встретились! Наконец смогу спасибо тебе сказать...

— На меня вину не сваливай, — хмуро говорит Зухур. — Не я, а ты человека убил.

— Сволочь ты, тварь! — вопит Хирург. — Я не убивал! Это ты на меня клевету навесил! Тебе в райкоме: «Хушкадамов, возьми это дело на контроль»,— поручили. Ты на контроль взял. Сделал, как приказали. Каримову жопу лизал! Пидор коммунист, падарнаълат!

Душманы затихают, прислушиваются. Толстый бородач интересуется:

— Эй, Сухроб, кто такой Каримов?

— Пидарас враг народа первый секретарь райкома, вот кто, — вопит Хирург. — Племянник того старика, который в больнице умер. Доктор старику лекарство назначил, в историю болезни записал. Мне приказал: «Вот этим инъекцию сделай». Я сделал. Тот старик умер. Оказалось, доктор неправильно назначил. Потом следствие проводить стали. Доктор тоже сильную родню имел. В зятьях у директора хлопзавода ходил. Запись в истории болезни подделали, а этот гандон сука блядь Хушкадамов к тому подвел, что я виноват. Под танк меня бросили. Все знали, кто виноват. Следователь знал. Прокурор, ишак скотина, знал. Ты, Хушкадамов, бюрократ коммунист, падарнаълат, чтоб у твоей матери матка лопнула, тоже знал. Я твою сестру в ступе толок, я твою...

Долговязый душман с орлиным носом — чистый Чингачгук в исполнении Гойко Митича — встревает:

— Брат, при женщине плохие слова не говори.

— Как про него по-другому сказать?! — дерет глотку Хирург. — Партократ! Скотина, падарнаълат! Дом его надо сжечь. Убить без пощады! Из-за него я на зону залетел...

Алёш, крутанувшись, тычет пальцем:

— Сухроб, заглохни, не лезь! Сам разберусь. Он ко мне приехал.

— А ты?! — вопит Хирург. — Ты к кому приехал? Ты здесь не хозяин. В Хороге командуй. В Рушане командуй...

Ифрит резко разворачивает пушку к Хирургу. Нормально! Убедительный аргумент. Хирург затыкается.

— Сергей, что я тебе говорил! — кричит Алёш. — Пока ты их не привел, тихо было. — Переключается на Зухура: — Просить пришел? Что-нибудь дашь взамен? Людям и без тебя трудно. Или задарма получить хочешь?..

Делает паузу. Намеренную. Точняк, для того, чтоб мог вступить хор. Душманы, как по команде, галдят. Зухур силится перекричать общий гай-гуй:

— Не для себя прошу. Для людей в Санговара. Им хочу помочь...

Горбун вновь солирует:

— Я весь Бадахшан кормлю. А ты? Ты кому помог?! Сухроб в беду попал, ты помог?

— Брешет Сухроб! — надрывается Зухур. — Ты вообще знаешь, кто он такой? Знаешь, что он в Курган-тюбе творил?!

Хирург вопит издали:

— Зухур, хайло заткни, хайвон! Опять клевету наводишь?

Бросается к Зухуру. Опрокидывает пустые стулья, расталкивает стоящих на пути.

Пока он выдвигается на передний край, сканирую обстановку. Вдруг вижу: Алёш молча стоит в стороне и наблюдает. Очень спокойно. И очень внимательно. Фиксирует реакцию каждого. Черные глазки умом светятся. Все видит, все понимает. Замутил воду и ждет, что из мути выплывет. Рядом ифрит с бластером наготове.

Сухроб наконец пробивается к Зухуру. Брызжет слюной:

— Я тебя на куски порежу, — тянется за пистолетом.

Выхватываю пэ-эм, подшагиваю, упираю ствол Хирургу в живот:

— Руки!

Застывает. Лапа виснет на полпути. В таких ситуациях нельзя залипать на противнике. Вижу разом всю комнату. Душман, смахивающий на Чингачгука, вытаскивает пистолет, целится в меня:

— Брось пушку!

Вжимаю ствол поглубже в брюхо и перемещаюсь влево. Заслоняюсь Хирургом. Алёш вновь выпрыгивает вперед. Командует Чингачгуку:

— Убери ствол! Я им гарантию обещал.

Чингачгук кричит:

— Э, что за гарантия?! Мне Сухроб как брат.

Ифрит самонаводится на Чингачгука. Алёш кричит мне:

— Эй, ты, отпусти Сухроба! Ствол убери.

Отвечаю спокойно:

— Отними у него пушку, уберу.

Алёша кричит Зухуру:

— Ты, пузатый, прикажи ему!

Он, вроде, завелся по-настоящему. Хотя черт его разберет. При любом раскладе ситуация патовая.

В этот момент раздается женский голос:

— Эй, мужчины!

Жена Ястребова стоит у стола. Снимает с головы платок, бросает. Легкая ткань плавно опускается на столешницу. Ястребица говорит:

— Есть обычай — если женщина бросает платок, мужчины опускают оружие. Это никому не в позор.

Чингачгук возражает:

— Так у вас, Зухра. У нас по-другому. Таджикские женщины при мужчинах молчат.

Толстый бородач говорит:

— Рашид, гостью не обижай. Хороший обычай.

Душманы соглашаются:

— Хороший.

— Убери пушку, Рашид.

Демонстративно поднимаю пэ-эм над головой. Медленно опускаю в кобуру. Если Хирург дернется, в любом случае достану скорее, чем он.

— Пусть теперь Сухроб этого мужика в губы поцелует, — предлагает толстый бородач. — Зухра, а такой обычай у вас есть?

Душманы дружно ржут. Ястребов смеется:

— Хватит и объятий. Дружеских, конечно.

Хирург плюет Зухуру под ноги:

— Встретимся.

Отталкивает меня, выскакивает из комнаты. Алёш атакует Зухура:

— Ну что, ждали тебя тут? Быстрых денег захотел? Не забывай: быстрые деньги — быстрая смерть. Легких денег захотел? Легко с горы катиться. Катишься кувырком, в конце — о камень головой. Скажи спасибо — я тебя от Сухроба спас. Как расплатишься?

Опять завел по новой. Задолбал! Пора кончать цирк. Зову:

— Алёш.

Дергается ко мне. Угрожающе щерится. Говорю:

— Ты уже напугал Зухура до полной усрачки. Подготовил к серьезному разговору. Чего тянуть? Переходи от торжественной части к концерту. По заявкам трудящихся.

Алёш визжит:

— А ты кто?..

Спокойно смотрю ему глаза. Он замолкает и вдруг улыбается:

— Умный, да? — Бросает Зухуру: — Пойдем поговорим.

Выходят. Давно бы так. Мне тоже тут нечего ловить. Киваю на прощанье Ястребову и отваливаю.

Возвращаюсь к газику. Время: тринадцать семнадцать. Ахадов околачивается рядом. Смотрит вопросительно: «Едем?» Даю отмашку: «Гуляй». Сажусь. Надо подумать, привести мозги в порядок. Идиотство! Опять оберегал Зухура. Хотя фактически защищал себя — шлепни его Хирург, не ушел бы живым и я...

Ладно, по барабану. Отношения с Зухуром абсолютно неважны. По сравнению со смертью Сангака все прочее несущественно. Масштаб несоизмерим. Типа — огонек спички и атомный взрыв. Ударившая в Сангака пуля неизвестного калибра принесла разрушений поболее, чем ядерная бомба.

На нем замыкалось слишком многое. Крушение Союза, по факту, катаклизм. Словно треснула земная кора, и монолитный материк раскололся на части. Трещины ширились, углублялись. Независимые страны разносило в стороны, как льдины. Каменный айсберг под названием Таджикистан сотрясали тектонические силы. Общественный уклад уплывал вспять, в далекое прошлое. На век назад, на два, три... Прежняя жизнь разлетелась вдребезги. Большинство населения айсберга мечтало к ней вернуться, но путь в недавнее прошлое завален обломками. Сангак начал пробивать проход в завале. Обещал полностью разгрести. Задумал построить на каменном острове... не социализм. Что-то иное. Я верил, что по-любому получится не хуже прежнего. Возможность погибла вместе с ним. Окончательно и навсегда.

Я опять остался среди развалин. Эта, пятая по счету, катастрофа самая сокрушительная. Три из предшествующих — личные. Били в меня. Смерть Нади. Подлянка в Афгане. Подлянка в Курган-Тюбе. Но крушение Союза и гибель Сангака — тотальная аннигиляция основ. Податься некуда. Главное — незачем. Исчез смысл. Винить некого. Сангака убила не пуля — короткое замыкание. Неизвестные, которые задумали ликвидировать Сангака, тот, кто стрелял, — только каналы, по которым прошел разряд. При других условиях они были бы бессильны. Даже я — жертва, а не виновник. И все-таки чувство вины постоянно сочится изнутри. Как радиация из трещин Чернобыльского саркофага. Доза отравляет, но не убивает. Вытерпеть можно. Я привык. Вытерплю...

15. Карим Тыква

Сердце кровью плачет, слезы печень разъедают... Куда идти, не знаю, что делать, не понимаю. Почему они дядюшку Джоруба не слушали? Он: «Зарина просватана», — сказал. Он отказ дал, «Нет», — сказал. Почему несправедливо поступают? Почему без согласия родни девушку насильно забирают? Как теперь жить буду?

Едем. Куда, не знаю. Даврон приказал: «С Зухуром поедете». Оружие взяли, в «скорую» погрузились, вверх по ущелью едем. Шухи-шутник спрашивает:

— Эй, Тыква, о чем печалишься? Почему рожа, как хлеб подгорелый?

Молчу. Шухи не унимается:

— Тыква, а Тыква, расскажи, почему тебя тыквой зовут.

Молчу. Кто-то из ребят говорит:

— Оттого, наверное, что с тыквами играть любит.

— Нет, с тыквой не поиграешь, — Шухи отвечает. — Корка жесткая, а мяса мало. Я одного мужика знал, он с арбузами играл. Арбуз на бахче на солнце нагреется, горячий станет, внутри — мягкий и сочный, как кус у девушки. Тот мужик в корке дыру сделает и...

Обо мне забывают, о другом говорить начинают. Так до Талхака доезжаем. На площади у мечети остановливаемся. Пусто. Обычно здесь всегда люди стоят.

Машину попутную ждут. А то поговорить, новости узнать собираются. Сейчас никого нет. Из «скорой» выходим.

Даврон спрашивает:

— Орлы, кто из этого кишлака?

Я шаг вперед делаю.

— Тут у вас есть такой черный, кособокий... Зухуршо асаколом его назначил. Найди.

Объясняю:

— Шокир это, Горохом зовут. Сюда привести?

Даврон думает, потом говорит:

— Нет, в дом к тому деду. Солдату старому, с медалями.

Догадываюсь:

— К деду, значит, Мирбобо.

— Идем, покажешь, где живет. Потом асакола туда доставь. — Ребятам говорит: — Вы, орлы, здесь ждите. Местных не обижать. Грубое слово кому скажете, язык вырву.

— Нас не обидят, мы не обидим, — Хол говорит.

Даврон хмурится:

— С Рембо, дружком своим, свидеться хочешь?

К дому деда Мирбобо идем. Даврон молча шагает. Я тоже молчу. Хорошо бы с Давроном побеседовать, от горьких мыслей отвлечься. Но первым разговор начинать нельзя. Неприлично. Я когда маленьким был, отец часто говорил: «Карим, сынок, учись молчать, пока мал. При старших язык за зубами держи. В неспелой тыковке семечки не гремят». А я в подол рубашонки камешков набросаю, прыгаю и кричу: «А у меня гремят, у меня гремят». Отец с мамой смеялись, Тыковкой меня прозвали. В детстве очень болтлив был. Вырос, правильно себя держать научился.

Потом Даврон говорит:

— Эта девушка...

— Какая девушка? — спрашиваю.

Даврон сердится:

— Какая! На которой Зухуршо хочет жениться.

— Зарина, — говорю. — Очень хорошая девушка. Красивая, работящая. Волосы золотые.

Даврон не отвечает. Чувствую: сердится. Почему сердится, не пойму. Я тоже очень сильно сержусь.

— Очень хорошая девушка, — говорю.

Приходим, в мехмонхоне садимся, дед Мирбобо тоже с нами сидит. Жду, может быть, Зарина чай принесет. Жаль, если маленькую девчонку с чайником пришлют. Хорошо, если Зарину. Даврон приказывает:

— Иди, Карим, иди. Тащи сюда асакола.

Автомат беру, выхожу. По верхнему мосту через Оби-Санг — речку, которая наш кишлак на две половины делит, — перехожу, к дому, где Шокир у родичей ютится, подхожу. У ворот оставливаюсь, кричу: «Эй, асакол!» Пять раз кричу. Наконец мальчишка из дома выскакивает.

— Чего?

Этот Шокир большим человеком себя выставляет. Ему теперь зазорно на каждый крик выходить. Племянника послал.

— Шокир где?

— Занят. Сказал, чтобы ты подождал.

Сержусь. Очень сильно сержусь. Автомат с плеч сбрасываю, во двор вваливаюсь. Со злости в дом вломиться хочу, но, спасибо Богу, одумываюсь. Нельзя. Женщины там. Чужим запрещено входить. Справа от ворот — мехмонхона, пристройка для гостей. Туда заскакиваю, возле порога ботинки военные скидываю, на почетное место усаживаюсь, автомат рядом на курпачу бросаю и в раскрытую дверь мальчишке приказываю:

— Скажи, пусть сейчас сюда идет! Скажи, Карим ждать не будет.

«Если мигом не прилетит, — думаю, — я его...» Но гнев думать мешает. Никак сообразить не могу, как с Горохом поступить, если задержится. А если прибежит, но, как всегда, насмешничать начнет? Злой он человек, Шокир. Ехидный. «Если потешаться станет, — думаю, — то я его...» И опять ничего придумать не могу — гнев разбирает. Потом слышу: шаги во дворе. Шокир-Горох к мехмонхоне спешит, ковыляет. Понял, с кем дело имеет.

Входит. Меня на ноги поднимает, будто сухой лист ветром подхватывает. Вскакиваю и стою. А как иначе? Старший в комнату вошел. Стою и сам на себя злюсь — зачем вскочил?! Не хотел, а встал. Чувствую, сейчас Шокир усмехнется, свысока ко мне обратится, старшинство свое наружу выпятит... А Шокир ко мне подходит, первым обе руки с уважением протягивает:

— Здравствуй, Карим-джон. Добро пожаловать. Как ты? Все ли хорошо? Как дела, как здоровье? Семья как?

Хочу одну руку подать. Одну тяну, а вторая сама собой подтягивается. Обеими пожимаю.

— А-а, дядюшка Шокир. Здравствуйте.

Сажусь, не дожидаясь, пока старший, хозяин дома, сядет. Шокир напротив опускается — не на мягкую курпачу, вдоль стены расстеленную, а прямо на пол, на вытертую кошму. Свое подчиненное положение подчеркивает.

— Срочное дело, Шокир, — говорю. — Даврон тебя к себе вызывает.

Нарочно так говорю. Не хочу с ним вежливость соблюдать — вначале о здоровье, делах и семье расспросить. В это время мальчишка через порог заползает. Чайник притаскивает, свернутый дастархон с угощением. А сам исчезает. Шокир, на ноги не поднимаясь, на карачках до порога добирается, дастархон подволакивает. Скатерть раскидывает, чайник с пиалой ставит, лепешку на куски ломать начинает.

— Чаю выпей, пожалуйста, Карим-джон.

— Некогда, — говорю. — Даврон ждет.

Неправильно так говорить, нельзя от хлеба отказываться, но все равно говорю.

Шокир лебезит:

— Извини, что угощение скудное. Хотя Зухуршо меня асаколом назначил, я человек бедный. Такой почетный гость в дом пришел, а ублажить нечем. Прости нашу убогость.

— Э, асакол, не плачь, — говорю. — Скоро весь кишлак богатым будет. И ты тоже.

Шокир просит:

— Ну хоть этих райских плодов отведай.

С тарелки ягоду сушеного инжира берет, мне протягивает.

— Недосуг, — говорю.

— Карим-джон, не обижай, пожалуйста.

Не хочу брать, а беру. Инжир с детства люблю. Мама рассказала, что инжир — райское дерево, и прародители наши, Дед Одам и Хаво-момо, когда еще в раю жили, только инжиром питались, и я всякий раз, как ягоду в рот кладу, будто еще при жизни на минуту в рай попадаю.

Шокир говорит:

— Ты теперь аскер, военный йигит, всем нам защита.

Опять, как прежде, надо мной смеется? Понять не могу. Э-э, какая разница! Сейчас я приказываю, он подчиняется. Встаю, автомат беру, у порога обуваюсь.

— Идем.

Шокир за мной плетется. По крутой улочке к верхнему мосту через Оби-Санг спускаемся, на ту сторону переходим, потом к дому деда Мирбобо поднимаемся. В мехмонхону входим, садимся. Я в углу пристраиваюсь.

— Эй, ты чего там? — Даврон зовет. — Сюда иди.

К дастархану перебираюсь, сбоку присаживаюсь, поближе к двери, где младшим сидеть положено. Даврон чай наливает, Шокиру-Гороху пиалу протягивает.

— Такое дело, уважаемый, — говорит, — надо народ собрать. Объявить, чтобы мужики сдали огнестрельное оружие. Все до единого ствола.

Шокир тюбетейку на лоб сдвигает, затылок потирает, умную рожу корчит.

— Важное дело, надо с умом подойти... Без меня его ни за что не осилить. Не зря уважаемый Зухуршо меня асаколом назначил. Никого собирать не надо. Сказано: «Никакую тайну от людей не скроешь, луну глиной не замажешь». Я в этом кишлаке все про всех знаю.

— Ладно, — Даврон говорит. — Проверим. Сколько в этом доме оружия?

Шокир задумчивую рожу строит, глаза вверх поднимает, будто список на потолке читает. Потом пальцы один за другим загибает:

— Ружье с двумя стволами, которое дробью стреляет. Раз. Карабин. «Белка», кажется, называется. Два...

Дед Мирбобо дремлет, будто Шокир про чужие ружья рассказывает.

— Три: с одним стволом ружье. Старое, не стреляет. Починить надо.

Даврон усмехается:

— Вас, уважаемый, надо было не асаколом, а каптенармусом назначить.

«Что за должность?» — удивляюсь.

Шакал Шокир опять вверх смотрит.

— Еще одно ружье есть, — говорит. — Совсем старинное. Мультук.

Дед Мирбобо в разговор вступает. Просыпается, глазами моргает, выпрямляется.

— Это прошлых времен ружье, — шамкает. — Дедовское ружье. Усто Палвон из Ванча его сработал. В давние годы ванчское железо и ванчские кузнецы лучшими считались. Мой дед покойный знаменитым усто, мастером-охотником, был. В молодости у знаменитого усто Хакима ремеслу обучался. Потом дед это ружье моему отцу передал, а отец мне вместе с рисолей вручил...

— Что за рисоля? — Даврон спрашивает.

— Охотничье наставление, — дед Мирбобо объясняет. — Каким охотник быть должен, какую жизнь вести, чтобы настоящим усто-мастером стать.

Говорят, в прежние века рисоля на бумаге была записана. Мне-то отец на словах сообщил. А я сыну, Джорубу, передал. А все прочие охотники ныне не те...

Я думаю: «Почему дед Мирбобо про меня не сказал?!» Я от дядюшки Джоруба охотничье наставление получил. Он мне рисолю пересказал, выучить наизусть заставил. Дядюшка Джоруб — мой усто-учитель, искусству охоты меня обучает. Потом думаю: «Обижаться не надо. Скромным надо быть».

Дед Мирбобо продолжает:

— Старинный охотник прежде, чем в горы пойти, молитвой себя очищал, от жены воздерживался. Нынешний же — проснулся, встал, ружье взял, в горы пошел. Как в сельмаг за консервами...

В это время в раскрытой двери Зарина появляется. Через порог перегибается, блюдо, большое, деревянное, полное мяса жареного, на пол ставит. У меня сердце, как бешеное, бьется. Чуть не плачу. Какая красивая! Волосы будто золото. На нее не смотрю. Шакал этот, Шокир, глазами своими шакальими Зарину разглядывает, усмехается. Зарина выпрямляется, к Даврону обращается, будто в школе у доски выученный дома урок проговаривает:

— Даврон, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как там Андрей?

— Нормально. Служит, — Даврон отвечает, пустую пиалу в руках крутит.

— Не обижают его?

Дед Мирбобо говорит:

— Иди, Зарина-джон, иди. Я спрошу. Нехорошо молодой девушке с гостями заговаривать...

Зарина взглядом деда ожигает, будто горсть раскаленных угольков бросает, убегает. Я вскакиваю, блюдо поднимаю, на середину дастархона ставлю.

— Не беспокойтесь, дедушка, — Даврон деду Мирбобо говорит. — Внук ваш за себя постоять умеет.

Правильно говорит. Андрей не испугался, сразу с троими дрался. Побили его, конечно, немного, но ничего — все кости целые остались.

— Хорошо, — дед Мирбобо кивает. — Молодым в армии служить обязательно надо.

Шакал Шокир тем временем по-хозяйски лепешки ломает, вокруг блюда разбрасывает.

— Во имя Бога милостивого, милосердного. Берите, пожалуйста.

Сам первый кусок мяса хватает, в рот отправляет. Дед Мирбобо вздыхает:

— Сейчас мяса много, что снега зимой в горах. Как потом жить будем? Весь скот перерезали. Нельзя ружья у людей отнимать. Если отберете, совсем мяса в доме не станет. С чем наши мужики на охоту пойдут? С луком да пращой — только воробьев бить.

— Дедушка, — Даврон говорит, — вы на войне были, воевали, сами знаете. Стреляли в нас. Нельзя в таких условиях людям оружие оставлять.

А Шокир, дармовое мясо прожевав, за новым куском тянется.

— Без меня, — повторяет, — вы бы ни одного ствола не отыскали. Здешние люди хитрые. Прослышат, что отнимают, найди потом, куда они ружья запрячут.

Дед Мирбобо спрашивает:

— Что же, сейчас заберете или как?

Даврон говорит:

— Как мы ваш арсенал потащим? Вечером сдадите, вместе со всеми. А вот мультук сейчас покажите.

Дед Мирбобо говорит:

— Карим, сынок, идем, принесешь.

Встает. Мы все на ноги поднимаемся, я вслед за дедом Мирбобо иду. В чулане ружья на гвоздях висят. Одноствольное ружье. Двуствольное ружье. Один гвоздь пустой торчит. Я гляжу на гвоздь, на котором карабин должен висеть, молчу. Дед Мирбобо на меня смотрит и тоже молчит. Потом говорит:

— Бери мультук, сынок.

Мультук — длинный, старый, из черного железа — в углу стоит. Беру.

— И пояс возьми, — дед говорит, с гвоздя снимает.

Из старой кожи пояс, ветхий. К нему на ремешках старинные снасти привешены: короткий толстый рог — пороховница с затычкой, мешочек кожаный, кремень и кресало, фитиль скрученный.

Приносим. Даврон к плечу мультук то так, то сяк прилаживает.

— Тяжелый, — говорит. — Неудобный. Приклад слишком короткий.

Дед Мирбобо растолковывает:

— Сошки подставлять надо. Без сошек не попадешь. Сюда вот, на полку, порох подсыпать. Фитиль зажженный держать наготове надо. Хороший мультук. Калашников, конечно, быстрее. Но этот очень точно бьет.

Даврон усмехается.

— Снайперское, говорите, оружие?

Мультук кладет, пояс берет. Из пороховницы затычку вытаскивает, на ладонь порох высыпать пытается — узнать, какой он, старинный порох.

— Пусто, — говорит. — А пули есть?

— Не нужны они теперь, — дед Мирбобо объясняет. — Козлов Джоруб из карабина стреляет, куропаток — из ружья.

Шокир сам будто куропатка вспархивает:

— Где он сейчас, Джоруб? С нами почему не сидит?

— Делами Джоруб занят, — дед Мирбобо говорит. — С баранами, с коровами. Недосуг ему.

— А-а-а-а-а-а, — Шокир тянет. — С баранами, козами... Не за козлом ли в горы ушел?

А сам за дедом Мирбобо наблюдает, будто гадает, нет ли под большой чашкой еще и меньшей.

Дед Мирбобо отвечает спокойно:

— Зачем за козлом? Мяса пока много. Скот кормить нечем, режем... У меня, товарищ командир — извините, звания не знаю, — просьба есть. Старое ружье не забирайте, пожалуйста. Дедовское оно.

Даврон:

— Ладно, — кивает. — К вам лично из уважения. Да и боеприпасов к нему не имеется.

— Тысяча раз спасибо, — дед Мирбобо руку к сердцу прижимает.

— И говорить не о чем, — Даврон отвечает, встает.

Шокир возится, на ноги вскочить пытается:

— Уходите?

Даврон ему грубо, без учтивости бросает:

— До ветра иду.

Зачем такое сказал? У нас так никогда не говорят. Мне очень стыдно становится. Шокир, шакал, суетится.

— Я провожу, товарищ командир. Я покажу...

— Ты еще конец мне подержи, — Даврон говорит.

Э-э, как грубо сказал!

— Сиди, — говорит.

У двери обувается, уходит. А Шокир как сидел, так остается с двумя пальцами в носу. Я сижу, ни на кого не смотрю. Зачем Даврон так поступил? Не знаю, что думать. Нельзя так говорить, но он сказал. Наверное, сильным людям разрешено так поступать. Что для нас неправильно, для больших людей правильно. Говорится же, пока большая лепешка испечется, маленькая сгорит.

Потом дед Мирбобо говорит:

— Карим, сынок, возьми рукомойник, командиру руки вымыть.

Я полотенце, медный кувшин с длинным горлом беру, во двор выхожу. Даврона подождать хочу, но чувствую: рукомойник совсем легкий. Когда руки перед едой мыли, всю воду слили. Я на задний двор, в летнюю кухню иду. «Там, — думаю, — наберу». Через крытый коридор прохожу, вижу: на кухонной веранде у очага Даврон с Зариной стоят, тихо разговаривают.

«Почему так? — соображаю. — Отхожее место совсем в другом конце усадьбы. Наверное, Даврон заблудился. Не туда попал, подумал, надо из вежливости разговор завести. Наших обычаев не знает. Девушке — позор, если соседи увидят, что она с чужим мужчиной наедине остается. Нехорошо получается. Надо Зарину выручить».

А как Даврона окликнешь? Я нарочно рукомойник на землю роняю. Кувшин падает, звенит.

Даврон оглядывается, рукой машет.

— Иди, — говорит, — иди.

Кувшин поднимаю, к мехмонхоне возвращаюсь, стою и думаю: «О чем он с ней говорит? Зачем?»

16. Зарина

Мы с мамой проговорили почти всю ночь. Вернее, я утешала ее и пыталась убедить, что не случилось ничего ужасного.

— Мамочка, я просто выхожу замуж за нелюбимого человека. Ну и что? Многие так выходят. И ничего, живут... И я как-нибудь переживу. А потом... после того, как он отпустит Андрея и все уладится, я с ним разведусь. Ты ведь сама знаешь, мусульманский закон позволяет... Скажу ему «се талок». И все! Прощай навеки.

— О чем ты говоришь?! Какой закон? Какой развод? Это не замужество. Это изнасилование!

— Мама, пожалуйста, не преувеличивай.

— Он не человек. Зверь, чудовище...

— Мама, он не страшный. Противный. И змея с собой таскает, чтобы казаться страшным.

Хорошо, что мама не знает таджикского языка, а потому никто не может пересказать ей слухи о смерти Зебо, прежней жены Зухуршо.

Я-то наслушалась. Мы со сводной сестрицей Гульбахор, или по-простому Гулькой, дочерью Бахшанды, пошли к источнику. Вроде за водой, а взаправду— поболтать с подружками. Там уже сидели несколько девчонок с пустыми ведрами и кувшинами. Гулька меня еще в первые дни с ними познакомила, а после сватовства всем не терпелось расспросить, что да как. Но рассказывать нечего. Стали обсуждать, отчего умерла Зебо.

Одна сказала:

— Змей ее убил.

Ойша, красивая девчонка, светловолосая, сероглазая — я про себя прозвала ее Сероглазкой, — стала спорить:

— Никакой не змей. У Зухуршо кер такой же величины, как его удав. Он бедняжку этим кером до смерти замучил.

Девушки тут, когда одни, вольны на язык. Сероглазку подняли на смех:

— Ты сама, наверное, о таком кере мечтаешь.

Сероглазка притворилась, что сердится:

— Э, пусть твой язык почернеет! — а сама засмеялась, польщенная.

Потом еще одна девочка сказала:

— Нет, не так все было. Я точно знаю, мне Хадича-момо рассказала. Зухуршо с покойной женой ни разу не спал. Его змея снесла яйцо, а он заставил эту несчастую греть яйцо собственным телом. А потом однажды ночью, когда девушка спала, из яйца вылупилась маленькая змея, заползла ей в нутро и там укусила. Хадича-момо говорит, что змееныш ужалил в самую матку.

— Эй, голову не морочь! Как змея могла в нее забраться?

— Ты разве не знаешь, сколько в женщине есть отверстий, через которые можно вовнутрь проникнуть?

А Гулька сказала:

— Заринка, не бойся, я тебя научу. Хорошая латифа есть. Анекдот, — очень гордо она это слово выговорила: вот, мол, какие слова знаю. — Один мальчик был, все бабушку просил: «Дай и дай». Тогда бабушка череп козы взяла, подол задрала, изоры спустила, череп козы между ног зажала и мальчику говорит: «Раз уж так просишь, желание твое исполню. Попробуй». Мальчик свой чумчук сунул, а бабушка челюсти козы сжала. Мальчик заплакал, больше никогда бабушку не просил. Потом много лет прошло. Мальчика женили, а он к жене не подступается. Тогда девушка изоры сняла, на печку залезла и оттуда ему кус свой показывает, чтобы у мужа желание загорелось. А он смотрит и говорит: «Э-э, меня не обманешь! Зубы-то спрятала».

Подружки от хохота попадали. Особенно Гулька веселилась:

— Заринка, когда Зухуршо к тебе придет, ты тоже череп между ног спрячь. Пусть коза ему кер откусит.

Нет, не стану я дожидаться, пока придет... Я вообразила гнусную морду Зухуршо, и меня передернуло. Темная, масляная. Вот уж вправду Черномord. Только никакой витязь от него не спасет...

А тут еще мама:

— Я ночи не сплю, думаю о том, что будет... Боже, боже мой! И ты, и Андрей... В какое страшное место мы попали. Как я могла быть такой легковерной и согласилась привезти вас сюда. Из огня да в полымя...

Я попыталась вернуть прежнее настроение.

— Мама, все образуется.

Но я тоже полночи уснуть не могу. Слышу, мама не спит, изводит себя из-за нас с Андрюшкой. А меня иногда дикая злость на Андрея одолевает. Если бы не он, нас бы сюда не занесло. Не знаю, о чем мы думали, когда в Ватане сидели и ждали, как кролики перед удавом. Надо было просто уехать куда глаза глядят. В Куляб, Курган-тюбе, куда угодно... Пусть бы убили по дороге. Все лучше, чем здесь. Ненавижу этот кишлак, ненавижу дедушку, который нас уговорил, ненавижу дядю Джоруба. Тоже мне мужчина, глава семьи... Он теперь со мной глазами не встречается. Стыдно ему...

А теперь приходится злиться на саму себя.

Вчера к дедушке пришли гости, а тетя Дильбар послала меня отнести угощение. В мехмонхоне сидели три человека. Мальчишка, Карим, мой несостоявшийся жених. Понурый, с таким грустным видом, что мне стало его жаль, хотя замуж за него я не пошла бы ни за какие коврижки. Еше были тот военный, Даврон, и противный урод, староста. Он мерзко на меня пялился, хотелось подойти и дать по роже.

Потом я пошла в летнюю кухню вскипятить еще чаю. Тетя Дильбар уже ушла. Я поставила кумган на очаг, подбросила на угли хворост и засмотрелась, как разгораются и пляшут красные языки пламени. Люблю живой огонь. Тот, что у нас в Ватане на плите в газовых горелках, какой-то ненастоящий, не огонь даже, а шипящее однообразное горение голубого химического цвета. Скука. А когда горят хворост и поленья, кажется, происходит что-то волшебное и очень хорошее... Вдруг вспомнился недавний сон. Приснилось, что я, совсем как в жизни, стою с нашим старым почерневшим от сажи кумганом перед очагом. Из жерла печи бьет жуткий огонь — не подступиться. Наконец решаюсь: ставлю кувшин в пламя, отдергиваю руку. Кумган падает, вода заливает огонь. Кто-то из темноты кричит страшным голосом: «Зажги! Зажги!» Я проснулась. Ничего, кажется, особенно пугающего не увидела, а сердце колотится, как сумасшедшее...

Обычно сны я сразу же забываю, а этот почему-то привязался. У мамы допытываться, что он означает, — высмеивать начнет. Я пошла к тете Дильбар, она спросила:

— Ты обожглась? Если кто увидит, что огонь одежду поджег или часть тела, его постигнет беда.

— Вроде нет.

— Хвала Богу. А очаг опять разожгла?

— Тетушка, не знаю. Я сразу проснулась.

Тетя Дильбар задумалась.

— Когда видишь, что развела огонь, чтобы согреться или других согреть, значит, найдешь полезное дело и избавишься от нищеты. А раз не знаешь... По-всякому можно толковать. Э, доченька, не грусти, жизнь у тебя счастливой будет.

Вспомнила я и подумала: «Ну как же. Счастливая! Вот оно, счастье, и привалило». Я гнала от себя мысли о предстоящем замужестве. Твердо решила: не дамся. Пока не знаю, как, но ни за что не дамся. И стараюсь больше об этом не думать...

Потом я увидела того военного, Даврона. Он вошел под навес и спросил:

— Зарина, можно с тобой поговорить?

Симпатичный дядька. Сразу видно, что сильный, и весь какой-то ладный, подтянутый. Лицо гладко выбрито, усы аккуратно подстрижены. Форма чистенькая, выглаженная, говорит очень чисто и правильно. От русского не отличишь.

Я ответила:

— Отчего же не поговорить. Можно.

Наверное, немного грубо получилось. Даврон все же спас нас тогда, на дороге, и все мы ему очень благодарны, но мне не понравилось, как он разглядывал меня, будто изучал или с кем-то сравнивал.

Он, видимо, не знал, с чего начать, тогда я спросила:

— Вы про Андрюшу правду или просто так сказали? Там, в мехмонхоне. Наверное, не хотели при дедушке говорить, как на самом деле...

— Я всегда говорю правду. У твоего брата все нормально. Служит.

— Этот ваш начальник... его не обижает?

— Не обижает. Я не разрешу. И тебя не обидит.

— Я сама не дам себя обидеть.

Он сказал:

— Надя, ты...

Я поправила:

— Зарина.

Он как-то странно посмотрел.

— Да, конечно. Зарина. Извини... Ты смелая девушка, но Зухур тебя не обидит. Слово мне дал.

У меня внутри настолько заледенело от мыслей о проклятом замужестве, что я не сразу оттаяла. Не могла поверить. Потом вспомнила, как все было, и сказала:

— Он вас обманет. Он пообещал, а сам Андрюшку приказал забрать.

— Не соврет. Побоится. К тому же я постоянно буду рядом. И не дернется.

Он говорил так уверенно, выглядел таким надежным.

— Сомневаешься? Я бы тоже сомневался, факт. Почему вообще допустил сватовство? Тогда были другие обстоятельства. Рассказать не могу. Очень серьезные. Но все уже позади. Поверь, теперь ты в безопасности.

Я спросила:

— А как же Андрей? Брата тоже отпустите?

— Его не могу.

Я чуть не лопнула от возмущения:

— Скажите лучше: не хочу! Или вы не командир? Боитесь, что этот ваш... начальник... не разрешит отпустить?

— Пусть послужит. Всякий парень должен служить.

И как раз закипела вода. Чтобы не наговорить еще больше грубостей, я подхватила кумган и ушла.

Наверное, все испортила. Он рассердился и не станет помогать. И пусть. Разве я могла не заступиться за брата?

17. Даврон

Позавчера, или точнее вчера ночью, я принял решение. Остаюсь в Сангдаре. Без меня Зухур сожрет здешних мужиков. Разграбит. Превратит в рабов. Не сам Зухур, так тот, кто его скинет. Каюм или какая-нибудь другая сволочь. В общем-то, мне по барабану, что станется с местными. Они чужие. Я не давал им никаких обязательств. Я не люблю горы. Вражеская территория. Необходимо постоянно быть настороже. В любую минуту дня и ночи ждать нападения. Вероятно, Афган приучил. Знаю, некоторые ностальгируют. Скучают по горам. Война, мол, войной, а горы — это мощь, величие, красота... Для кого угодно, только не для меня. Горы — это постоянное чувство опасности. Но я не хочу взваливать на себя дополнительный груз вины. Уеду и всегда буду помнить, что бросил этих людей в беде...

Выходит, вроде подхватываю факел Сангака. Юмор! Устанавливаю порядок и справедливость на крошечном плацдарме. В одном отдельно взятом ущелье. А куда деваться? К тому же, дело десятое, но я и сам могу подохнуть с голоду, когда выйду из ущелья в пустоту, заваленную обломками. Ни кола, ни двора, ни гроша в кармане.

Вчера утром поставил в известность Зухура:

«Берешь меня в долю. Конкретный процент и прочие условия изложу потом. Второе: ты завязываешь валять дурака и корчить из себя царя-дракона. Серьезно берешься за дело».

«Даврон...»

«Не перебивай. Отныне я партнер, так что заставлю тебя работать как папа Карло».

Он молча проглотил.

«Третье: придется подумать, как будем рассчитываться с местными. Держать их за рабов не позволю».

Зухур поддакнул:

«Правильно говоришь. Я тоже думал, надо дехканам как-то помочь. Тоже что-то им дать надо...»

Короче, начал отступать. Сдавать позиции. Ничего другого ему не оставалось. Наверняка уже знал, что душманы готовят переворот. Кроме меня рассчитывать не на кого. Я продолжил:

«Четвертое: твоя свадьба отменяется».

Теперь я мог вмешаться. Спокойно. Без страха. Фазу пробило не на Зарину. Она вне опасности. Молния не бьет дважды в одну точку.

На пункте о свадьбе Зухур ушел в глухую оборону:

«Невозможно!»

«Для коммунистов невозможного нет. Ты же у нас коммунист».

Он, возмущенно:

«Я первым в области партбилет на стол бросил!.. Как свадьбу отменить? Калинг семье невесты уже передали. Корову, баранов...»

«Оставь им это добро. Не обеднеешь».

Зухур принялся лукавить:

«Добра не жаль, я щедрый. Корова, бараны, шара-бара — это для меня мелочи. Но обычай нельзя нарушать. Свадебный туй на завтра назначен, весь

Ходжигон соберется, из Талхака люди приедут. Такое здесь правило, ты сам знать должен. Можно ли тысяче людей: "Не приходите" сказать? Большой позор получится, моему авторитету урон. Уважать перестанут».

Я предложил:

«Не отменяй приглашения. Устрой народные гуляния. Без свадьбы».

«Тоже не получится — девушку опозорим. Ты подумал, что люди будут говорить? Скажут: "Наверное, Зухуршо прознал, что она бесчестная, потому не захотел в жены брать". А девушку спросил, согласна она с позорным пятном жить?»

Напугал!

«Да она в огонь пойдет, лишь бы не за тебя».

Он, естественно, помрачнел:

«Почему так думаешь?»

«Совинформбюро сообщило. Не тупи, Зухур. Она сама тебе прямым текстом выложила».

Завелся:

«Глупая девчонка! Это ты во всем виноват, Даврон. Простое дело запутал».

Посопел немного и:

«Давай так сделаем: свадьбу проведем, три дня пройдет, я ей развод дам, она назад к родным уедет. По закону это очень просто сделать: достаточно "се талок" сказать, и все — развод. Ни мне, ни девушке никакого позора. А я, клянусь, даже пальцем к ней не притронусь».

Я просканировал его рожу — не хитрит ли. Он:

«Не веришь? Богом клянусь, Даврон, она мне не нравится. Я вообще таких не люблю. Женщина пышной должна быть, в теле. А она... Ладно, молчу, не хочу тебя обижать. Ты вот о чем задумайся: неужели я насколько глуп, чтобы с тобой из-за бабы ссориться? Мы теперь партнеры. И еще подумай: стоит ли партнерство с нарушения договора начинать?»

«Я с тобой договоров не заключал».

«Э, дорогой, кругозор надо расширять... Я с семьей этой девушки договор заключил. Как ни назови — уговор, сговор, — это контракт, хотя на бумаге не записан, печатью не скреплен, у нотариуса не заверен. Местные люди честному слову доверяют. А ты меня заставляешь безо всякой причины контракт разорвать, договор нарушить. Это грех. В Коране сказано: "Будьте верны обещанию". На грех толкаешь».

Абсурд. Зухур трактует о грехе. Я понимал, что дурачит. Ловит на принципиальности. Но возразить нечего. Заставлю Зухура взять слово назад, фактически стану обманщиком. Нет разницы, прямо или косвенно. Приказал — значит, в ответе. Я подавил бешенство. Вдох... Выдох... Порядок. А он спешил навесить еще один замок, надежнее запереть ловушку. Проникновенно:

«Ты бы сразу сказал, что на девушку глаз положил. Я три раза спрашивал: нужна тебе? Ты три раза ответил: не нужна. А, ладно, дело прошлое... Даврон, дорогой, я тебе не соперник. Брак фиктивным будет. На бракосочетание, чтобы никох совершить, не поеду. Другого человека, вакиля-заместителя, вместо себя пошлю. Закон разрешает. После свадьбы, чем хочешь поклянусь, даже на лицо ее не посмотрю, ни разу в одну комнату с ней не войду...»

Я прикоснулся к кобуре. Обозначил. Пистолет не достал. Перегнулся через столешинцу и упер указательный палец ему в лоб. Отодвинуться Зухуру не

позволяла прямая спинка стула. Он запрокинул голову назад. Задрал подбородок с жирной складкой на шее. Я крепко прижал конец пальца к точке повыше бровей.

«Обрати внимание, пока это палец...»

Зухур осторожно положил свою руку на мою, попытался отвести. Пальцы — отвратно мягкие и теплые. Я преодолел отвращение, усилил нажим:

«Обманешь, достану ствол. Учти, вхолостую не достаю».

Убрал руку. Зухур выпрямился. Постарался держаться будто ничего не случилось. В центре лба проявился отпечаток моего пальца. Печать на договоре.

Договор он нарушит, факт. Хитрить в отношении Зарины побоится. Притом она, по большому счету, ему не нужна. Так, развлечение, чтобы меня позлить. Настоящая битва пойдет, когда настанет время делить вершки и корешки. Зухур сделает все, чтобы заграбастать доход. Кинуть меня. Не дать ни гроша местным мужикам. Напрасно надеется. Не обхитрит. Не позволю. Станет залупаться, сам останется без копейки...

Шесть сорок семь. Стук в дверь. Командир первого взвода Одил Кадиров. Одил-кадров.

— Даврон, информация есть. Люди в верхнем кишлаке бунтуют. Зухур послал туда Гурга со взводом блатных.

— Когда?

— Минут двадцать назад.

— На чем уехали?

— На «скорой помощи».

— Поня-я-тно, — говорю. — Дуй в казарму, подними первый взвод. Пусть грузятся на ГАЗ-51 и ждут меня на площади. Ахадова с машиной пошли к дому Зухура...

Семь ноль восемь. Во дворе Зухурова дома встречаю Гадо. Специально поджидает, факт. В курсе событий и желает проследить за предстоящим конфликтом.

— Где? — спрашиваю.

Кивает на пристройку с кабинетом.

Зухур восседает на своем троне за огромным полированным столом. Вхожу, он вскакивает.

— Даврон! Все утро ищу! Куда ты пропал?

Хитрит. Боится раздолбона. Пытается перехватить инициативу. Перекладывает вину на меня. Сажусь за стол, перпендикулярно приставленный к его письменному алтарю. Указываю:

— Сядь здесь. Напротив.

Нехотя подчиняется. Само собой, прикидывается, будто снисходит. Говорю спокойно:

— Зухур, я предупреждал: не суйся. Ты завхоз. Хозяйничай. А дальше — ни на шаг. Я отвечаю за силовые операции. В которых ты, между прочим, ни хрена не смыслишь. Нельзя посылать духов в верхний кишлак. Они кровавую разборку устроят, а нам кровь и беспредел ни к чему.

— Эти горцы разучились власть любить, пусть бояться научатся.

Я едва сдержался. Глубоко вдохнул. Медленно выдохнул...

— Кончай темнить. Хоть раз не изворачивайся. Я в курсе ситуации. Понимаю твою тактику. Испугался, отослал духов подальше от своей особы. Но

ведь только на время. Через несколько дней они вернутся. И как планируешь обороняться?

Сделал паузу, чтоб Зухур прочувствовал. Продолжил:

— Не дрейфь, задавлю ихнее ГКЧП в зародыше. Выгоню главарей — Гурга, Рауфа и Хола. Попробуют бузить — ликвидирую. С остальными разберусь по ходу дела. В любом случае, раскидаю духов по разным взводам. А дальше — в зависимости от поведения каждого...

Он заблеял:

— Э, Даврон, думаешь, это просто? Дело намного сложнее... Ты не знаешь...

Знаю. Как только Гург сболтнул о Каюме, я дал Калоше, своему информатору, задание: «Выясни, кто таков. Какие у него дела с Зухуром». Калоша раскопал немало. Однако Зухур обязан рассказать сам. Обрываю:

— Значит, так: сейчас не время, а вернусь из Верхнего селения, выложишь всю информацию. Полностью. Кто тебя за яйца держит и как конкретно. Будем решать задачи по мере поступления. Амба. На данный момент диалог закончили. Дай бумагу и ручку.

Вчера днем я не успел рассказать Зарине о договоре с Зухуром. Она в первую же минуту: «Отпустите брата. Или боитесь начальника?» Я не мог объяснить, чего опасаюсь. Факт, не Зухура. У него предо мной коленки дрожат. Но я до смерти боюсь навлечь на ее брата беду. Она сама по случайности избежала короткого замыкания. Рассказать — не поверит. Я никогда не рассказываю. Никому. Отбрехался: «Парни должны служить». Бред, конечно. Она фыркнула, вспыхнула и убежала. Так и не узнала, что Зухур к ней не прикоснется. Брак будет фиктивным. Зато я успел ее рассмотреть. На близкой дистанции. Сходство с Надей минимальное. Золотые волосы. Голубые глаза. Решительное выражение лица. Прямая осанка. Совпадают только отдельные черты. Иллюзия зеркального отражения исчезла вместе со страхом, что Зарину ждет Надина судьба. Пишу ей записку. Очерчиваю полный расклад.

Девять двадцать три. Дорога к Дехаи-Боло, Верхнему селению. Подъезжаю к повороту на Талхак. Приказываю Ахадову:

— Тормози.

Выхожу из машины. Грузовик останавливается позади. Бойцы в кузове встают, озираются: почему остановились? Одил-кадров, взводный, выскакивает из кабины.

— Кто у тебя из бойцов самый слабый? — спрашиваю. — Кликни его.

— Теша, сюда! — командует взводный .

Из кузова спрыгивает на дорогу хилый паренек.

— Местный, из Верхнего селения, — поясняет Одил. — Пригодится для общей ориентации. Затем и едет.

— Обойдемся, — говорю. — Сами разберемся. Отсылаю его с поручением.

Заезжать в Талхак нет времени. На счету каждая минута. Перехватить душманов по дороге вряд ли удастся. Необходимо успеть в верхний кишлак, пока они дел не натворили. Теша — пацан бестолковый, но чтоб письмо отнести, ума не надо. А как боевая единица — ноль. Если дело дойдет до серьезного, пользы от него никакой.

Инструктирую мальчишку:

— Отправляйся в Талхак, найди дом старика Мирбобо, ветерана войны...

— Искать не надо! Знаю. Его все знают.

— Вызови внучку старика, Зарину. Скажи ей, что все нормально. Ситуацию я уладил, но вынужден отлучиться. Пусть не беспокоится. И передай записку. Задание понятно? Повтори.

— «Все нормально» — скажу, записку передам.

— И еще: с бойцами задание не обсуждать. В кишлаке — ни слова о том, кто тебя послал. Проболтаешься, голову оторву. Понял?

Он, мрачно:

— Так точно!

18. Зарина

Было еще совсем темно. Я лежала и слушала, как во дворе переговариваются женские голоса. Потом вдруг глуховато затараторил бубен:

«Тум, тум, тум, тум-балаки-тум, тум-балаки-тум...»

И замолчал. Потом вновь несколько ударов:

«Тум, тум, тум...»

Я представила, как музыкант на летней кухне над глиняным очагом настраивает бубен. Водит им над пламенем, чтобы кожа получше натянулась, и пробует, как звучит. Позванивают стальные кольца-сережки на деревянном ободе. Пляшут красные огненные языки. Я как завороженная гляжу на огонь, а дойрист-музыкант — молодой, ладный — поднимает бубен над головой и выстукивает звонко:

«Тум-балаки-тум, тум-балаки-тум... Тум, тум...»

Смех. Значит, соседки уже собрались. Почему не приходят за мной?

Я уже ни на что и ни на кого не надеялась. Даврон попросту сбежал куда-то после того, как наобещал мне, что могу ничего не бояться. А у самого даже не хватило смелости явиться лично и сказать, что ничего не получилось. Я бы, по крайней мере, не чувствовала себя обманутой и преданной. К тому же нашел, кого прислать вместо себя, — того прыщавого урода, что был с подонками, которые тащили меня в машину на дороге. Урод заявился, выпалил: «Даврон сказал, что все нормально» — и попятился, чтобы дать деру. «Что, и все?!» «Да, все». «Даже записки не написал?» «Нет, не написал». По глазам видела, что врет. Потерял, видимо. Да какая разница! Я все равно не стала бы читать. Очень мне нужны извинения и прощальные приветы. Я даже не разозлилась, так мне стало горько и одиноко.

Потом стала думать об Андрее. Ему, конечно, еще хуже, чем мне...

И тут она вошла. Как всегда — не постучалась, не спросила разрешения. Вошла как в коровник или загончик с овцами, нагнулась и потрясла меня за плечо.

— Поздравляю с праздником! Сегодня замуж выходишь.

Вот и выходи сама! Я лежала с краю, лицом к двери, а тут перевернулась на другой бок и притворилась, что продолжаю спать. Она сказала:

— Эй, девочка, много дел надо сделать.

Мама тоже давно не спала. Лежала рядом и молчала. Сейчас она села и сказала резко:

— Оставь мою дочь в покое.

Бахшанда на нее даже не глянула.

— Женщины пришли. Стыдно заставлять их ждать.

Я не шелохнулась. И тут наша тигрица меня удивила. Никогда от нее не ожидала. Она присела рядом с постелью и сказала мягко, даже ласково:

— Зарина, все так замуж выходят. Девушек не спрашивают, хотят они или не хотят...

Да?! Сама-то за моего папу выходила. За моего папочку любая девушка не просто бы пошла, бегом побежала. А те девушки, которых не спрашивают, хотят они или не хотят, — их замуж за людей выдают. Не за монстров, не за зверей... За простых деревенских парней. Хороших парней, которых если и не любила вначале, то, может быть, когда-нибудь потом полюбишь.

Мама сказала:

— Она не пойдет. Справляйте свою свадьбу без нас. Отдайте ему другую девчонку. Свою.

Отбросила одеяло и встала. Бахшанда тоже поднялась на ноги медленным кошачьим движением. Бровь заломлена, рот сжат... Только хвоста не хватает — хлестать себя по бедрам. Они с мамой стояли, с ненавистью глядя одна на другую, и мне чудилось, что тигрица вот-вот вскинет лапу, выпустит когти и мощным ударом раздерет маме лицо.

— Тетушка, я уже встаю, — сказала я.

— Заринка, не смей! — крикнула мама. — Лежи! Ты никуда не пойдешь. Я не позволю. Я тебя не отдам.

Но я уже вскочила, схватила изоры и платье, лежащие у изголовья, напялила их на себя. Не могла допустить, чтобы мамочка из-за меня пострадала от этой ведьмы. Мама отвернулась от Бахшанды и медленно оделась. Затем проговорила тускло:

— Это безумие. Ты не можешь...

Я сказала:

— Могу.

Повернулась к Бахшанде:

— Тетушка, я только умоюсь.

— Не надо, — сказала Бахшанда. — Тебя умоют, причешут и оденут.

Взяла меня за руку и отвела в большую в комнату, где обычно собиралась семья. Сейчас она была набита женщинами в ярких платьях. Собрались кишлачные дамы. Весь высший свет Талхака. Жена раиса, жена счетовода, соседки... Слетелись как мухи на мед. Все разряженные. Делали вид, что это обычная свадьба. Мы вошли, они разом вытаращились на нас и загалдели:

— Счастлив день твой, девушка.

— Ах, какая красавица.

— Слава керу твоего деда, Вера-джон, такую дочь родила!

Мы остановились в дверях. Тетушка Кубышка потянула меня на середину комнаты, приговаривая:

— Счастлив твой муж, красавица, да буду я жертвой за тебя...

Нет, это я буду жертвой за них. Прикидываются, будто собрались на праздник и готовятся к настоящей свадьбе, но я-то знала, что они — весь кишлак — покупают расположение Зухуршо.

Тетушка Кубышка оглядела меня как хирург перед операцией. Хотя лучше подошло бы — как мясник барашка.

— Принесите воды, — приказала она. — Вымою тебе голову, невеста-цветок.

Ее перебила тетушка Лепешка:

— А волосы убраны ли?

Вчера Бахшанда несколько раз подступалась ко мне с уговорами об этих злосчастных волосах, но я четко сказала «Нет, ни за что!» — и она отступилась. Меня слегка удивило, почему она не попыталась меня сломать, — обычно тигрица во что бы то ни стало желает добиться своего. Сейчас она только гордо вздернула голову и ответила:

— Не убраны.

Весь цветник глянул с неодобрением. И только тетушка Лепешка сказала примирительно:

— Не беда. Дело недолгое.

Я сказала:

— Нет.

Тетушка Лепешка покачала головой:

— Позор нам, если отправим тебя к мужу с неубранными волосами. Закон велит убирать. Не упрямься, девушка.

Она взяла меня за руку.

— Даста б'гир! Руки убери! — крикнула мама. На этом ее таджикский кончился, и она перешла на русский: — Вы что, не поняли?! Она не хочет! Вы не смеете заставлять.

Лепешка попробовала уговорить нас обоих:

— Вера-джон, такой счастливый день — надо, чтобы все прошло как должно. Чтобы красиво было... А ты, девочка, не бойся. Все так делают. Это совсем не больно. И нас не стесняйся — мы все тут женщины...

Цветник загалдел:

— Хуршеда правильно говорит. Надо, чтоб красиво было.

— Не дело это.

— Надо закон соблюсти.

— Может, у русских там совсем по-другому устроено, — крикнула из угла Дилька, моя подружка.

Тетушка Кубышка цикнула:

— Э-э, что говоришь? Бог всех из одной глины лепил.

Бахшанда решительно отодвинула тетушку Лепешку.

— Не хочет добром, уберем силой.

Мама молча ее оттолкнула. Две женщины схватили маму за руки и оттащили от меня. Она вырывалась молча, с ожесточенным лицом. Подоспели еще две и вывели мамочку из комнаты. Гулька — сестрица так называемая, предательница, гадина, уродина! — расстилала в углу курпачи.

— Вот там, на мягком, будет хорошо, — приговаривала тетушка Кубышка. — Ложись, мы сами все сделаем.

Я сказала:

— Нет.

— Доченька, — проворковала тетушка Лепешка, — обязательно надо волосы убрать. Иначе нас опозоришь...

Они повалили меня, спустили шальвары и принялись шариком из камеди,

урюковой смолы, дергать волосы на моем лобке. А я думала, каково сейчас маме, и, кажется, кричала:

— Мамочка! Мама! Где моя мама?

А потом замолчала как Зоя Космодемьянская. Я где-то читала, как инопланетяне похищают людей. Затаскивают на летающие тарелки и ставят какие-то свои опыты. Разрезают, вставляют в тело трубочки или вообще творят что-то непонятное. А потом похищенные люди забывают, что с ними было. Но я-то не забуду. Я еще посчитаюсь с ними... Колхозные инопланетянки держали меня крепкими крестьянскими руками и свежевали как барана для праздничного угощения. И я наконец по-настоящему поняла, что все это — всерьез. Прежде не верила, что меня действительно насильно выдадут замуж. Обманывала себя. Надеялась, случится что-нибудь, как-нибудь само собой образуется.

— Теперь хорошо, — сказала тетушка Лепешка, и меня отпустили. — Сама будешь радоваться, как чисто и красиво...

Я чувствовала, будто меня изнасиловали. И такая злость вспыхнула. Я этого не прощу. Назло стану здешней царицей, и тогда они попляшут. Головы им побрею. Прикажу, чтоб без платков ходили, лысинами сверкали. Они еще узнают, с кем имеют дело. Я представляла, как их накажу, а тетушка Лепешка тем временем вымыла мне голову и стала расчесывать волосы.

— Эх, девочка, да буду я жертвой за тебя, какие у тебя волосы красивые. Чистое золото.

— Счастливая, за большого человека выходишь.

Тетушка Лепешка принялась заплетать волосы в косички, а Гулька запела:

Девушка-цвет, косы плети,
Время в путь собираться.
Валло-билло, не пойду,
Лучше мне дома остаться.

Девушка-цвет, бусы надень,
Время в путь собираться.
Не надену, валло-билло,
Незачем мне украшаться.

Девушка-цвет, туфли обуй,
Время в путь собираться.
Ни за что не обуюсь, клянусь,
Лучше босой оказаться.

Вот так-то! Не я, значит, одна. Те, которых за молодых, хороших выдают, они тоже не хотят уходить из дома. Но им жить и жить, а мне... Не всем, конечно, жить. Сколько их, вышедших за молодых и хороших, сжигали себя по всему Таджикистану.

В нише передо мной стоял глиняный светильник, похожий на грубо вылепленный соусник с вытянутым носиком. В комнате было в общем-то светло, но огонек все равно горел — праздничное освещение. Обычай что ли такой? Я смотрела на огонь и почти не сознавала, что со мной делают.

— Подними руки, красавица, — сказала тетушка Лепешка. — Платье на тебя надену.

Я подняла руки, и пламя светильника на миг словно задернуло шторой. А когда платье скользнуло вниз и штора упала, я увидела, что огонек затрещал и

начал сникать. Я следила, как он угасает, и боялась, что кто-нибудь из женщин тоже заметит и зажжет вновь.

Но у тетушки Кубышки глаз как у орла.

— Огонь-то погас.

Женщины зашептались, но я расслышала:

— Дурной знак.

— Счастья не будет...

— Масло выгорело, — сообщила тетушка Кубышка. — Эй, девочки, долейте.

Гулька, гадина-уродина, и здесь подоспела. Подскочила и намылилась лить масло в соусник из медного кувшина с длинным узким горлом.

Я закричала:

— Не трогайте светильник! Не зажигайте. Я не хочу.

— Судьбы не будет.

Но я все повторяла:

— Не хочу! Не хочу!

Они отступились.

— Ладно, доченька, — сказала тетушка Лепешка. — Как желаешь... Твоя судьба.

Меня расписали как матрешку — нарумянили щеки, подвели брови усьмой, а глаза сурьмой, — затем повели в мехмонхону, где один угол был отгорожен свадебной занавеской, расшитой яркими узорами. В этом-то загончике, за занавеской, меня и усадили. И гадина-уродина Дилька тут же примостилась, по обычаю. Невестину подружку из себя строит. Потом явились какие-то тетки, родственницы Зухуршо, принялись разглядывать меня, хвалить и целовать. Тьфу, будто на вкус пробовали...

Хорошо хоть, что во всех прочих обрядах обошлись без меня. По обычаю невеста не должна показываться мужчинам, и за нее отдувается вакиль, заместитель. Так называемый женишок тоже не прибыл. Приехал младший братец, Гадо, тот самый противный красавчик, который в первый раз меня сватал и которого я мысленно прозвала Гадом. Он объявил, что у их королевского величества срочные дела. Так что они и без него обошлись, нашли заместителя. Не знаю, как происходило само бракосочетание, и знать не желаю.

Меня повели на узкой улочке вниз, к машине. Впереди шли зурнач и дойрист, который выстукивал на бубне праздничный, будоражащий ритм. На площади около мечети стоял целый караван из пяти автомобилей и толпились люди в разномастной военной одежде. Свадебный кортеж. Завидев нас, толпа завопила и принялась палить в воздух.

Дядя Джоруб усадил меня на заднее сиденье уазика со снятым тентом и сел рядом. Я по-прежнему немного на него обижалась, хотя понимала, что он сделал все, что было в его силах, и ничем больше помочь не мог. Кортеж тронулся, горы, едва различимые через сетчатое окошечко в фате, начали разворачиваться будто колода волшебных карт. Как я прежде любила такие поездки! Ждешь, что за каждым поворотом откроется что-то замечательное. Такое, чего и на свете не бывает. Но теперь меня ожидают только страх и боль.

Дом Черноморда стоял на возвышении. Это он нарочно выбрал такое место, чтобы царить над кишлаком. Ко дворцу вела широкая каменистая дорога, которая упиралась в золотые ворота. А возле них собрался, видимо, весь кишлак.

Машина остановилась. Дойрист еще громче застучал в свой дурацкий бубен, а зурна завизжала еше пронзительнее. Толпа от ворот повалила навстречу. Выскочила вперед красотка — смуглая, веселая, удалая кишлачная Кармен в кокетливо повязанном платке, с бровями, густо подведенными усьмой, — и залилась высоким голосом:

Пришла невестушка в добрый час.
Эй, невестушка, порадуй нас!
Добро пожаловать под мужнин кров,
Спеши-ка скорее доить коров.

Потом народ расступился, и я увидела маленькую старушку в накидке из белоснежной марли — чистенькую и насквозь прозрачную, как ее марлевый плат. Я поняла, что это мать Черноморда. Она смотрела ласково и, наверное, очень бы мне понравилась, если б я не знала, кто ее сын. Она разглядывала меня с детским восторгом. Словно девочка новую куклу.

Я и впрямь ощущала себя куклой, которую здешние женщины подхватили и тормошат, переставляют туда и сюда, играя в свадьбу.

Эй, кукла, постой, мы осыплем тебя мукой и рисом.

Эй, кукла, переступи через порог.

Они утащили меня в большую комнату, похожую на ковровый магазин. Черно-красными коврами было завешено и завалено все, что только можно было завалить и завесить. Оставалось место лишь для полированной горки с хрусталем и расписными чайниками. На горке меня ждал древний глинняный светильник, такой же, как в Талхаке.

Эй, кукла, садись позади свадебной занавески на этот сундук, жених придет на тебя посмотреть.

Он же уехал! Значит, скоро вернется или уже вернулся?! Я собрала все силы и твердила: «Я не боюсь тебя, Черноморд. Кто ты такой, чтоб тебя трусить?» Вдруг я вспомнила, как в первых классах тряслась при одном только виде школьной директрисы, злой ведьмы, а мамочка сказала: «Запомни хороший прием. Если кого-то боишься, вообрази этого человека в смешном виде».

И я представила Черноморда совсем маленьким, росточком мне по колено. Наряжу-ка его как куколку. В короткие голубые штанишки, белую рубашечку, красный понерский галстук повяжу. Вот какой он у нас, Черномордик. Всем ребятам пример. Я смотрела на него сверху вниз, но маленький Черномордик гнусно усмехнулся и начал спускать штанишки. Очень глупо. Старый, а ведет себя как зеленая шпана.

В общем-то, я знаю, как устроен мужской пол. Ну, не взрослые мужчины, скажем, а мальчики. Мне уже приходилось видеть. У нас в Ватане националки пускают малышей гулять на улицу в чем мать родила. Так что я догадалась, что Черномордик задумал показать мне свой маленький чумчук — точно такой же, как у голеньких двухлетних мальчиков. Только еще меньше. Совсем микроскопический... Но у него все равно ничего не выйдет — штанишки без пояса и застежек. Не расстегнешь, не снимешь.

Я иронически следила за его потугами, но вдруг, словно в фильме «Чужой», голубые шортики взбугрились, как будто из нутра Черномордика лезла инопланетная тварь, потом тонкая материя с треском разодралась и наружу вырвался огромный черный змей. Голова его покачивалась почти на уровне моего лица. Я

вскрикнула и закрыла глаза. Змей не исчез. Он существовал в моем воображении, но я никак не могла загнать его обратно, назад в прореху, из которой он выскочил.

Черномордик ликовал. С трудом удерживаясь на ногах, он с гордостью поглядывал то на меня, то на змея... Я не знала, как избавиться от наваждения, и тут мне внезапно вспомнился идиотский Гулькин анекдот. Я крикнула: «Эй, ты! А козьи зубы видел?!» Мерзкий змей сник, съежился и червячком юркнул назад в штанишки. Черномордик растерялся, а я разрешила: «Вот теперь снимай». Он послушно сдернул шортики, а там — гладкая блестящая пустота, как у розового пластмассового пупсика. Черномордик ужасно смутился, я торжествовала. Он никак не мог поверить, что ничего нет, трогал ручкой, щупал, а потом сел на землю и заплакал.

Теперь я совсем успокоилась и больше не боялась встречи с Зухуром. Чувствовала, что сумею дать отпор. Я не видела, что происходит в комнате. Слушала, как женщины возбужденно смеются, обмениваются шуточками, и разглядывала оборотную сторону свадебной занавески. Снаружи она была очень красивой, сплошь расшитой яркими узорами, а с моей стороны обшита какой-то простой тряпкой с блеклым рисунком. Вот и вся эта двуличная свадьба такова. Так что правильнее было бы покрыть занавеску сзади не серым ситчиком, а черным траурным сатином.

Зухуршо так и не появился. Я отсидела сколько положено за занавеской — традиция была соблюдена. Затем последовал следующий номер обязательной программы. Старушке не терпелось испытать новую игрушку. Похвастаться перед соседками, что подарил сын.

Мне подружки рассказали заранее — новая невестка должна показать, какова она в одном из главных женских дел. Меня отвели на летнюю кухню, где все уже было готово к экзамену. Открыт глиняный ларь с мукой. Расстелен кожаный дастархон, на котором месят тесто. Горшок с молоком, ведро воды... Экзаменационная комиссия — соседки — расположилась вокруг. Здесь тоже оказались свои местные тетушки Лепешка и Кубышка. Только здешняя Лепешка была огромной, пухлой — такие пекут из белой муки и украшают всякими завитушками. Не лепешка, а целая лепешища в складках и складочках. А маленькую тетушку Кубышечку с лощеными боками аккуратно слепили из красной, румяной глины.

А теперь, кукла, испеки-ка нам хлеб. Очаг уже истоплен.

Ладно, сейчас я вам покажу. Чего придуряетесь? Зачем делаете вид, что на самом деле хотите меня испытать? Это все ненастоящее. Мне в этом доме не жить, хлеб не печь. Хотела замесить такое, чтобы чертям стало тошно. Но не смогла. Через уважение к хлебу не смогла переступить.

Я спросила:

— Кислый или пресный?

— Пресный, доченька, пресный пеки, — проворковала старушка, моя так называемая свекровь.

Ну, конечно: если кислый, придется ждать, пока тесто подойдет. А ей не терпится. Я засучила рукава и проговорила.

— Не мои руки, руки Биби-Сешанбе.

Комиссия одобрительно закудахтала.

— Офарин! Русская девочка, а знает...

Меня учили печь лепешки, и вроде обычно неплохо получалось. Но сейчас будто сама Биби-Сешанбе, наша талхакская покровительница домашнего хозяйства, подсунула мне свои руки. Они так и летали. Нагребли в сито муку из ларя и просеяли на большое деревянное блюдо. Сделали в мучной горке ямку и сыпанули туда соли. На воде или молоке? Руки сами схватили кувшин с молоком. Я опомниться не успела, а они большой деревянной ложкой смешали муку с молоком, вывалили густое тесто на скатерть из коровьей кожи и принялись месить.

— Да буду я жертвой за тебя, — охнула здешняя тетушка Кубышечка.

А руки уже схватили нож, разрезали ком теста на порции и налепили с десяток колобков. И тут же принялись раскатывать их скалкой. Ай да руки! Какие лепехи раскатали. В здешних местах ценят, чтоб пресная лепешка большой была. А Биби-Сешанбе уже надела ватную варежку, чтоб золотую руку не обжечь, положила на варежку первую из лепех, метнулась к очагу и ловким шлепком прилепила тесто к раскаленному внутреннему своду. Потом — вторую лепешку. Третью... Все до одной прилепила, водой сбрызнула, тут же в блюдо, в котором тесто готовила, плеснула кипятка из кувшина, вымыла посудину. Потом остатки муки со шкуры смела, собрала в горсточку и — в очаг, на угли. Огню — угощение. Надо и его покормить. Да и арвохи, духи предков, тоже пусть мучицей полакомятся.

Пока Биби-Сешанбе так хлопотала, лепешки подрумянились. Она их длинным железным крючком со свода очага поснимала и побросала на чистую скатерть. Старушка руку протянула, взяла одну.

— Во имя Бога, милостивого, милосердного, — и разломила горячую лепешку на куски

Экзаменационная комиссия тоже руки тянет, дегустировать. Одобрили и похвалили. Зачет.

— Хорошо, доченька. Баракалло! — сказала старушка. — Покойная Зебо так не умела. Я ее, беднягу, и к очагу-то не подпускала. У нее хлеб всегда подгорал.

Подгорал, значит? Во мне будто что-то сломалось.

Едва дотерпела до вечера. Ветхая голубка, так называемая свекровь, отвела меня в маленькую нарядную комнатку — супружеские, стало быть, покои. Но визит Черноморда мне сегодня не грозит. Молодой супруг — это Черномор молодой-то? — может войти к жене только на третий день после свадьбы — таков древний обычай, который даже Зухур не посмеет нарушить. Женщины не дадут, будут зорко следить. Но на всякий случай я на кухне стянула и спрятала за пазуху нож.

19. Олег

Темнота была непроглядной, однако я решил, что наступило утро, потому что услышал, как наверху, на поверхности, открылась дверь тюремного предбанника, и тут же высоко над моей головой в потолке ярко обозначилась квадратная дыра. Падающий сквозь нее свет скупо озарил земляные стены ямы, я зажмурился. Даже эти рассеянные отблески больно ударили по ослабевшим глазам.

— Эй, сосед! Ты дома?

Я разлепил веки, поднял голову и смутно различил Гафура, который стоял на краю дыры, всматриваясь вниз.

— Как спал, сосед? Как себя чувствуешь? Здоровье как?

По тону я догадался, что его патрон в отлучке.

— Спасибо, друг. Как ты? Отдыхаешь, небось, без Зухуршо.

— Откуда знаешь, что он уехал?

— Ты сказал.

Гафур, разумеется, ничего не говорил, а посему отреагировал с недоумением:

— Эъ! Когда?!

— Сегодня ночью, во сне.

—Э-э-э, тогда другое дело. Расскажи, я умею сны толковать.

Я принялся сочинять на ходу:

— А было так. Ты вошел, опустил вниз лестницу и позвал: «Олег, чего ждешь? Вылезай. Зухуршо уехал, я тебя на волю отпускаю». Я обрадовался, вылез. Ты сказал: «Не торопись, Олег, времени много, спешить не надо». Пошли мы на задний двор, чтоб я умылся, а там какой-то боевик тебя остановил: «Зачем арестанта освободил. Зухур рассердится». Ты ответил: «Зухуршо нет, я теперь главный». Боевик в струнку по стойке «смирно» вытянулся и тебе честь отдал. Потом ты меня к себе пригласил, да не в прежнюю комнату, а в мехмонхону, которая раньше принадлежала Зухуршо, а стала твоей. Ты хлопнул в ладоши, вбежали женщины, принесли горы всякой еды. Поели, и я тебе сказал: «Гафур, почему бы нам с тобой отсюда не уехать...»

Гафур был, кажется, несколько разочарован:

— Хороший сон, но толковать в нем нечего. Это мечта.

С единственной целью — логически завершить тему — я предложил:

— А почему ж мечту не исполнить? Отпустил бы.

— Разве мечты когда-нибудь исполнялись? — ответствовал Гафур и начал неспешно спускать в яму ведро на веревке.

Да, братцы, это Восток. Только здесь тюремщики философствуют

Белое эмалированное ведро сверкало в свете, падающем из дыры, и медленно плыло вниз. После нескольких дней сидения в темной земляной тюрьме скромная бытовая посудина казалась предметом фантастической роскоши. Удивительно, как быстро меняются человеческие представления.

— Ребята вечером мясо ели, я тебе отложил, — проговорил наверху Гафур.

В ведре стоял кувшин с водой, накрытый лепешкой, а на ней — небольшой кус чего-то подгорелого. Мой дневной паек.

— Порожний кувшин поставь, не забудь, — велел Гафур.

Пустая тара поднялась на свободу.

— Подними заодно и мое ведро, — попросил я.

Гафур фыркнул:

— По-твоему, кто я? Пришлю кого-нибудь, заберет.

— Тогда хоть дверь оставь открытой.

Я имел в виду вход в хибару, где вырыт зиндон.

— Нельзя. Зухуршо сказал, надо закрывать.

— Послушай, Гафур, его все равно нет. А другим наплевать. Ты только представь, каково это сидеть в полной темноте...

— Какая разница? Все равно смотреть не на что.

— Знаешь, где-то в Швейцарии есть такая подземная река, где водятся

безглазые рыбы. Белые как молоко. Не слепые, у них просто абсолютно отсутствуют глаза.

— Сказка, да?

— Нет, бедняги так долго жили в темноте, что глаза пропали. Чувствую, что скоро превращусь в такую рыбу...

— Ладно, — сказал он. — Без глаз как фотографировать будешь?..

Странное дело, но наше недолгое комнатное соседство, вероятно, создало у него некое чувство общности. Думаю, если бы Зухуршо приказал: «Повесь журналиста», Гафур и глазом бы не моргнул — спокойно исполнил, что приказано, и спал бы потом безмятежно. А поскольку распоряжения морить голодом не поступало, он счел своим долгом заботиться обо мне по-соседски. Он вовсе не злодей, просто работник. Как-то, три или четыре его посещения назад — не помню точно, у меня начала путаться последовательность событий, — я спросил:

«Гафур, тебя совесть не мучает?»

«Почему?»

«Ты того человека повесил. Парторга».

«Зухуршо приказал».

«Но казнил-то ты, мусульманина жизни лишил. Разве Аллах не запретил убивать правоверных?»

«Э, сосед, разве коммунист может быть правоверным?»

«Зухуршо тоже был коммунистом».

«Э-э-э, Зухуршо... — приговорил Гафур и присел на корточки, то ли готовясь в долгому разговора, то ли затем, чтобы быть поближе к собеседнику.— Ты змея у него видел? Хороший змей, да? Сильный. Это мой змей был. Я когда милиционером в Душанбе работал, один раз в зоопарк зашел. Ты там бывал? Я тогда подумал: Аллах в своей милости ад для животных не создал. Только для людей. А потом люди для животных ад сделали — этот самый зоопарк. Там много зверей. Я льва видел. Медведя видел. Как тигр по клетке ходил кругами, видел. Разве это не ад — всю жизнь бегать от стенки к стенке среди своего дерьма? Разве не ад, всю жизнь дышать вонючим воздухом? Потом в одно место зашел и там за большим стеклом Мора увидел. У него тогда имени не было — просто змей. Это я потом Мором назвал. Я когда его увидел, сразу решил: себе заберу. До смерти захотелось. Очень сильный змей. Пошел к директору, большие деньги предлагал, он не продал. Потом ту бабу, что за змеями ходит, уговаривал, она тоже не согласилась. Боялась, что узнают... Я много раз туда ходил на Мора смотреть. Во время войны, когда мы "юрчиков" из Душанбе выбили, я сразу в зоопарк пошел. Знаешь, стекло очень толстое оказалось. Наверное, какое-то специальное. Я автоматом несколько раз ударил — не разбивается...»

«Зашел бы с задней стороны, через дверь для служителей».

Лица Гафура я снизу не видел, но в его голосе явно расслышал неодобрение:

«Слушай, ты не понимаешь. Я что, рабочий, который за животными убирает? Я что, ветеринар? Задняя дверь — для тех, кто навоз выносит».

«Как же ты змея-то извлек?»

«Ты умный, сам догадайся... А Мор, он сразу меня почувствовал. Сразу понял, что...»

Гафур замолчал. Я понял, что он не может подобрать слов, и сказал:

«У змей нет чувств. У них кровь холодная».

«Нет, он знает, как я к нему отношусь».

«А тебе-то откуда известно? Они ведь и говорить не умеют».

«Главного во мне признавал».

«Хозяина?»

«Нет, что ты! У Мора не может быть хозяина. Главного признал».

«Откуда ты знаешь?»

«Он силу мою чувствовал. Уважал. У Зухура настоящей силы нет. Потом увидишь, Мор его задушит».

«Что-то не разберусь, — сказал я. — Ты, могучий парень, и вот так, беспрекословно, за здорово живешь, отдал удава Зухуршо. Да к тому же почему-то ходишь у него в палачах. А говоришь, силы у него нет. Околдовал тебя?»

«Жопошник он, — мрачно сказал Гафур. — Я его не уважаю. Моя семья, мой каун перед его кауном в долгу. Приходится служить, долги отдавать...»

После этой исповеди он, как мне показалось, сменил традиционную доброжелательность к былому соседу, на что-то вроде личной симпатии и иной раз подходил к яме просто так, пообщаться. К сожалению, нынешняя беседа длилась недолго. Звякнула дужка ведра — Гафур отвязывал веревку. Потом сказал:

— Отдыхай, сосед, мешать не буду.

Я услышал над головой шаги. Он уходил. Дверь скрипнула, но не хлопнула, и свет в зиндоне не померк. Вероятно, сообщение о безглазых рыбах поразило воображение Гафура.

Обещание он сдержал. Через какое-то время наверху затопали, молодой голос крикнул:

— Эй, корреспондент! Гафур прислал, сказал: «То самое вытащи». Что тащить?

— Веревку брось.

Посланец повозился, затем в дыру полетел и шлепнулся на землю спутанный веревочный ком.

— Конец веревки, кретин! — крикнул я со злобным раздражением. — Конец!

За дни подземного существования нервы истончились до предела, к тому же мне не терпелось избавиться от содержимого поганого сосуда. Правда, запах из него я почти перестал обонять, и это привыкание мучило посильнее того отвращения, что вначале вызывала вонь. Неужто я постепенно оскотиниваюсь? На воле о таких вещах не думаешь. Облегчение происходит как бы само собой — под кустиком, за деревом или в кафельном санузле, экскременты покидают тело и сразу же исчезают; в неволе они надолго застревают рядом, в тесной близости с тобой. В одном, так сказать, ограниченном пространстве. Смешно сказать, но для меня фекалии сделались даже предметом философствования. Сидение в яме заставило осознать, что испражнение и все, что с ним связано, занимает в жизни человека место, не менее значительное, чем антипод — прием пищи. Лишение человека возможности выделять — столь же мучительно и смертельно опасно, как отсутствие возможности поглощать...

Зухуршо знал, что делал, когда приказывал:

«Этого мужика напоите, чтоб вода из ушей лилась, и кер ему завяжите».

При полном параде, с церемониальным удавом на раменах, он распоряжал-

ся, стоя на возвышении. На крыльце магазина. По обе стороны от Зухуршо, вдоль магазинной стены выстроилась его уголовная дружина. Сбоку, чуть в стороне, понуро топталась небольшая кучка мужиков.

Прочие поселяне, мужчины и женщины, стояли напротив плотной толпой. Зухуршо согнал все население Ходжигона наблюдать за показательной экзекуцией, чтобы каждый наглядно представил, что ждет любого, кто откажется запахать посевы на своих полях и подготовить землю под высадку мака.

Два Зухуровых головореза потащили из кучки отказников того, кому была назначена пытка мочевым пузырем. Мужик уперся. Подошел третий боевик и коротко саданул его прикладом автомата по почкам. Отказника повели в помещение магазина. Я очень хорошо представлял, какие мучения ему предстоят, — читал у Светония об этой пытке. Зухуршо-то откуда о ней узнал? Вряд ли он изучает античных авторов.

Головорезы вывели следующего.

«Сколько земли?» — спросил Зухуршо.

Из-за его спины вынырнул Гадо с тетрадочкой в руках.

«Как фамилия?»

«Камолшоев», — хмуро ответил отказник.

Гадо перелистал страницы и сообщил:

«Три поля, общая площадь — половина гектара».

«Бочка», — повелел Зухуршо.

Мужика подвели к большой бочке, стоящей у стены:

«Лезь».

Пинками загнали сопротивляющегося человека в дощатую бочку с двумя отверстиями в боку. Невысокий мужик высовывался из нее чуть повыше поясницы.

«Руки в дырки просунь».

«Как? Низко же», — сказал мужик.

«Присядь».

Мужик повиновался. Ему крепко стянули веревкой запястья высунутых в отверстия рук. Боевик заглянул в бочку и похлопал по макушке присевшего в ней человека.

«Готов. Вставай, иди».

Оказалось, что дно у бочки выбито. Из нее, когда наказанный с натугой поднялся, торчали только голова и плечи, кисти рук и ноги.

«Куда идти?»

«Куда хочешь. Бочку снимешь — прибьем».

Пошатываясь, человек побрел к толпе, напоминая гротескного «человека-сэндвич», зажатого между двумя плакатами. Такие уже стали появляться на московских улицах. Не «сэндвич», а «сосиска в тесте», — шепнул лукавый, но я был до предела возмущен происходящим и не оценил неуместной шутки.

Приступили к очередному отказнику. У этого земли было больше, чем у предыдущего.

«По пяткам», — назначил Зухуршо.

Он тешился, перебирая экзотические наказания. Слава богу, самопальный Заххок не додумался до попытки кормить своего змея человеческим мозгом. Хотя, кто знает, возможно, и мелькала у него такая идея, но остановила техническая невозможность — пасть удава не приспособлена для высасывания

или захвата студенистой массы. Пришлось ограничиться простыми, но доступными средствами. Как обычно, он превратил трагедию в комедию, и это пробуждало у меня больше негодования, чем вызвала бы, наверное, банальная жестокость.

Два боевика выволокли заранее приготовленную жердь и встали, держа ее за концы на уровне пояса параллельно земле. Мужика повалили на землю, стащили сапоги, задрали вверх ноги и привязали за щиколотки к импровизированной перекладине. Грубые подошвы, покрытые мозолями и трещинами, как панцирь черепахи, уставились в небо.

Гоминоид Занбур, пробуя палку на гибкость, спросил:

«Сколько?»

«Сколько у него соток, плюс полстолько, плюс четверть столько и еще немного. Гадо, посчитай», — приказал Зухуршо.

Гадо сверился с тетрадкой и сообщил:

«Тридцать восемь».

Занбур взмахнул палкой. Я оглянулся. Народ молчал, мрачно потупившись. Только рыжий мужичок средних лет следил за поркой с явным и каким-то наивным наслаждением. Должно быть, Занбур сек его давнего недруга...

Я отчетливо понимал, что остановить экзекуцию не сумею, но терпеть и сдерживаться не мог. Черт с ним, с невмешательством репортера! Если сейчас струшу, промолчу, век себе не прощу. Обличать словом, взывать к совести Зухуршо бесполезно. Такие, как он, тем-то и отличаются от людей, что у них совести нет. Но у меня имелось оружие, которое если не напугает Зухуршо, то, по меньшей мере, смутит. А если и не смутит, то хотя бы бросит в лицо облитый желчью дерзкий щелчок.

Придавив пугливую мысль о том, какая будет изобретена для меня пытка, я вышел, остановился напротив Зухуршо, наставил на него объектив фотокамеры и щелкнул затвором.

Он почернел, помрачнел, прошипел:

«Зачем фотографируешь?»

Вопрос был риторическим. И без моего ответа Зухуршо прекрасно понимал, что я выражаю протест, вызов, презрение. Понимал и то, что жест — чисто символический. Из ущелья меня не выпустят, фотографии никогда не будут опубликованы. Хотя Зухуршо, возможно, был бы рад покрасоваться в прессе на фоне столь эффектной картины. Так некогда фрицы позировали возле трупов повешенных партизан. Но фотографировать без разрешения, помимо его воли — оскорбление. Насмешка. Дерзость. Тяжкое преступление.

Я отшел в сторону, чтобы захватить заодно и человека, которого сек Занбур, и сделал пару снимков. Затем присел и взял другой ракурс.

Думаю, и крестьяне, и головорезы понимали суть моего демарша. Все замерли, ожидая реакции Зухуршо. Застыл Занбур с занесенной тростью. Окаменел Зухуршо. Он не мог приказать прекратить съемку или велеть своим башибузукам схватить наглеца — поставил бы себя в еще более унизительное и смешное положение. И он все-таки вывернулся. Воскликнул:

«Ай, молодец! Правильно. Такие большие события надо фотографировать. Вот еще туда пойди, оттуда сними».

Я направил на него камеру, вновь щелкнул и остановился, глядя Зухуршо в лицо. Он бросил пару слов Гафуру, стоящему рядом, и крикнул Занбуру:

«Сколько успел?!»

«Я не считал», — растерянно сказал примат.

«Начинай сначала, — велел Зухуршо. — Гадо, теперь ты считай. Он не умеет».

Ко мне подошел Гафур:

«Пойдем».

Сопротивляться было глупо. Потащи он силком трепыхающегося фотографа, это свело бы на нет впечатление от протеста. Гафур проводил меня к стоящим у стены боевикам. Один из них толкнул локтем:

«Брат, меня тоже сними».

Экзекуция продолжалась. Зухуршо насладился еще несколькими архаическими методами — ярмом, колодками, подвешиванием на вывернутых за спину руках — и пошел по второму кругу. Меня начало мутить от криков и вида истязаемых. Наконец пытки закончились. Зухуршо спустился с крыльца:

«Идем».

Я и не ожидал, что он накажет при народе. Меня усадили меж Гафуром и Занбуром в черную «Волгу», стоявшую в стороне. Поднялись ко дворцу, во дворе которого Зухуршо приказал:

«В зиндон».

Несколько дней назад закончилось строительство подземной тюрьмы — зиндона. Во дворе была вырыта большая яма глубиной метра три, перекрытая настилом с квадратной дырой посредине — входом и окном одновременно. Над ямой сложили из камня сарайчик. Тюрьма, вероятно, предназначалась для особо важных узников — не думаю, чтоб скаредный Зухуршо взял бы простого мужика на содержание, пусть самое скудное.

Гафур отвел меня в каморку над зиндоном. Кроме Зухуршо в нее набилось столько башибузуков, сколько вместилось.

«Прыгай в яму!» — свирепо приказал Зухуршо.

Ситуация становилась донельзя нелепой и унизительной. Я попытался сохранить достоинство и чувство юмора:

«Только с парашютом».

«Не хочешь, не надо, — сказал Зухуршо. — Гафур, сними с него одежду. Потом брось в зиндон».

Гафур схватил меня за руку. Я попытался вырваться, но он был силен как бык.

«Постой! Я сам...»

Уже потом, размышляя в темноте, я казнил себя за то, что дал слабину. Но тогда было просто нестерпимо вообразить, как меня насильно бросают в эту яму. Я заранее ощутил омерзительное ощущение беспомощности, которое испытаю, когда примат потащит меня к дыре в полу. Унизительно. Но это полбеды. Оказаться абсолютно голым перед всей этой сволочью — наверное, для меня это было страшнее всего, хотя я и не считаю себя чрезмерно стыдливым. Но одно дело — нудистский пляж или сауна с друзьями, а другое — перед чужими, враждебными, насмешливыми... И где-то на заднем плане промелькнула подлая мысль: если уж ямы никак не избежать, то лучше оказаться там в одежде...

«Отпусти его, Гафур, — приказал Зухуршо. — Он сказал, что хочет сам спрыгнуть. Я не возражаю. Пусть прыгает».

Гафур вступился за меня:

«Ноги переломает, в сырости и холоде умрет. Зухуршо, лестницу ему дай».

«Ладно, пусть не прыгает, — снизошел Зухуршо. — Лестницу не дам. Пусть лезет, как хочет...»

Я обвел глазами собравшихся и ни в ком не увидел сочувствия. Одно только любопытство. Они наслаждались тамошо, зрелищем. Оказалось, что лезть в зиндон не менее унизительно, чем быть насильно сброшенным. Я сел на край дыры, спустил ноги вниз, потом перевернулся на живот... Повис на руках, уцепившись за деревяшку, окаймлявшую край. Разжал пальцы и полетел вниз. Удар о землю был довольно силен. Я не устоял и свалился на бок. Кажется, руки и ноги остались целы.

«Эй, фотоаппарат забыл! Возьми» — крикнул сверху Зухуршо.

Рядом со мной тяжело, как камень, свалилась камера. Если бы я устоял на ногах, а не упал в сторону, она раскроила бы мне череп. Наверху затопали, хлопнула дверь, я остался в полной темноте. Холод в земляном зиндоне стоял, как в леднике. Я подумал, что вряд ли долго протяну. Позже Гафур сбросил ватное одеяло...

Прошло всего несколько дней, а я уже опустился до того, что выкрикиваю злобные оскорбления деревенскому недотепе, буквально исполнившему указание. Недотепа опустился на колени и свесился над дырой:

— Ты сказал: «Брось веревку».

Ситуация становилась комичной.

— Ну подумай, зачем она мне здесь?

— Веревка всегда нужна, — наставительно сказал недотепа. — В любом деле без нее никак. Хворост обвязать, корову или барана привязать, если что-то поломалось, тоже веревкой можно подвязать...

«Издевается или вправду полный идиот?»

Впрочем, я уже усовестился своей бессильной раздражительности. Более того, обрадовался — мерзкая, унизительная процедура превращалась в развлечение. Да что там! В игру. В общение. В увлекательное приключение.

— Ну, и что будем делать?

— Не знаю, — сказал недотепа. — Теперь ты бросай.

Я сгреб веревку и швырнул. В воздухе ком распустился и пал вниз наподобие сетки-накидушки для ловли рыбы. Я отскочил, чтоб не оказаться уловленным, а после пары неудачных попыток, предложил:

— Это самое потом вытянешь. Давай пока поговорим. Как тебя зовут?

— Теша.

— И как же ты, Теша, в разбойники попал?

— Я солдат, — гордо ответил Теша. — У меня командир есть, автомат есть, все есть. Я не разбойник.

— Односельчан, значит, не притесняешь?

— Не притесняю. Мои односельчане в другом кишлаке живут. Здесь — ходжигонцы, глупые люди. Пользы своей не понимают. Новая жизнь настала, а они...

Обличить ходжигонцев Теша не успел. Откуда-то извне послышалось:

— Э, пацан! Куда пропал? Быстро сюда!

— Гафур велел...

— Тебе кто командир?! Сюда!

Теша вскочил с коленей.

— Не закрывай! — завопил я.

Однако в зиндон уже опустилась непроглядная тьма. Я нащупал одеяло и сел. Темнота и тишина — это, конечно, не полная сенсорная депривация, хотя для того, чтобы сдвинулось сознание, достаточно и их. У меня пока ни разу не случались галлюцинации, но я со страхом ждал, когда они начнутся...

20. Зарина

В серой полутьме я взобралась на крышу по приставной лестнице. На краю кровли виднелась какая-то смутная тень. С вечера до рассвета наверху постоянно торчит «каравул», часовой, — делает вид, что охраняет, а вернее всего, спит.

Каравул не спал или проснулся и, хотя узнал меня, гавкнул:

— Э?!

Я подошла и сказала:

— Кыш отсюда! Я буду здесь сидеть.

Он мало, что не подчинился, еще и прикрикнул:

— Э, чего?!

— Не слышал? Катись вниз. Это мое место.

— Э, женщина, ты что?

— Не уйдешь, скажу Зухуршо, что ты ко мне приставал.

Каравул, ясное дело, струсил:

— Сестра, если уйду, командир ругать будет.

— А Зухуршо тебе голову откусит.

— Э-э-э... — и он потопал к лестнице, тихо ругаясь и беззвучно громыхая по жестяной кровле.

Я села на краю крыши и стала смотреть на небо, светлеющее над изломом горного хребта. Во рту остался тошнотворный привкус от имени Зухуршо, которое вырвалось у меня само собой. Еще вчера я и представить не могла, что буду так легко произносить его вслух. Но сейчас мне было все равно. Все чувства тонули в каком-то тяжелом сером тумане.

Это третий день. Последний. Назавтра ожидалось возвращение Черномордa. Правда, мне почему-то казалось, что он никуда не уезжал, а просто прятался, не появлялся мне на глаза. Как чудовище в «Аленьком цветочке». Только не доброе, щедрое и великодушное, как в сказке, а злое и хищное. Я с ужасающей ясностью представляла, что должно произойти следующей ночью. С такой отчетливостью, будто это происходило на самом деле. Как будто уже произошло. Не хочу даже пересказывать, насколько все страшно и омерзительно.

Нет, я не позволю. Либо с ним, либо с собой что-нибудь сделаю.

Подобные мысли мелькали еще дома, в Талхаке. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни о таком думает. Я утешалась, обдумывая — тогда еще не всерьез — разные варианты. Представила себя висящей с высунутым языком и вытаращенными глазами и мне стало дурно. Гадость какая! Утопиться в речке, отравиться... Тоже ничуть не лучше. Раздувшаяся в воде утопленница, или почерневшее от яда лицо, скрюченное тело... Б-р-р... Отвратительно. Нет, так — бесцветно, бессильно, покорно — нельзя уходить из жизни! Я вспомнила рассказы о таджикских девушках, сжигавших себя заживо. Прежде я удивля-

лась: разве нельзя как-нибудь по-другому? Чтоб умирать было не больно. Теперь, кажется, понимаю. Только так можно выразить гнев, возмущение, вызов, непокорность. Меня охватило странное чувство, что эти сгоревшие девушки — мои сестры. Я вспомнила картину «Свобода на баррикадах» и представила, как размахиваю огромным пылающим факелом и веду за собой бесстрашных отчаявшихся девушек всего Таджикистана...

Но мама и Андрюшка преградили нам путь. И папа тоже. Только папа стоял немного в отдалении, в тени, а потому я его не видела, но чувствовала, что он здесь.

Мама, наверное, еще ничего не поняла или не захотела понимать. Она сказала строго: «Зарина, сейчас же прекрати баловаться с огнем. Малейшая неосторожность, и ненароком подожжешь дом».

Я ответила: «Хорошо, мамочка. Я отойду как можно дальше».

А сама подумала, что дом Черноморда —змеиное гнездо, которое надо сжечь дотла. И пепел по ветру развеять.

«Что ты такое говоришь! — возмутилась мама — В доме люди живут. Ни в чем не повинные. Их ты тоже собираешься, как ты только что выразилась, сжечь дотла?»

Из толпы девушек выскочила Заринка, моя вторая... нет, моя десятая натура, и закричала: «Мама! Она не будет поджигать дом. Она себя собирается сжечь! Она меня, меня сожжет! Почему ты думаешь о других, а не обо мне?!»

«Глупости, — сказала мама. — Зарина никогда так не поступит. Я запрещаю».

Я спросила: «Ты хочешь, чтобы Черномор... — я не знала, в каких словах поднести это маме. — Ты хочешь, чтобы Черномор... надругался надо мной?»

«Господи, Зарина! — воскликнула мама. Потом сказала: — Но есть же другие выходы...»

«У меня их нет», — сказала я.

«Есть выход! — крикнул Андрей. — Убей его!»

«Андрей, сейчас же прекрати молоть вздор, — сказала мама. — Где ты этого набрался?»

«Почему себя?! — крикнул Андрей. — Его убей! Убей этого гада!»

И Заринка, трусиха, поддакнула: «Его убей!»

Может, они с Андрюшкой правы?

Я сказала тихо: «Мама...»

«Моя дочь не способна стать убийцей, — отрезала мама. — Это даже не обсуждается».

«Почему?! — закричал Андрей. — Почему вы всегда только запрещаете? Почему с вами никогда невозможно ни о чем поговорить?»

Папа подошел, встал рядом с мамой и сказал строго: «Андрей, с матерью нельзя так разговаривать. Нельзя на мать кричать. Старших уважать надо».

Тут и Бахшанда появилась и встряла: «Э, Вера своих детей совсем не воспитала».

«А ты помолчи! — крикнула ей Заринка. — Своих-то детей, словно мышей, зашугала. Они тебя как огня боятся. Это и есть, по-твоему, воспитание?»

Я ждала, что папа вмешается и всех рассудит, но он, как всегда, промолчал и заговорил совсем о другом: «Зарина, Бог запретил убивать. Никого нельзя — ни других, ни себя».

«Раньше надо было учить, пока жив был», — опять встряла Бахшанда.

«Если убивать нельзя, тогда почему тебя убили?» — спросил Андрей.

«Плохие люди убили», — сказал папа.

«Почему плохим людям можно, а нам нельзя?! — вскипел Андрей. — Мы должны мстить плохим людям. Поступать, как они. Иначе выходит, что они сильнее нас».

Но мама сказала: «С плохими людьми должен разбираться закон».

Какой закон?! Здесь, в горах, есть только один закон, несправедливый. И этот закон — Черномор.

«Мамочка...»

«Нет, нет и еще раз нет! — сказала мама. — Мы не звери».

«Мама, ты хотя бы представляешь, что он будет со мной делать?» — спросила Заринка.

Мама промолчала.

Я спросила: «Мама, ты будешь меня любить, если я убью его? Не разлюбишь меня?»

«Ты не убьешь, — ответила мама. — Моя дочь не способна убить».

Она не ответила на вопрос, а я не могла заставить ее ответить и не была уверена, что смогу заставить себя ее ослушаться.

«Убеги! — завопила Заринка. — Спрячься в горах. Доберись до Калаи-Хумба по тропе, о которой Андрюшка рассказывал».

«Дурочка, — сказала я, — а ты подумала, как Зухуршо отомстит маме и Андрюшке, если я убегу? А есть еще дядя Джоруб, тетя Дильбар. И даже Бахшанда...»

Бахшанда сначала фыркнула в обычной своей манере, а потом сказала: «Правильно говоришь, девочка. Молодец».

Я хотела еще что-то сказать, но мне мешала сосредоточиться Заринка, которая начала подвывать: «Не хочу умирать. Не хочу умирать».

Я прикрикнула: «Прекрати». Но она, ясное дело, в упор не слышала. А на меня навалилась какая-то неподъемная, окончательная тяжесть, которую невозможно сбросить, потому что я приняла решение, которое невозможно отменить...

В это время сзади, за моей спиной, из-за хребта высунулся краешек солнца, и впереди на холодных вершинах высоко надо мной тут же вспыхнула золотая полоска. Я не хотела, чтобы солнце всходило. Зачем оно, если все равно ничего не будет? Но оно все-таки взошло. Я ненавидела солнце. Я ненавидела узкое сияние на вершинах. Это ложь, вранье, страшный обман, дикое непереносимое притворство. Какое у солнца право так радостно сиять и возвещать, что все в мире ясно и благополучно?! Почему это подлое светило обещает светлое будущее?! Я отвернулась и стала смотреть на гору за рекой — на противоположный склон, серый, туманный... Он-то хоть не врал.

А люди обманули. Дядя Джоруб обманывал, когда обещал, что укроет нас в безопасном месте. И Даврон обманул. Наговорил, наобещал, а сам исчез.

Я услышала, как внизу, под стеной дома, голос младшего братца Черномордa — такого же как гада, как старший, — спрашивает:

— Почему не на посту?

Каравул ответил жалобно:

— Жена Зухуршо сказала: «Уходи». Сама на крыше села.

— Теперь бабы тобой командуют?

— Э, билять! Она сказала: «Зухуршо пожалуюсь».

— Хорошо, я разберусь, — сказал Гадо. — Не бойся, в обиду тебя не дам.

Я услышала, как верхний конец лестницы заерзал по краю крыши — кто-то взбирался наверх. Потом по кровельной жести забухали шаги. Над коньком возникла голова Гада. Я отвернулась, но все равно слышала, как он, гремя железом, подходит и останавливается неподалеку. Кажется, я даже обрадовалась его приходу. Меня переполняли гнев и возмущение, и надо было на кого-то их выплеснуть. Я обернулась и посмотрела на него. Он щеголял в камуфляжных брюках с зелено-коричневым рисунком и черной майке. На плечи был наброшен как плащ черный шерстяной чекмень.

Ненавижу!

— Чего приперся?

Он смотрел туда же, куда и я, — на раскаленную лаву, катящуюся вниз по склону. Потом сказал по-русски, словно говорил сам с собой:

— Э, холодно, оказывается...

Я только сейчас почувствовала, как резок воздух и как меня бьет холодный озноб.

Гад сказал:

— Ты, наверное, замерзла, сестренка.

Он скинул чекмень и очень осторожно набросил его мне на плечи — казалось, ловил птицу, которая присела на кровлю и вот-вот вспорхнет. Я закинула руку назад, ухватила чекмень за ворот, сдернула его с себя и швырнула вниз. Черная тяжелая одежка, распластавшись, полетела к земле, как самоубийца, бросившийся с крыши.

На Гада я не смотрела, но почувствовала, как его передернуло. Однако он лишь пробормотал:

— Обижаешься... — и опустился на корточки невдалеке от меня.

Сядь он поближе, я, наверное, столкнула бы его вслед за чекменем. Он помолчал и сказал:

— Я тоже, как ты... Когда маленьким был... Тоже раньше любил на крыше сидеть. Не здесь. Раньше старый дом стоял, я туда залезал. Зухуршо обидит, я на крышу залезу, сижу, думаю, сержусь. Я маленький был, Зухуршо меня много обижал... Он всех притесняет. Зебо тоже обижал. Я ее всегда защищал...

— Ты защищал?! Какой герой... Видела я, как ты перед братцем на брюхе ползаешь.

Его опять передернуло.

— Старших уважать надо.

— Вот вали отсюда и уважай.

Он вскочил, и на мгновение показалось, что он меня ударит, но он выпрямился и сделал вид, что у него затекли ноги. Закинул руки за голову, потянулся, переступил с ноги на ноги, разминая, и опять опустился на корточки.

— Ты смелая. Зебо не такая была. Ты, наверное, себя русской считаешь, а ты все равно — наша. У тебя отец таджик, значит, ты — таджичка. Надо немножко учиться, как себя правильно вести. Немножко скромной быть. Мужчин уважать надо. Правильно с мужчинами разговаривать. Уважительно.

Еще и учит, сволочь!

— Как она умерла? — спросила я.

Гад удивился:

— Кто умер?

— Зебо.

— Э, не бойся, — сказал он. — Если правильно сделаешь, ничего плохого не будет. Я тебя научу. Помогу. Хороший совет дам...

— Не надо советов. На вопрос ответь.

— Что за вопрос?

Я повторила раздельно:

— Отчего. Умерла. Зебо.

Он огладил свою поганую рыжую бородку.

— Заболела... Очень больная была. Зачем Зухуршо такую больную жену взял? Э, ему какая разница? Ему все равно! Зухуршо женщин не любит. Совсем женщинами не интересуется. Ему женщины не нужны. Только деньги, деньги, деньги. Жадный он, жадный...

Впервые хоть одно слово у него вырвалось искренне. Я сказала злорадно:

— Не любишь ты братца.

— Зачем его любить? Он сам себя очень сильно любит. Такую девушку, как ты, замуж взял, даже не взглянул. Совсем ничего не понимает. Я не такой. Я женщин понимаю. Уважаю. Знаю, чего женщины хотят... Я о тебе заботиться буду...

— Когда это ты собрался обо мне заботиться?

— Если одно дело сделаем... Как царица будешь жить. Куда хочешь, поедем. В Америку поедем, в Париж поедем, в Дубай поедем. Всякие платья такие, которые модные... всякие модные платья, которые только жены арабских шейхов носят, тебе куплю... в Дубай поедем...

За кого он меня принимает? Я повернулась и посмотрела на него.

— Не веришь? Правду говорю. Хлебом клянусь. Где ты такого мужа найдешь? Или ты за русского хочешь замуж выйти?

И этот туда же лезет! Еще один жених. Противно, что он так со мной разоткровенничался. Хотя в общем-то — безразлично, потому что... одним словом, было безразлично, но чтобы напугать его, я процедила сквозь зубы:

— Что ты мелешь?! Не боишься? Вот возьму и расскажу Зухуршо, как ты мне... — его так называемой жене — руку и сердце предлагал?

Он засмеялся:

— Не расскажешь. Ты его ненавидишь. Ты, чем ему хоть одно слово скажешь, лучше язык себе откусишь.

— Расскажу, — повторила я.

— Э, сестренка! Думаешь, я глупый? Думаешь, ничего не понимаю? Я тебя очень хорошо понимаю. Знаю, о чем ты думаешь. Я тоже об этом думаю...

— Так ты еще и думать умеешь?

Он не обратил внимания на мою язвительность и сказал:

— Зухуршо убить надо.

Он произнес это негромко, но очень серьезно.

— Убей, — сказала я.

— Не могу, — сказал он. — Зухуршо мой брат.

— А-а-а-а, брат... — сказала я. — Тогда зачем языком болтаешь?

— Ты это дело сделай, — сказал он.

Я даже не разозлилась. Меня это даже не задело. Как ни удивительно, сделалось смешно.

— Послушай, юноша, — сказала я. — Ты предлагаешь убить твоего старшего брата. И что потом? Потом меня зароют живой в землю, побьют камнями... Или как тут у вас поступают в таких случаях? А ты останешься чистеньким и первым бросишь в меня камень...

— Нет, — сказал он. — Я на тебе женюсь. Никто ничего не узнает. Милиции нет, прокуратуры нет, никакой власти нет. Я буду здесь власть. Скажем: заболел, умер. Кто станет проверять?

Глупо и смешно, но я вдруг попыталась представить, как это будет, если будет. «Зарина, даже думать не смей!» — воскликнула мама.

А Гадо зашептал вкрадчиво:

— Старушка есть, она все знает. Я у нее взял одно лекарство. Очень хорошее лекарство. Вкуса не имеет, запаха не имеет. Если в чай положить, Зухуршо ничего не заметит. Спать ляжет, утром не проснется.

Меня разобрало нестерпимое любопытство. Было ужасно интересно, как он собирается Черноморда травить... Почему он? Это он *мне* предлагает. И хотя я ни за что в жизни не войду с ним в сговор, страшно хотелось узнать, как он все задумал.

— Вот твоя старушка все и расскажет. Никакого следователя не надо.

Он даже рассердился.

— Зарина, ты вообще ничего не понимаешь! Кто мне хоть одно слово сказать посмеет? А между собой будут шептаться — пусть шепчутся. Зухуршо никто не любит. Зухуршо всех людей обидел. Все только радоваться станут, никто вопроса не задаст. А старушка вообще ничего не расскажет...

— Почему это?

— Бабушка умерла. Давно уже умерла.

Он убил ее, ублюдок!

— Плохого не думай, — сказал он. — Сама скончалась. Очень старая была.

— Понятно. А про меня что скажешь? Очень больная была? Как Зебо. Или просто очень глупая.

Он придвинулся ближе ко мне.

— Про тебя скажу: «Я на этой женщине женюсь». В жены тебя возьму.

Он пододвинулся совсем близко и обнял меня за плечи.

— Руку убери, — сказала я безразлично.

— Ты плохого не подумай. Я как брат...

— Лапы поганые убери! — закричала я не своим голосом.

— Зачем кричишь?

Он отдернул руки, но я видела, что он взбешен и борется с собой.

— Зарина, зачем так говоришь? Зачем на меня кричишь?

— Потому что ты мне противен. Вы все мне противны! Уходи.

Его, кажется, наконец проняло.

— Хай, сестренка. Не обижайся. Подумай. Хорошо подумай...

И потопал к лестнице. Я крикнула вслед:

— Гадо, как умерла Зебо?

Он остановился, обернулся.

— Зухур ее убил.

21. Карим Тыква

В доме Зухуршо на заднем дворе дрова рублю, хворост ломаю. Такие задания взводный командир всегда только деревенским дает. Наши ребята, талхдаринские, обижаются: «Мы разве других хуже? Дровосеки разве?» Я сам вызывался. Взводный засмеялся: «К кухне поближе, от службы подальше?» Я лицо глупое состроил, сказал: «Солдатская пища надоела. Может, домашним покормят». Ребята тоже засмеялись: «Э, Тыква, чем до Зухурова котла, до звезд ближе дотянуться. Брюхо набить не мечтай».

Я и не мечтал. Зарину увидеть надеялся.

Работа привычная, легкая. Дрова рублю, по сторонам то и дело оглядываюсь, Зарину высматриваю. Потом шаги слышу, оборачиваюсь — Зарина из дома выходит, в руке медный старинный кувшин несет, ко мне направляется. Походкой ее любуюсь. Легко как лань идет. Красное платье, как пламя, вьется. Темным платком голова покрыта — лицо, как луна в ночи, сияет.

Подходит.

— Здравствуй, Карим, — говорит.

Прежде думал: повезет, если издали погляжу. Гораздо лучше вышло. Рядом стоять, разговор вести посчастливилось! Зарина говорит:

— Карим, ты ведь на мне жениться хотел...

— Да, — говорю, — очень хотел. Сейчас тоже хочу, но тебя за Зухуршо замуж отдали. Значит, не судьба. Бог так захотел.

— А если бы по-другому случилось? Если бы... если бы мы мужем и женой стали... Некоторые националы женщину за человека на считают. У вас, наверное, тоже так?

Сладостно мне с Зариной тайную беседу о нас с ней вести. Чужая жена, но все равно радость сердце наполняет, через край переливается.

— Нет, — говорю, — у нас не так. У нас мужчины женщин уважают.

— Ты бы уважал?

— Очень бы уважал.

Зарина со мной говорит, но будто о чем-то другом, своем думает.

— Жалел бы? — спрашивает.

— Да, — говорю. — Очень бы тебя жалел.

— И просьбы мои бы выполнял?

— Все просьбы выполнял бы, — говорю. — На руках бы тебя носил.

— Помогал бы?

— Обязательно, — говорю. — Во всем бы помогал. Все, что тебе нужно, делал.

— А сейчас поможешь?

— Помогу, — говорю. — Обязательно помогу.

Зарина говорит:

— Помоги, Карим. Достань то, что прошу.

Афтобу, кувшин с длинным горлом, протягивает:

— Налей сюда бензина. Войди потихоньку в гараж, там, видимо, есть канистры какие-нибудь. Или из бака слей.

— Зачем? — удивляюсь.

— Надо, — говорит.

Прямо не сказала, но я вдруг понял, зачем. Меня будто средь сладкого сна разбудили, на край черной пропасти толкнули. Почему раньше не заметил, что лицо Зарины бледным стало? Почему не различил, что голубые глаза цвет поменяли? Серыми холодными льдинками на меня смотрят спокойно, внимательно, а будто не видят... Слова, какие знал, рассыпались, собрать не могу.

— Нельзя так делать, — говорю.

— Афтобу замарать боишься? — Зарина спрашивает. — Это всего лишь кувшин. Какая разница, что в него наливать...

— Бог запрещает, — говорю. — Те, кто запрет нарушили, в рай не войдут.

Зарина говорит, тихо, спокойно:

— Ну и пусть. Мне все равно! Я Зухуру не дамся.

Афтобу мне в руки дает.

— Возьми кувшин, Карим, — говорит.

Я афтобу беру.

— Бог запрещает, — повторяю. Потом говорю: — Я тебя отсюда уведу.

Решимость в сердце вспыхивает, слова сами на ум приходят:

— Темнее станет, тогда уйдем. На воротах Барфак стоит, из нашего селения. Ему что-нибудь скажу, придумаю, он выпустит. Одна тропа есть, о ней только мы, талхдаринские, знаем. Чужие ребята, которые с Зухуршо пришли, не знают, им не рассказываем. По этой тропе пойдем. Я не ходил, но, говорят, до самого Калаи-Хумба дойти можно. Трудная дорога, женщины по ней не ходят, но ты пройдешь. Ты сильная. В Калаи-Хумб придем, что-нибудь придумаем. В Калаи-Хумбе русские солдаты стоят...

Зарина головой качает, говорит, как матери малым детям говорят:

— Головы не теряй, Карим, — говорит. — О родителях подумай. Уйдем, а с ними что сделают?

Будто крылья мне ломает. С высоты на землю падаю.

— Да, — говорю, — родители...

Зарина говорит:

— Керосин в доме есть, только он горит медленно. Если бензин... будет быстро. Понимаешь?

Понимаю. Слова опять рассыпаются, собрать не могу. Сердце в груди кровавыми слезами плачет.

Зарина говорит:

— Карим, ты только что пообещал. Помнишь?

— Ради тебя умру, — говорю. — Но смерть тебе своими руками не принесу.

Она тихо говорит, без упрека:

— Ты тоже, Карим... тоже обманул...

Будто тонкий волос, что нас на одно мгновение соединил, разрывает. Афтобу забирает, уходит. В дверях дома, будто в пещере, будто в могильной яме, скрывается. Вслед смотрю, «Дедушка Абдукарим, — умоляю, — помогите. Как Зарину от смери, от страшного греха уберечь, совет дайте. Что делать, скажите».

Рядом ствол сухого дерева лежит. Топор хватаю, дерево, как злого врага, на мелкие щепки изрубаю.

Женщина из дома выходит.

— Эй, девона, что делаешь? — кричит. — Усердие свое показывашь? Такому дурню прикажи тюбетейку снять, голову снимет.

В себя прихожу, топор роняю, думаю: «Правильно ругает — дурень! Мне не горевать надо — радоваться, дедам-покойникам и Богу спасибо сказать, что сегодня в дом Зухуршо привели. Разве сказала бы Зарина кому другому, что задумала? Кто другой смог бы остановить?»

Щепки, хворост быстро собираю, у очага на летней кухне сваливаю, на крышу большого дома взбираюсь. Наверху Ахмад караул несет.

— А, Тыква! Чего? — спрашивает.

— Устал, — говорю. — Отдохну, с тобой посижу.

— Хоп, ладно, — соглашается. — Расскажи что-нибудь.

— Что расскажу? — говорю. — Я нигде не был.

Та женщина опять во двор выходит. Оглядывается, наверное, меня ищет.

— У Зухуршо в доме все бабы наглые, — Ахмад говорит. — Нас за слуг держат. А хлеба, даже кусок лепешки, ни одна не вынесет.

Автомат берет, насмешки ради в нее целится.

— Та-та-та-та, — говорит.

— Увидит, — говорю.

— А-а-а, — говорит, — пусть смотрит. Я еще кер достану, покажу. Билять, проститутка, чтоб у нее в дырке черви завелись.

Женщина к очагу подходит, дрова осматривает, пару веток поднимает, в кучу бросает. Потом уходит.

— Зухурова жена тебе что говорила? — Ахмад спрашивает.

— Ничего не говорила.

— С огнем не играй. Зухуршо за яйца повесит.

— Ничего не говорила, — повторяю. — Про своего брата спрашивала.

— А ты?

— Сказал, не знаю.

У Ахмада язык — как помело. Что было, чего не было, придумает. По всему свету разнесет.

Сидим. Солнце за гору уходит. Тень хребта Хазрати-Хасан двор накрывает. Скоро темно станет. Думаю: «Дай Бог, чтобы Зарина передумала. Всю ночь до утра сторожить буду, если что-нибудь сделать соберется, помешаю, кувшин отберу».

Слышу, внизу дверь стукнула. Зарина?! Нет, другая женщина по двору идет. В кухню под навесом входит, в очаге огонь разводит. Воду в два кумгана наливает, кумганы на очаг ставит. Постояла рядом, назад к дому идет. Должно быть, ждать надоело, пока вода для чая вскипит.

Ахмад тоже на женщину смотрит.

— Я баб не уважаю, — говорит. — У женщин столько хитростей, сколько проса в мешке. Ты еще молодой, не знаешь, я тебе расскажу, — насвай достает, под язык кидает. — Короче, сказка есть. Было, не было, один царь жил, у него царица была. Очень ее любил. Дни и ночи с ней на постели лежал, сосок ее груди во рту держал. Если царица за нуждой вставала, морковку брала, в рот ему клала, тогда уходила...

Что в сказке случилось, не слушаю. Думаю, если б Зарина моей царицей была... Но нас разлучили, Зарина не супружескую постель, огонь выбрала...

Горе меня на части рвет. Сидеть невмоготу. На ноги вскакиваю. Ждать, страшиться — терпения нет.

— Уходишь? — Ахмад спрашивает. — Э, дослушай!

Пересиливаю себя, сажусь.

— Ноги затекли, — объясняю.

Ахмад сказку продолжает, я с темного пустого двора глаз не свожу.

Слышу, внизу дверь открывается. Кто выходит, сверху не видно. Та, что вышла, в полутьме двор пересекает. Женщина. Различить трудно, но сердце колотится, подсказывает: Зарина! Афтобы в руке нет. «Наверное, кипяток в дом принести послали», — надеюсь.

Зарина к кухне идет, под навес входит. Навес ее наполовину от взгляда перекрывает: голова и плечи не видны, только подол платья вижу. В полусвете красное платье черным представляется. Зарина у очага останавливается, стоит. Свет от очага края платья красным отсветом обрисовывает.

Зарина в правый угол кухни идет, рядом с большим глиняным ларем присаживается. Теперь почти всю вижу, навес только голову закрывает. Зарина из-за ларя что-то достает, а что достала, разглядеть не могу — вдали от очага совсем темно. Выпрямилась — опять только подол от пояса до изоров, едва из-под длинного платья выглядывающих, и туфель вижу. К очагу возвращается. Перед огнем стоит.

«Не стоит ей на пламя долго смотреть, — думаю. — Плохие мысли решимость укрепят, над разумом верх возьмут...» Хочу окликнуть, не решаюсь. Ахмад услышит, дурную славу распустит: «Жена Зухуршо с деревенщиной спозналась».

Зарина к очагу нагибается. Теперь руки ее вижу, огнем освещенные. Из кучи хвороста, что подле очага лежит, ветку вытаскивает, конец ветки к огню подносит.

Я смотрю, поверить не могу.

Зарина горящую ветку из очага вынимает. Вскакиваю, к краю крыши бегу.

— Эй, Тыква! Куда?! — Ахмад кричит.

На землю прыгаю. Смотрю, вижу: Зарина перед очагом стоит, красное платье красным огнем пылает. К ней бегу. Слышу: Зарина кричит. Страшно кричит — сердце мне, как ножом, режет. Платье пылает.

Что делать?! Весь двор, пламенем освещенный, разом вижу. Справа, на стене конюшни попона висит. Туда бросаюсь, тяжелую попону обеими руками хватаю, с жерди, на которой висит, срываю, к Зарине бегу, на ходу попону распяливаю. Попону на Зарину набрасываю. Зарина кричит, бьется. Обеими руками Зарину обхватываю, попону к ней прижимаю. Подол платья горит, пылает. Зарину крепче обхватываю, от земли приподнимаю, на пол кладу. Куртку, пуговицы обрывая, рывком распахиваю, сбрасываю, Зарине ноги укутываю.

Рядом Ахмад:

— Что такое?! Что случилось?! — кричит.

— Куртку снимай! — кричу. — Воду неси!

Слышу: где-то женщины кричат.

— Ой, вайдод! — кричат.

22. Даврон

Ходжигон. Одинадцать тридцать две. Отпускаю водителя, вхожу во двор мулло Раззака. Кроме кур — никого. Кричу:

— Эй, есть кто?!

Выбегает мальчик, сын мулло:

— Ас салому...

— Умыться.

Вхожу в мехмонхону. Прислоняю автомат у входа. Разуваюсь. Сбрасываю робу, несвежую рубаху. Чистая аккуратно сложена и оставлена справа от порога. Мальчик осторожно стучит в дверь. Выхожу. Мальчик поливает из кувшина. Четыре раза — чтоб вымыть руки. Три раза — сполоснуть лицо. Всего семь. Показываю: на шею и спину. Льет. Подает полотенце.

— Скажи женщинам, чтобы вечером воды нагрели. Искупаться.

Возвращаюсь в мехмонхону. Надеваю чистую рубаху. Принесут еду, перекушу и, может, слегка покемарю. Умаялся за эти дни. Зато косяк, который упорол Зухуршо, выправил. Мои бойцы прибыли до того, как блатные успели залить кишлак кровью по самые крыши. Гург, их главный пахан, отсутствовал. Взводный дал неточную информацию — Зухуршо послал туда не Гурга, а Рауфа. Гнусная тварь, не уступит Гургу. Он и руководил весельем, пока мы не остановили. Но и местные не овечки. Пришлось действовать на два фронта. Разбираться сначала с блатными, потом с местным населением. Обломали рога и тем, и другим. Миротворческие, мать его, войска...

Одинадцать сорок пять. В дверь стучат. Калоша. Мой осведомитель. С докладом о минувшем периоде.

— А, Даврон! Как доехал? Как здоровье?..

И прочая мудотень. Не выношу эту манеру.

— Муму за хвост не тяни. Доложи обстановку.

— Нормальная обстановка.

— Происшествия?

— Не было происшествий. Все хорошо.

— Зухур?

— Тоже хорошо. Только огорчается, наверное.

— С чего это?

— Жена сгорела.

Сразу не врубаюсь:

— Чья жена?

— Зухуршо жена.

— Курбонов, чушь не пори. Объясни четко — что значит сгорела?

— Керосин на себя вылила...

— Нечаянно, выходит, облилась.

— Нет, зачем нечаянно?! Нарочно. Потом подожгла.

Не испытываю абсолютно никаких эмоций. Вероятно, реакция запаздывает. Или смерть Сангака опустошила резервы, а новых не накопил.

— Жива?

— Была. Сейчас не знаю. Они не говорят.

— А Зухур?

— Наверное, огорчается.

Чувство все же вскипает. Медленно, тяжело. Не жалость, не чувство вины. Гнев. Зухур нарушил договор. «На лицо не посмотрю, в одну комнату с ней не войду...» Обманул. Не побоялся.

Встаю, надеваю робу, натягиваю мабуты. Кладу в кобуру пэ-эм. Иду к Зухуру. Калоша по дороге отстает. Вхожу во двор. Иду в дом. В дверях — мать Зухура.

— Где?

— Нельзя. Чужим на женскую половину входить — грех.

— Где она?

Отодвигаю старуху, открываю дверь направо. Дверь налево. Никого. Пустая комната. Дверь прямо. Открываю. Здесь?! Низкий потолок. Полутемно. Горящий глиняный светильник. В правом углу комнаты — кровать, завешенная белым пологом. Подхожу, приоткрываю. Зарина. Степень ожогов? Вторая, третья? Сколько процентов обожжено? Свыше тридцати люди не выживают. Бережно запахиваю полог. Выхожу. Тихо прикрываю за собой дверь. Старуха шепчет молитву, вздыхает.

— Где Зухур?

— Зухуршо дома нет. Зухуршо уехал.

Врет. Защищает сына. Кто-то донес, что я приехал. Прячется. Поднимаюсь на второй этаж. Обхожу помещения. Зухура нет. Затаился. В своем кабинете? На складе? В гараже? В коровнике?

Выхожу. Иду к Зухурову кабинету. Пинаю дверь, другую. Пусто. Иду к гаражу. Справа — сетчатый загон. Питон греется на солнце. Достаю пэ-эм. Пристраиваю ствол меж ячейками. Целюсь в голову. Бью. Порядок! Попадение с первого выстрела. Гадина бьется, извивается, но знаю, что уже мертва.

Дверь в воротах склада распахивается. Гадо. Смотрит. Молча, бесстрастно.

— Где он?

— Уехал в горы, на охоту...

Иду в гараж. Пусто. Возвращаюсь к Гадо.

— Где машины?

— Зухуршо все взял. Своих ребят повез.

— Ты почему не поехал?

— Заболел.

Врет. Мне без разницы, почему и зачем. Смотрю на часы. Двенадцать десять.

— Зокиров!

Боец бежит от ворот.

— Мчись в кишлак, пригони машину. Найди фургончик, в крайнем случае — грузовик. В темпе!

Убегает. Говорю:

— Гадо, прикажи, чтоб залили пару запасных канистр. Чтоб хватило до Калаи-Хумба. Повезу в госпиталь.

Иду в дом. Нахожу старуху.

— Собирайте ее. Повезу в больницу, в Калаи-Хумб.

Старушонка лепечет:

— Не надо, там не помогут... В Талхак надо, к старой Хатти-момо. Она знает. Она вылечит...

— Кто такая?

— Знающая женщина, хотун. У нас, в Ходжигоне, тоже очень сильная хотун была. Теперь нет, умерла. Больше никто не знает, как лечить. Хатти-момо знает.

Выжила из ума бабка... И вдруг меня точно молнией прошивает. Вспоминаю: комнату, где лежит Зарина, освещает не лампа, а древний светильник. Это знак. Я просмотрел. Упустил. Это же подсказка! Огонь. Ожоги. Старая вещь. Примитивная. Старинная. Указание прямым текстом на старую знахарку. Она может вылечить.

— Убедила, мать. Но Зарина дорогу не вынесет. Привезу лекарку сюда.

— Хатти-момо совсем старая, слабая. Не поедет.

— Поедет. Добром не согласится, в мешок засуну.

— Силой нельзя, — лепечет старушонка. — Мусульманам так поступать запрещено. Если силой заставить, лечения не получится.

— Ладно, как-нибудь уговорю.

Жду. В двенадцать тридцать семь Зокиров пригоняет машину. ЗИЛ-80. Приказываю загрузить в кузов две резервные канистры. Сажусь в кабину.

— Поехали. В Талхак.

Водитель удивляется:

— А девушка? Сказали, девушку везти...

— Поезжай.

Двенадцать сорок пять. Спускаемся вниз по улице, к площади. Слышу, где-то неподалеку стрекочет вертушка. Кричу водителю:

— Стой!

Тормозит. Выскакиваю. На северо-западе, из-за горы выплывает вертолет. Идет на небольшой высоте. Кричу водителю:

— Тряпки есть? Давай сюда.

Роется под сиденьем, протягивает мне промасленный лоскут.

— Это все? Больше нет? Дай заводную ручку!

Хватаю заводную ручку, запрыгиваю в кузов. Обматываю короткий конец изогнутой железяки тряпкой. Мало. Сбрасываю куртку, срываю с себя рубаху и наматываю ее поверх тряпки, туго наперехлест перетягиваю рукавами и завязываю, чтобы не слетела. Откидываю крышку одной из канистр, перегибаюсь через борт кузова, поливаю тряпичный набалдашник бензином. Взбираюсь на крышу кабины. Достаю из брючного кармана зажигалку. Поджигаю. Размахиваю факелом над головой. Тряпки чадят черным дымом.

Заметят? Продолжаю сигналить.

Увидели! Вертолет снижается. Спрыгиваю с крыши в кузов, отшвыриваю факел назад, на дорогу. Накидываю робу, перебираюсь в кабину.

— Туда! В темпе.

— А ручка?!

— Потом подберешь.

Выкатываем на юго-западный край площади. Вертолет — камуфлированная двушка, опускается. Дверца открывается, выходит мужик в полевой форме. Неужели Ястребов?! Порядок! С ним договорюсь. С ним будет легко. Направляется ко мне. Иду навстречу.

— Здорово, Даврон. Чего это ты Робинзона на острове изображаешь? Мы бы и так сели. К вам летели. Захотелось, понимаешь, вас проведать, поглядеть, как дела идут...

Врет или нет? Мне все равно. Говорю:

— Кстати прилетел. Даже не представляешь, как кстати...

— Отчего же? Представляю. Я на расстоянии чую, что нужен. Добрый волшебник Ястребов.

Заставляю себя улыбаться. Не до гордости. Подхватываю:

— А чудо сотворить слабо?

— Заказывай.

— Девушку надо транспортировать. В Талхак.

— Что так жидко? Я-то думал, что-нибудь серьезное попросишь... Транспортировать, конечно, можно... Однако не слишком ли чудесами разбрасываешься? Прибереги для важного случая. Тем более, что транспорт, вижу, у тебя самого имеется...

— Случай важный, — говорю. — Важнее некуда.

— Тебе виднее. Только, понимаешь ли, горючки в обрез. Меня летуны за перерасход сожрут. Я обещал, что недалеко полечу.

— Убеди парней. Я им возмещу. Не сейчас... Потом. Через несколько месяцев. За каждый литр керосина — литр водяры.

Присвистывает:

— Ты хоть представляешь, сколько сожжем? Туда да обратно — в водочном эквиваленте хватит, чтоб целый год керосинить... А что за девица? Стоит эдаких подвигов?

— Жена Зухура.

— А-а-а, эта девочка... Видел. Красивая. Везешь красавицу к родителям? Зухуршо не станет ревновать?

— Спасать надо. Ожоги. Третья степень.

— Да ты что! Ну, даешь! Третья степень, и зачем-то тащишь в кишлак. Там что, израильскую клинику открыли? Даврон, окстись. Даже в Калаи-Хумбе, в госпитале не спасут... Слушай, у меня в вертушке аптечка. Вколем ей промедол, хоть боль снимем. Если по уму, то надо, конечно, такую дозу, чтоб заснула и не проснулась. Зачем девочке страдать зазря. Она при любом раскладе не выживает.

— Выживет. Есть шанс.

— Ой ли? Не знаю, не знаю... Ну, а несчастный муж-то что?

— На охоту уехал.

— Он-то знает, что с женой?

— Знает.

Задумывается на миг. Что-то прикидывает.

— А ты, стало быть, бескорыстный друг, спасатель, спаситель и все такое... Ну да, ну да... Прости, что бесцеремонно... Я по дружбе.

Делаю глубокий вдох. Медленный выдох. Говорю спокойно:

— Не обо мне речь. Помоги, буду должником. Сделаю все, что скажешь.

Молчит. Спрашивает:

— Подумал прежде, чем обещать?

— Подумал.

— Тады держись, ловлю на слове. Я вообще-то не к Зухуру, к тебе прилетел. Разговор есть.

— По дороге поговорим.

— Не выйдет, надо без свидетелей. Разговор серьезный, пилоту его слышать ни к чему... Да не дергайся. Пять минут погоды не сделают.

Смотрю на часы. Двенадцать пятьдесят семь.

— Погнали.

— Давай так, — говорит Ястребов, — язык на замке. Договоримся, не договоримся — чтоб молчок.

— Мог не предупреждать.

— Верю. Ну, а дело... Дело-то в общем простое. Надо вальнуть одного пассажира.

Сговорились они что ли? Сначала Алёш, теперь этот.

— Не по адресу.

— Да ты погоди, дослушай. Как-никак в должники набиваешься.

«Понятно, — думаю. — Использует момент».

— Предположим... Дальше.

— А дальше — пустяки. Ты этого пассажира знаешь, встречал недавно. Алёша Горбун. Он все еще в Калаи-Хумбе. Шанс — зашибись, сто лет ждать, пока такой же подвернется. А уедет в Хорог, там его достать — задачка ох непростая.

— Почему я? Местных не нашел?

— Ты разве этих орлов не знаешь? Ни у одного вода в жопе не держится. Непременно разболтает, не сегодня, так завтра. А дело, мягко говоря, щекотливое.

— Факт. Рука Москвы и все такое.

— Типун тебе на язык. Какая на хер Москва! Россия-матушка тут вообще ни сном, ни духом. Чисто местные разборки. Тутошние мои компаньоны заинтересованы... А я в здешних палестинах надолго, вот и не хочу рисковать. Залетный нужен, чтоб следа не оставил. Исполнил, улетел и ищи-свищи. Где он? А нет его...

— Так, значит? — говорю. — Нормально!

Он запинается на миг. Потом догадывается:

— А-а-а, ты вот о чем!.. Прикинь, зачем мне, деловому человеку, время терять, чужой керосин жечь, лишний долг перед летунами на себя брать, в горы лететь — и все это ради одноразового исполнителя, чтоб его потом ликвидировать? Был бы нужен одноразовый, я б вышел на улицу, свистнул — целая толпа набежит. Как, логично?

— Предположим.

— Итак, задача: ищем профессионала и человека со стороны. А ты... Скажу честно, но только чтоб без обиды. Лады? Про боевой опыт и прочее молчу. И так ясно. Главное, ты, с одной стороны, как бы здешний, во всяком случае, всегда проканаешь за местного. А с другой, как в анекдоте говорится, — гвоздь от совсем другой стены. Для подобных дел — самое то. Идеальная кандидатура.

— У идеального кандидата есть один недостаток, — говорю. — Не согласится.

— Уговорю. Психология, мой друг, психология. Я тебя сразу приметил, еще у Горбатого. Поверь, в людях разбираюсь. Потом, когда на денек в Курган наведывался, кое-кого порасспросил. Так что много про тебя знаю.

— И что выяснил?

— Да так, разное... В общем, хорошо о тебе говорили.

— Копнул бы глубже — узнал, что гражданские у меня в Красную книгу записаны. Отстрелу не подлежат.

— Пустяки. Одного небось вычеркнешь.

— Причину назови.

— Ну-у-у, брат, причину ищи сам. Поднатужься.

Дает понять: откажусь — и хрен мне, а не вертолет. Торопит:

— Решай поскорей. Или летим, или...

— Три минуты. Дай подумать.

— Отчего ж не дать? — демонстративно выставляет руку с часами.

Через пятнадцать секунд говорю:

— Согласен. Одно условие: доставим девушку, потом летим на пастбище. По воздуху — от кишлака рукой подать.

— И чего тебе там?

— Хочу с Зухуром парой слов перекинуться.

— Нет проблем. Для своего человека — хоть на край света.

Говорю:

— Дай еще десять минут. Я — за девушкой.

Бегу к грузовику.

Особо раздумывать было не над чем. Все четко. Для меня не существует понятий «хорошо» и «плохо». Есть только «правильно» и «неправильно». В данной конкретной ситуации правильное решение — валить Алёша и дать девочке шанс. За нее я в ответе. Перед ней в долгу. За него не отвечаю. Горбун сам напросился — подошел слишком близко и угодил в зону контакта. Я не зазывал.

Одно непонятно: как Ястребов просчитал, что соглашусь?

23. Карим Тыква

В фургоне в Талхак еду. Могучую силу в себе чувствую, дедов-покойников призываю. Не к дедушке Абдукариму — напрямую к древнему старшему деду, от которого наш каун происходит, обращаюсь:

«Дед Абдушукур, помогите. Зухура убивать буду. Если поможете, прошу, знак, пожалуйста, подайте. Знак не подадите — все равно тысячу раз спасибо. Я сам то, что задумал, исполню».

В жар меня бросает. Это деды-духи знак подали — помогут.

Шухи-шутник на скамейке рядом сидит, локтем меня толкает:

— Эй, Тыква, ты когда жену Зухура из огня тащил, наверное, пощупал немного? Мягкая, наверное, сладкая...

Другие хохочут:

— Нет, Тыква говорит: совсем жесткая, подгорелая.

— Нет, Тыква говорит: совсем сырая была. Мало прожарилась..

— Тыква сырых баб не любит. Говорит: сырая — невкусная. Тыква жареных баб любит.

— Если посолить, сырая тоже сойдет...

Молчу. Даже презрения к ним нет. Раньше думал — волки, теперь знаю — жалкие шакалы. Сила меня распирает. Сдерживаю силу, наружу вырваться не даю. Зарина силу дает. Не знаю, жива или не жива, но постоянно ее рядом чувствую. Не печалюсь, не скорблю — пылающую Зарину в себе постоянно ощущаю.

В Талхаке фургон на краю площади, около мечети останавливается. Наружу выхожу. Люди в отдалении стоят. Зухур из «Волги» вылезает. Ближе к нему подхожу. Шакалы тоже подходят. Зухур любит, чтоб за ним войско толпилось.

Горох-асакол навстречу Зухуру спешит, ковыляет.

— Добро пожаловать в Талхак, господин.

— Приготовил? — Зухур спрашивает.

— Все готово, — отвечает. — Но лошадей для ваших солдат не нашлось. Селение у нас бедное, ослов много, а лошадей совсем нет.

В стороне, у мечети, слева — жеребец и пять ослов наготове стоят, оседланные.

— Верно ты сказал, ослов у вас много, — Зухур говорит и на народ кивает.

Гафур к Зухуру коня подводит. Зухур кое-как в седло взбирается. Шухи меня локтем толкает.

— Тыква, вперед! Дорогу показывай.

Впереди иду, за мной Гург идет. За кишлак выхожу, оглядываюсь. Снизу из Талхака караван шакалов тянется. Впереди Занбур, за ним Зухур на коне тащится, следом Гафур шагает, за Гафуром наши мальчишки ослов гонят. Ослы коврами, корзинами, ящиками нагружены. За ослами шакалы идут: Гитлер, Шухи, Гург и другие. Семеро. Семь шакалов Зухура охраняют.

Иду, к развилке Марги-шоир приближаюсь. К месту, где одна тропа прямо уходит, другая налево ведет.

— Куда? — Гург сзади спрашивает.

— Прямо, — говорю. — Налево роща, где люди дрова берут.

К развилке Марги-шоир поднимаюсь, ладонями по лицу провожу, «омин» произношу — покойного поминаю. Гург замечает, спрашивает:

— Что за место?

— Поэта Хирс-зода здесь убили, — объясняю.

Гург — мужик приметливый. Тошно мне с ним толковать, но и молчанием выдать себя не хочу.

— У Хирс-зода семьи не было, — говорю. — Детей не было, дрова сам собирал. В верхнюю рощу поднимался, осла перед собой гнал, Саид-ревком на лошади его настиг. Ничего не сказал, в Хирс-зода выстрелил, лошадь повернул, назад, вниз ускакал.

— Почему убил?

— Из-за обиды, из мести убил.

Человека убивать запрещено. Если из мести — только за пролитую кровь. Но Зухура убить не грех. Это не убийство, охота.

Гург-волк стоит, караван поджидает, по окрестным горам взглядом шарит — нет ли где засады. Потом снизу караван приближается. Наверху на подъеме перед Марги-шоир стою, вниз смотрю, как Зухур на коне подъезжает. Не умеет верхом ездить. В седле, как цветок на лысине плешивого, сидит. Волнуется, в седле ерзает, коня с шага сбивает. Конь оскальзывается, подковами по камню скребанув, напрягается, прыжком наверх выскакивает. Зухар едва из седла не вываливается.

Думаю: это деды-покойники вновь мне знак подали. Помогут.

Опять вперед ухожу. Гург-волк за мной идет.

До Дахани-куза — Кувшинного горла — дохожу. Это место и впрямь узкое горло большого кувшина напоминает. Тропа по узкой расщелине в скале

проходит — сквозь горлышко протискиваться приходится. А дальше — широкое пространство открывается. Как бы внутрь кувшина попадаешь — на просторную поляну, обломками камня засыпанную. А с поляны дальше вверх тропа широкая идет. В этом месте наши люди всегда противника уничтожали. Тех, кто сверху к кишлаку спускался, или кого в горы, в это место поднимаясь, заманивали.

Иду, думаю: место хорошее, но плохо, что оружия нет. Здесь бы Гург-волка убил, потом Зухура из засады застрелил. Гадаю: каким приемом Зухура брать? Охотничьему искусству меня усто Джоруб учил. Говорил: «У каждого зверя своя повадка. К каждому особый прием применять следует».

На выдру, водяную собаку, осенью с кувшином охотятся. Около реки большой кувшин с узким горлом кладут. Кишку берут, один конец ко дну кувшина прикрепляют, другой — на берегу бросают. Водяная собака кишку находит, радуется. На кишку набросывается, заглатывать начинает. Заглатывает, до кувшина добирается, голову в горло протискивает, назад вытащить не может. Так ее берут.

На куницу с помощью камня охотятся. Каменную плиту находят, под ней землю роют, в ямку кусочек мяса кладут. Куница мясо находит, съедает. Так три-четыре раза повторяется, куница привыкает, ни о чем плохом не думает. Тогда охотник яму углубляет, мясо под самый край камня кладет, плиту палочкой подпирает. К палочке веревку привязывает, сам прячется, конец веревки держит. Куница мясо есть приходит, охотник веревку дергает, плита падает, куницу в яме придавливает.

На сурка с водой охотятся. Нору водой заливают, сурок выбегает, его палкой бьют.

Медведя, в засаде сидя, из ружья бьют.

Как на Зухура охотиться? Мне его повадки определить надо. Решить, в каких местах его взять удастся.

Усто Джоруб, искусству меня учивши, говорил: «Охотник-стрелок осторожность соблюдать должен. Зверя трудно убить. Но трудно и свою жизнь сохранить. Охотник-стрелок о двух вещах помнить-заботиться должен: как зверя взять и как самому не пострадать, с гор без урона для себя спуститься, жизнь сохранить.

Думаю: как разом и Зухура взять, и невредимым уйти. Потом думаю: не время сейчас о том думать.

До Дед-камня, за которым наше пастбище начинается, дохожу. Проходя, до камня дотрагиваюсь, чтобы удачу дал. За камнем позади каменная хижина стоит, в которой летом пастухи живут. Рядом — очаг, из камня сложенный.

— Иди, Тыква, посмотри, не прячется ли кто в хибаре, — Гург приказывает.

В хижину захожу. Пусто. Голо. Как будто бесы хулиганили,

— Че тут за свалка? — Гург входит, спрашивает. — Разве люди так живут?

— Вазиронцы, — говорю. — Они здесь жили. Когда прогнали их отсюда, второпях собирались.

— Тряпки, войлоки... Зачем? — Гург говорит.

Оглядел. На пол земляной сплюнул:

— Тут ночуете?

— Здесь, — говорю. — Дом это.

— Дом? Хата в крытке и то лучше, — Гург говорит. — Стены каменные,

пердячим паром провоняли... Я бы снаружи спал. Холодно, да на свободе. Лежишь, звезды над тобой...

Вне дома спать нельзя. Неподалеку — Кухи-Мурдон, страшное место, опасное. Гора, на которой дэвы своих мертвецов хоронят.

Один человек — не наш, чужой, — из города приехал — тоже под открытым небом ночевать задумал. «Очень у вас душно. Свежий воздух люблю», — сказал. Отговаривали, не послушал. Курпачу на траве расстелил, одеяло взял, лег. Утром люди проснулись — нет того человека. Пропал. Курпача-одеяло на месте лежат. Одежда вокруг разбросана... Искали, не нашли. Потом, время прошло, мальчишки ревень на склоне под пастбищем собирать пошли — тело того человека нашли. На камнях голый лежал, зверями-птицами обглоданный. Но все равно знающие люди на теле знаки различить сумели. Сказали: «Дэвы умертвили».

Но я того Гургу объяснять не желаю.

Потом караван приходит.

— Тыква, иди разгружай, — Гург приказывает.

Разгружаю. Из нашего кишлака мальчишки, которые ослов гнали, — помогают. Поклажу с ослов снимаем. Ковры снимаем, неподалеку расстилаем. Один для Зухуршо. Поодаль другой — для шакалов... Ящик с водкой к зухурову ковру относим. Вьюки, мешки, канистры с водой к пастушеской хижине переносим. Большой котел возле очага ставим.

Гург говорит:

— Тыква, за огнем будешь следить. Дрова рубить.

Потом Шухи подзывает, приказывает:

— На перешеек иди. Возле кучи камней садись, за тропой следи. Чтобы никто втихаря не подошел.

— Пусть Тыква идет, — Шухи говорит.

Гург железные зубы скалит:

— Шухи, пургу не гони. Иди!

Шухи говорит:

— Ладно. Если Тыкву на камнях посадить, разве что-нибудь хорошее вырастет?

Автомат берет, уходит.

Зухур на ковре, опершись на подушки, лежит. Шакалы на ковре кружком сидят. Я дрова-хворост рублю-ломаю. На Зухура незаметно поглядываю. Как его брать, прикидываю. Занбур-повар огонь разжигает. На очаге котел установить мне приказывает. Масло в котел льет, калить начинает.

— Руки вымыть не из чего, — говорит. — Тыква, я в хижине кувшин видел. Иди, принеси.

В хижину иду. Кувшин справа на полке на стене стоит. Беру кувшин, вдруг вижу: под полкой в углу камонгулак, лук-праща, стоит. Когда я в первый раз сюда заходил, лука не заметил. Был он здесь или не был? Дедушку Абдукарима вспоминаю. «Держки лук покрепче, — дедушка говорил. — Вот так, Карим, молодец. Теперь тетиву натягивай...» Кувшин назад на полку ставлю, лук, как дедушка учил, в руки беру. Хороший лук, мощный. Думаю: «Зачем он мне? Из лука только птиц бьют. Может быть, знак это? Или, может, деды-духи лук как оружие дали? Если так, они лучше знают... Или вазиронцы, когда их Зухур с нашего пастбища прогнал, в спешке вещи собирая, в хижине лук забыли?

Возьму. Если знак — хорошо. Если пастухи лук оставили — тоже ничего плохого не будет».

Тетиву снимаю, сворачиваю, в карман кладу. Лук без тетивы от простой палки ничем не отличается. Пусть думают: «Тыква-дурачок с кривой палкой ходит». Кувшин беру, Занбуру отношу.

— Палку зачем притащил? Дров много, — Занбур говорит.

— А, палка, — говорю. — Палка, да...

— Дурак ты, Тыква, — Занбур говорит. — Полей на руки.

Руки моет, мясо режет...

Потом Шухи от харсанга приходит.

— Тыква возле плова на кухне, а я палец сосу? Несправедливо. Теперь пусть Тыква возле кучи сидит. А я тебе, Занбур, помогать буду.

— Мне бара-бир, без разницы, — Занбур говорит.

Говорю Шухи:

— Автомат дай.

— А кривая палка у тебя зачем? — Шухи говорит. — Увидишь врага, палку на него наставь и кричи: «Ту-ту-ту!» Только смотри, всю обойму разом не выпусти. Короткими очередями бей...

— Ладно, — говорю.

— Неправильно сказал. Скажи: «Пост принял».

— Пост принял, — говорю.

Шухи меня по лбу пальцами щелкает:

— На боевой пост шагом марш!

К харсангу иду, сажусь, тетиву к луку прилаживаю, лук разглядываю. Если деды послали, может, лук особенный. Разглядываю. Обычный лук-праща, из ветви иргая, кизильника, сработанный. Две тетивы из бараньих кишок рога лука стягивают. Посредине меж ними — перемычка: кусочек тряпки нашит. Лук испытываю. Камешек малый — с перепелиное яйцо — беру, в тряпицу закладываю и тетиву на всю длину руки оттягиваю. Хороший лук, мощный. У нас в Талхаке и старые, и малые из камонгулаков стреляют, птиц бьют. Но этот лук натянуть, который деды-духи послали, ни у старика, ни у ребенка сил не хватит. Большой камешек — с куриной яйцо — нахожу, в лук-пращу закладываю.

Влево смотрю, вправо смотрю. В той стороне, где тропа к пастбищу подходит, вижу: куропатка на камне сидит. Тридцать шагов до нее. «Вот цель», — думаю. Потом думаю: «Зачем зря живую жизнь губить?» В птицу не стреляю. Потом вижу, еж по тропе бежит. «Вот цель», — думаю. Потом думаю: «Зачем зря живую жизнь губить?» В ежа не стреляю.

Шаги слышу, сажусь, лук-пращу рядом кладу. Спросят: «Зачем лук?» — «Перепелок настрелять, чтоб плов слаще был», — скажу.

Из-за Дед-камня Зухур выходит. Спиной к Дед-камню встает, ремень на штанах, озирая окрестности, расстегивает... Меня замечает.

— Чего уставился?! — кричит.

Отворачиваюсь. В уме за один миг много мыслей проносится. «Знаки не зря были... Зухур сам пришел... Сейчас не убью, возможность упущу... Будет ли другая?.. Деды-духи камонгулак послали... Они знают... Они знак дают: Зухура из лука-пращи убить возможно... Иначе не послали бы... В голову или грудь бить?.. В грудь легче попасть... Если в голову — вернее убить... До Зухура —

тридцать шагов... Точно попаду... Если не убью, только оглушу, подбегу, ножом дорежу... Если закричит, пусть кричит... Не смогу живым уйти — значит, пусть будет, что будет...»

Лицом к Дед-камню поворачиваюсь. Вижу: Зухур на корточках сидит, тужится. Теперь знаю, какой для охоты на Зухура способ есть... Его, когда он испражняется, бить следует.

Лук беру, тот же камень в тряпицу вкладываю. Во весь рост встаю. Говорю: «Не мои руки — пира святого Довуда, всех охотников покровителя, руки». Лук до отказа натягиваю.

Страшная сила меня одолевает. Как в увеличительное стекло Зухуршо вижу. Бородавки, родинки и все прочее, как будто я свое лицо вплотную к его лицу приблизил, разглядываю. На меня не смотрит. В середину лба целюсь, камень выпускаю. Камень Зухуру в середину лба бьет, назад отбрасывает. Зухур на спину падает.

Думаю: «Если ранил или оглушил, добить надо». Быстро спускаюсь, к Дед-камню спешу, на бегу нож вынимаю. Подбегаю, Зухур лежит. На спину упал, свой помет телом накрыл. Смотрю, камень глубоко в лоб ушел. Наверное, череп проломил, в кости застрял. Ногой Зухура потолкал — мертвый.

Рядом с тушей Зухура присаживаюсь. Однако осторожность соблюдаю. Может, еще оживет. Если бы медведя или козла убил, горло бы перерезал, тушу головой вниз по склону передвинул — чтобы вся кровь вышла.

Тушу Зухура на живот переворачиваю. Шея у него толстая, жирная. Пальцами на шее позвонки нащупываю, между двумя позвонками острый конец ножа втыкаю. Удивляюсь — нож легко входит, хрустит. Голову отрезаю. Думал, струя ударит... Нет, кровь, как из опрокинутой бутылки, вытекает. Нож о рукав Зухура вытираю, в ножны кладу. Голову за шерсть беру: из нее кровь только капает немного, черная, тягучая. Кровь с шеи о траву вытираю, чтобы свою одежду не замарать.

Голову беру, к харсангу возвращаюсь. «Брать лук или не брать?» — думаю. Потом думаю: «Зачем он теперь?» Как уходить буду? Три пути есть.

Слева от Дед-камня — на западе — ущелье есть, узкая расселина, вверх по горе поднимается. По нему пролезть, на гору забраться — дальше пути нет, за горой ущелье, а за ущельем — гора Кухи-Мурдон. Там дорог нет, люди туда не ходят. Там человеческие владения заканчиваются, дэвов владения начинаются. Люди туда никогда не ходят. До границы человеческих владений дойду, остановлюсь, шакалы меня догонят, схватят.

К щели, что в гору ведет, пробираюсь. По узкой щели-ущелью подниматься начинаю. Голову неудобно нести. Шерсть на зухуровой голове короткая, из пальцев выскальзывает. Рот ему открываю, два пальца левой руки — указательный и средний — в пасть, под язык запускаю, изнутри нижнюю челюсть зацепляю, а большим пальцем снаружи, под подбородком прижимаю, придерживаю. «Мертвый, — думаю. — Не укусит». Так нести лучше. По щели поднимаюсь, наружу, на гору вылезаю, из-за камня выглядываю.

Отсюда, сверху, все далеко вижу. Шакалы уже возле Дед-камня, вокруг безголовой туши Зухура толпятся... Потом вижу: один — Гафур или Занбур, сверху не различить — на лошадь садится, мимо Дед-камня проезжает, по тропе скачет, за поворотом скрывается... Думают, я в сторону Талхака ушел.

Потом вижу: кто-то к краю пастбища бежит, на откосе меня высматривает.

Нечаянно себя выдаю. Из-под ноги камень выскальзывает, скачет, прыгает, вниз на траву падает. Шакалы слышат, вверх смотрят.

— Вон он! — кричат.

— По горе лезет!

— Эй, Тыква, спускайся! Все равно догоним!

Вижу, вверх лезут, в погоню идут. Дальше поднимаюсь, левый склон огибаю, в диком месте оказываюсь. Люди здесь не ходят. Никогда не ходили. Зачем здесь ходить? Куда идти, не знаю. Быстро гляжу, путь прокладываю. Наконец вылезаю. Передо мной — большая площадка. Шагов сто, наверное, в длину. Будто длинная узкая полка на каменной стене висит. Будто к каменной стене полка — длинная, узкая — приделана. Справа резко вниз обрывается. Вижу: площадку в дальнем конце трещина рассекает.

Назад дороги нет. Вперед идти надо. На площадку вылезаю, к трещине бегу. Подбегаю, вижу: очень широкая трещина. Шагов семь. Или, может быть, даже больше. Что делать? Думаю: «Очень опасно. На краю трещины мелкие камешки, каменная крошка. Отталкиваться ногой буду, подскользнуться можно». Быстро-наскоро ногой крошки-камешки сметаю в том месте, где отталкиваться буду.

Площадка покатая. От моей стороны к той стороне наклонена. От стены влево, к обрыву наклонена. Голову на ту сторону бросаю — так, чтобы к самой стене упала. Голова летит, на той стороне падает... Влево к обрыву катится... «Скатится, вниз упадет! — думаю. — Как тогда быть? Достать не смогу». Голова на самом краю обрыва останавливается.

Назад для разбега подальше, сколько есть места, отхожу. Бога призываю, «Бисмилло» произношу, бегу. На краю ногой с силой отталкиваюсь, через трещину лечу.

Очень сильно толкнулся. На ту сторону перелетаю, меня вперед тащит... На руки падаю, ладони о камень раздираю, колено ушибаю. Вскакиваю, голову беру. Осторожно, чтоб ненароком вниз не столкнуть — двумя рукам поднимаю. Дальше бегу.

Площадка выступ скалы огибает. За выступ забегаю. Здесь площадка в осыпь упирается. Голову бросаю, сажусь, спиной к скале прислоняюсь. Здесь отдохнуть можно. Выступ от шакалов заслоняет. Они через трещину перескочить не смогут...

Сижу, отдышаться не могу. Потом вдруг меня трясти начинает, будто на сито механического грохота бросает. Будто на мелкие кусочки разваливаюсь, как куча щебня на железной сетке, трясусь и подскакиваю.

Чтобы дрожь унять, голову беру. Нож вынимаю... В каком ухе дырку делать? Если в левом — лицом вперед голову понесу, Зухур вперед смотреть будет... Если в правом — назад... Какое у Зухура ухо левое, а какое правое, никак разобрать не могу. Концом лезвия в одном ухе — в каком, не понимаю, — дырку прорезаю. От подола рубахи полосу отрываю, один конец трясущейся рукой скручиваю, в дырку продеваю, насквозь продергиваю. «Не оторвется ухо?» — почему-то думаю. Знаю, что не оторвется, но все равно сомневаюсь. Концы тряпицы кое-как связываю, разок-другой дергаю — ухо не отрывается. Теперь хорошо. Теперь голову удобно нести.

Все равно дрожу. Зубами стучу, слова непонятные бормочу. Потом дрожь утихает, и на меня будто лавина обрушивается. Внезапно Зарину вспоминаю. Рыдаю, по камню кулаками бью. Боли не чую. Горе унять не могу. Прежде сила,

теперь горе распирает. Рвется наружу, выйти не может. «Почему?! — кричу. — Почему?!» О чем спрашиваю, сам не знаю. Хочу горе высказать, а как — не знаю. Нет таких слов.

Голову Зухура за петлю хватаю, размахиваюсь, головой о скалу бью. Хрустнула голова, хряснула — так на мой вопрос отвечает. Головой Зухура о камень молочу, «Почему?! Почему так сделал?!» — кричу. Обеими руками голову хватаю, о стену бью...

Потом голову бросаю, ничком падаю. Плачу. Теперь плакать могу.

Долго ли плакал, не знаю. Слезы вытираю, гляжу. Передо мной гора Кухи-Мурдон. Будто тысячу лет стояла, от времени заржавела, ржавчиной покрылась. Вся насквозь проржавела. Только у самой вершины на круче из красной глины черные камни поднимаются. Утесы, временем выщербленные. Надмогильные камни, дэвами возведенные и по склону купами расставленные. Пять надгробий. Поодаль — три. Чуть выше — семь. Наверное, дэвы тоже, как люди, мертвецов хоронят, каждый каун своих покойников вместе кладет, от чужих отдельно.

Стороной никак не обойти. Через кладбище дэвов идти придется. Если живым пройти сумею и по другой стороне с Кухи-Мурдон вниз спуститься, там, рассказывают, ущелье начинается, которое к Оби-Хингоу ведет. А оттуда можно к людям выйти. В Тавильдару или куда еще... Если здесь от голода и жажды умереть не хочу, придется через кладбище Кухи-Мурдон идти. Думаю: «Наверное, дэвов мертвецы, чем человеческие, в тысячу раз опаснее».

Голову беру, по осыпи на дно ущелья спускаюсь.

Нечистое место, больное. Только вода, наверное, чистая, хотя, наверное, из нечистого источника вытекает. Потому что даже нечистая вода, если быстро течет, три оборота по течению сделав, чистой становится.

Голову на берегу, на камни бросаю, к воде подхожу. Рубаху снимаю, от крови Зухура отмывать начинаю. Все время по сторонам оборачиваюсь. Слежу. Прислушиваюсь... Плохо будет, если дэвы врасплох застигнут. Никого не замечаю. Ничего не слышу, только ручей тихо журчит. Воздух неподвижно стоит. Рубаху сначала семь раз в воде простирываю, потом один раз землей оттираю и еще раз споласкиваю — так делать положено, если нечистота свиньи или собаки на одежду попадет.

Теперь рубаха чистой сделалась, мокрую надеваю. Нельзя в горы, на кладбище дэвов голым, без рубахи идти. Голову Зухура беру, через ручей перепрыгиваю.

Раньше на границе стоял, теперь во владения дэвов вломился. Думаю: «Может быть, голову Зухура им надо отдать?» Скажу: гостинец, подношение принес...» Не знаю, нужна им голова или не нужна, но свое к ним уважение покажу.

К мертвым дэвам обращаюсь.

— Извините, — говорю, — обидеть не хочу. Не по своей воле ваш покой нарушаю.

Подниматься начинаю.

Никакой растительности — ни деревьев, ни кустов и даже трава не растет. Только местами лишайники пятнами камни покрывают. Одни черные, другие

такого цвета, какой на ладонях у девушек бывает, когда они их хной для красоты красят. Камни будто пятнами крови — свежей и давней, засохшей — вымазаны.

Потом чувствую, будто рядом кто-то идет. Шагов не слышно, никого не видно, но чувствую, что-то большое и невидимое рядом со мной присутствует.

Дедушка Абдукарим, когда живой был, меня учил, «Карим, — говорил, — на всякое дело умение нужно иметь. Опасно с дэвом встретиться. Но если знаешь, что делать, то не страшно. При умении можно и с дэвом совладать, без вреда для себя уйти».

Останавливаюсь, имя Аллаха произношу: «Во имя Бога, милостивого, милосердного», — громко говорю. Дальше иду. Чувствую, невидимый не уходит. Рядом идет, Божьего имени не боится. «Может быть, ангел послан?» — думаю.

Потом слышу: где-то на востоке, далеко за горой — вертолет стучит. Тихо, едва различимо стучит...

24. Даврон

Тринадцать сорок пять. Ждать знахарку нет смысла. По оптимистическим прикидкам, прибудет минут через тридцать. По реалистическим — через час.

— Летим на пастбище, — говорю Ястребову.

Он разглядывает меня с веселым любопытством:

— Насколько понимаю, торопишься начистить ему рыло.

— Не угадал.

— Ну, не орденом же будешь награждать.

— Он дал слово и нарушил. Я такого не прощаю. Отвезу в Ходжигон и при всех разжалую в рабочую скотину. Дрова будет рубить. Или отдам какому-нибудь мужику, чтоб огород на нем пахал...

— Н-да, серьезно. А чего вдруг загорелось? Подожди, пока сам вернется.

— Принцип. Афган научил: задумал важное дело — делай сейчас же. Отложишь на вечер, а днем убьют.

Ястребов усмехается:

— Одобряю.

Пилот стоит у вертолета, разминается, потягивается. Ястребов подходит, обнимает его за плечи:

— Тарас, не в службу... Давай еще в одно местечко сгоняем.

— Серега, это ведь не такси. Боевая машина.

— А у нас как раз боевой вылет. Диктатора отправляемся свергать. Ордена тебе, конечно, не дадут, но поглядеть будет любопытно.

— Ну, если диктатора... — ворчит Тарас.

Сообщаю направление. Ястребов садится в кресло правака, штурмана-оператора. Справа и чуть позади пилота. Я располагаюсь по правому борту. Вертушка взлетает.

Четырнадцать ноль пять. Разглядываю в окно вид на пастбище. Внизу разворачивается в длину с востока на запад обширная плоскость. На северо-западной оконечности пастбища виднеется небольшое строение. Рядом несколько пятнышек, по цвету отличных от растительности. При подлете становятся узнаваемыми детали. Строение — пастушья летовка. Два цветных прямоуголь-

ничка — ковры, большой и малый. Яркое пятнышко — туристская палатка. Затем начинаю различать людей — муравьев, сгрудившихся на ковре.

Ястребов оборачиваеся, знаками показывает: ларинг возьми. Ларингофон висит рядом на кронштейне. Надеваю. Голос Ястребова в наушниках комментирует:

— Царская, мать его, охота. Идиллия...

Идиллия, факт, но вряд ли для Зухура. На большом ковре скопилось слишком много муравьев. Около десятка. Должно быть трое — Зухур и два его питекантропа. Духи по-любому обязаны сидеть отдельно. Зухур боится своих гвардейцев, но вместе с ними за один дастархон не сядет. Ниже его достоинства. Вывод? Вернее всего, духи распоясались на воле. Нагло уселись рядом с Зухуром. Или загнали его в палатку, а сами заняли почетное место. Ликвидировали? Маловероятно. В последние дни в Ходжигон не приходила извне даже собака. Стало быть, принести приказ было некому. Да это, в общем, не существенно.

Вертушка снижается. Зависает метрах в пятнадцати над землей. Духи вскакивают. Оружие кучей свалено рядом. Духи хватают автоматы, расстредотачиваются.

Пилот прекращает снижение. Слышу, Ястребов спрашивает:

— Что за архаровцы? Твои?

— Зухурова гвардия!

— Я было решил, не к тем залетели. Сам-то он где?

— Хрен его... В палатке прячется.

Голос Тараса в ларинге:

— Учтите, мужики, я улетаю. Ситуация стремная. Пальнет какая-нибудь сука...

Говорю сколь могу убедительно:

— Тарас, это свои.

— А стволы на хера похватали?

— Не знают, кто и зачем прилетел. Поставь себя на их место.

— Не нравится мне ситуевина. Что-то твои «свои» шибко на душманов смахивают...

— Давай так, — предлагаю. — Развернись правым бортом... Я открою дверь, покажусь. Тогда точно не шмальнут.

Слышу, спрашивает Ястребова:

— Сережа, что скажешь?

— Тарас, не парься. Я бы сел без затей.

— Твоими бы устами... — ворчит пилот. Мне говорит: — Ладно, сейчас развернусь. Покажи им личико.

Вертушка разворачивается. Я открываю дверь, высовываюсь, машу духам. Узнают. Несколько человек сходятся. Совещаются. Гург машет в ответ.

Закрываю дверь, перебираюсь к пилоту:

— Порядок! Садись.

Вертушка опускается, садится. Тарас оглядывается на меня:

— Ты надолго?

— Глуши.

Тарас щелкает тумблерами. Гул двигателей стихает. Лопасти винта хлопают, замедляя вращение.

Открываю дверь, выхожу. До духов — метров тридцать. Кричу:

— Гург, подойди!

Гург несколько секунд размышляет, подзывает одного из блатных, бросает ему несколько слов, тот направляется к вертолету. Тухлый тип по кличке Шухер, нервный, взбалмошный. Подходит:

— Здоров, Даврон, — с блатной оттяжечкой.

— Где Зухур?

Ухмыляется:

— Охотится где-то.

— Один?

— А че ему? Не маленький.

— Куда пошел?

Шухер неопределенно машет куда-то на северо-запад — туда, где на краю пастбища поднимаются откосы хребта. Меняет тон на дружелюбный:

— Слышь, Даврон, ребята тебя приглашают. А че? Пока будешь Зухура ждать, хоть раз посидишь с нами по-человечески. Ну, там плов, водяра, туда-сюда... А воякам скажи, пусть улетают. Че, тебе уже и отдохнуть нельзя?..

За кого меня держат? Заманивают конфеткой точно малое дитя. Говорю:

— Кончай пургу гнать. Иди, скажи Гургу, пусть сам подойдет. И чтоб шестерок не высылал.

Шухер кривит рожу, но чапает обратно. Ястребов распахивает дверь пилотской кабины, высовывается:

— Проблемы?

— С Зухуром непонятки. Не мог он уйти в одиночку. Во-первых, не охотник. Во-вторых, взбреди ему такая блажь, погнал бы с собой свиту.

— От тебя прячется, — смеется Ястребов.

К вертушке направляется новый посланец. Гафур, телохранитель. Служит Зухуру точно пес, но в общем нормальный мужик. Подходит:

— Ас салом, Даврон. Как дела, здоровье?.. — неспешно выпускает обойму вежливых вопросов, не требующих ответа.

— Нормально. Ты как?

— Не знаю. Подумать надо.

— Ну, думай. А в чем загвоздка?

— Блатной сказал, что Зухуршо на охоте, да? Не верь. Я тебя уважаю, зла не хочу. Потому подошел...

Киваю: понимаю, мол. Спасибо.

— Зухуршо не жди. Не вернется.

Непонятно. Не такая здесь местность, чтоб реально от меня смыться.

— Не в Афган же удрал.

Гафур указывает на небо.

— Туда.

Ощущение, будто бежал, а на пути внезапно опустилась стена, и я с разбегу, в горячке погони — мордой в бетон.

— Сам?! Или кто помог?

— Парнишка здешний. Тыква из Талхака.

Приказываю себе остыть. Зухур получил свое. Несущественно, кто наказал — я или кто-то другой. Делаю глубой вдох. Медленный выдох. Порядок. Тыква? Да, помню... Боец из местных, Гуломов. Тот, что сопровождал меня в дом, где живет Зарина.

Ястребов открывает дверцу, выходит, Гафур рассказывает, что и как произошло.

— У вас, как в кино, — говорит Ястребов. — Деревенский детектив... Ну что ж, Даврон, проблема решилась сама собой. Летим обратно.

— Погоди, — говорю. — Тыкву надо изловить.

Ястребов хлопает себя по бедру:

— С тобой не соскучишься! Изловим, потом что? Душанбе бомбить полетим? Летное время, брат, — штука недешевая, время и керосин... Ну зачем тебе пацан? Пусть бежит.

Растолковываю:

— Боец совершил тяжкий проступок. Необходимо наказать. Показательно. Чтобы никто в отряде не думал, что можно укокошить вышестоящего по званию и сбежать. Расстреляю перед строем.

Он отводит меня в сторону.

— Не понял, — говорит негромко, чтоб не слышал Гафур. — Тебе-то об отряде какая забота? Теперь на меня работаешь. Я свои условия выполнил, твоя очередь. Так что наплюй на высокие материи, и возвращаемся.

Ага, хозяин заговорил! Расставляю точки над «и»:

— Давай проясним: я на тебя не работаю. Всего лишь подписался выполнить *один* заказ. Насчет долговременного контракта уговора не было.

Ястребов задумывается.

— Торгуешься или доброту мою испытываешь? А, так и быть! Получил лошадь, бери и уздечку. Охота на Тыкву пойдет как бонус. Для закрепления отношений. Вот только насчет керосина... Ты свое обещание-то не забыл? Гляди, весь будущий гонорар ухлопаешь на расплату с летунами.

— Дисциплина дороже. — Возвращаюсь к Гафуру: — Ты видел, куда он направился?

Гафур понижает голос:

— Наверное, блатные его на Кухи-Мурдон загнали. Нас в детстве пугали: «Там мертвецы живут, люди оттуда не возвращаются». Хотя один старик рассказывал, какое-то ущелье есть, по которому он в молодости к Тавильдаре вышел. Тыква вряд ли найдет...

— Меня-то не пугай. Лезь в веролет. Покажешь страшное место.

Вертушка поднимается над хребтом, вдоль которого тянется пастбище. Горные отроги внизу плывут, точно складки измятого бурого одеяла. Такими укрываются в детских домах. На северо-западе одеяло окаймляет охряная полоса. Гафур тычет в окно в ту сторону и кричит, пытаясь переорать рев двигателя:

— Кухи-Мурдон!

На подлете понимаю, почему про гору рассказывают сказки. Пологая стена цвета ржавчины поднимается уступами. На ней, точно могильные обелиски, в беспорядке разбросаны выходы темных скальных пород.

Четырнадцать тридцать четыре. Гафур машет, указывая вниз. Подхожу к окну левого борта. Внизу, на одной из террас в нижней трети склона — маленькая человеческая фигурка. Гуломов. Возвращаюсь к правому борту, надеваю ларинг.

— Тарас, слева от тебя. Видишь?

— Вижу.

— Сможешь сесть?

— Ща узнаем.

Разворачивает машину, снижается. Сообщает:

— Облом. Уклон восемь градусов. Не хочу рисковать.

— Неужто зря летели?

— Могу подвиснуть. Площадка широкая, ветер позволяет...

Он подводит вертушку носом к склону, на высоте зависает над террасой. Затем плавно опускается вертикально вниз. Вижу Гуломова. Стоит неподвижно справа от снижающейся машины. Попыток бежать не предпринимает.

Вертушка подвисает над самой площадкой. Голос Тараса информирует:

— Приехали.

Вешаю ларинг на кронштейн. Гафур встает, орет:

— Я приведу!

Отмахиваюсь:

— Отставить. Сиди.

Открываю дверь. Высота — метра полтора. Спрыгиваю, иду к Гуломову. Он не трогается с места. Подхожу. В правой руке бойца — трофей. Зухурова башка.

— Дай-ка.

Гуломов протягивает мне тряпичную петлю, на которой висит голова. Поднимаю ее на вытянутой руке. Голова перекашивается набок — грязная тряпица оттягивает ухо. Разглядываю с холодным любопытством. Зухура не узнать. Сейчас он напоминает гнилую дыню в базарной оплетке. Лицо смято, нос размоожжен вдебезги, губы расплющены, но крови почти нет.

Мне приходит на ум, что система, вероятно, действует сложнее, чем представлялось. Я считал, что Зухур — всего лишь запал. Шарахнуло и его, да пострашнее, чем Зарину. И этого деревенского паренька тоже зацепило.

Возвращаю трофей бойцу. Спрашиваю:

— Штрафные удары на башке отрабатывал?

Он, мрачно:

— Нет, я вратарь... Когда играем, на воротах стою.

— Неважно. Желтая карточка тебе по-любому обеспечена. Знаешь, что это такое?

— Конечно. Радио слушаю.

— Так вот, в сегодняшнем матче желтая карточка — расстрел.

Боец, мрачно:

— Знаю.

— Факт, знаешь, раз бегством спасался...

— Я не спасался... От них уходил.

— Логика где? — спрашиваю. — Уходил, значит, спасался.

Боец, упрямо:

— Нет. Они шакалы. К ним в руки попасть — позор.

— Предположим. А сейчас почему стоял, ждал? Дунул бы в гору.

Боец выдает:

— Вы человек. От людей бегать позорно.

— Хочешь сказать, что смерти не боишься?

— Не знаю...

Потом:

— Боюсь.

Мгновенно принимаю решение. Порядок превыше всего. Это бесспорно. Однако доблесть и честь по рангу стоят выше порядка. Говорю:

— Слушай внимательно, Гуломов. Что ты убил Зухура, меня не колышет. Мне без разницы, почему, за что и прочее. Но дисциплина есть дисциплина, и в данный момент отпустить тебя невозможно.

— Я не прошу...

— Да погоди ты! Сумеешь сбежать, на поимку посылать не стану. Понял?

— Нет, не понял.

— Неважно. Подумай по дороге.

Спасти или дать шанс — вещи разные. В последнем случае вероятность реального контакта очень невелика. В самом худшем варианте — отсрочка смерти. На неопределенное число лет. Награда за доблесть и честь.

— Иди в вертушку.

Подвожу бойца к машине, зависшей над террасой. Гафур открывает дверь. Кричу:

— Залезай!

Гуломов сует голову в дверной проем, хватается за кромку, подтягивается и ловко забирается вовнутрь. В вертолете поднимает голову, стоит, не зная, куда приткнуться. Вскарабкиваюсь, указываю на место слева от Гафура:

— Садись!

Боец садится. Голову держит на весу. На веревке. Кричу:

— Чего ты в нее вцепился?! Бросай!

Бросает. Вертушка поднимается, кренится при развороте. Голова перекатывается по полу. Надеваю ларинг, говорю:

— Тарас, ей богу, последняя просьба... Еще разок — на пастбище. Только подсядь, на пару минут.

Молча кивает. Ястребов оборачивается, корчит ироническую рожу.

Четырнадцать пятьдесят семь. Борт приземляется на пастбище. Духи валяются на ковре. Вывожу Гуломова, веду к ним. Подхожу, командую:

— Встать.

Поднимаются с демонстративной неторопливостью. Гург остается лежать.

— Ты тоже!

Нагло таращится. Взглядом ломаю его взгляд. Сдается. Встает, бурчит на публику:

— Из уважения, командир. Ты такого бандюгана заловил.

Объявляю:

— Значит так. Этот боец, Гуломов, за проступок будет расстрелян перед строем. Отведете его в Ходжигон, в расположение отряда. Ты, Гург, — ответственный. Если хоть кто пальцем его тронет, волос у парня с головы упадет, ответишь лично. Накажу по полной.

Поворачиваюсь, иду к вертушке. Гург кричит вслед:

— Эй, командир, а трупешник? Захвати с собой.

Отрезаю на ходу:

— Тащите сами. Вертушка — не говновоз.

Пятнадцать ноль восемь. Борт поднимается в воздух. Ястребов оборачивается, знаками показывает: надень ларинг. Спрашивает:

— Теперь куда? В Лондон, Париж? Где еще будешь наводить порядок?

— На сегодня все. В Ходжигон.

Пятнадцать двадцать пять. Борт приземляется на площади в Ходжигоне. Жму руку Тарасу: «За мной не заржавеет». Покидаю вертушку, Ястребов выходит следом. Перекрикивая гул винта:

— Завтра убываю из Калаи-Хумба. Послезавтра приступай. Не тяни. Алёша может в любой момент сорваться с места.

Молча киваю. Он протягивает руку:

— Удачи.

Ястребов улетает. Веселый, лихой он парень. Но чужой. По сути, враг. Врочем, если разобраться, мне все чужие. А перед ним я еще и в долгу оказался. О задании ликвидировать Алёша не думаю. Потом. Прикидываю, как повести разговор с Гадо. Зухура он заменит без проблем, факт. Мужик умный, хоть и прикидывается недотепой. Тихушник. Тихоня. В любом случае работать будет лучше старшего братца. То, что тихоня, — даже хорошо. Начнет чудить, приструнить будет несложно. С самого начала возьму его в ежовые рукавицы. Мне не до любезностей, деньги нужны. Зарину лечить. Пластические операции и все такое. Я за нее в ответе. Перед ней виноват. Пытался себя убедить, что нет моей вины, но знаю, что виноват. Деньги будут. Знаю абсолютно точно. Мне предсказано.

Предсказание поступило полтора года назад, через несколько дней после того, как на меня в части спустили собак. Подставили подло. По всем правилам. С офицерским судом чести и прочей махоркой. Народ странно себя повел. Вроде, и верили мне, и сомневались. Только Петька Воронин поддержал безоговорочно: «Напраслину на него вешаете!» Короче, шли мы с Петей после суда по Кургану, по центру. Я, факт, злой был, ничего не замечал вокруг, а Петр вдруг сказал:

— Даврон, глянь! Чурки совсем оборзели — милостыню булыжниками подают. Ну-ну... И кто-то камень положил в его протянутую руку...

На обочине тротуара сидел на земле худой старик. Перед ним лежала на платке горстка мелких камешков.

— Это фолбин, Петя, гадальщк. Судьбу предсказывает.

— Давай погадаем.

— Глупство это. И настроения нет.

— Да брось. Ради шутки. Развеешься немного.

Мы подошли к старику.

— Погадаешь?

Старик внимательно осмотрел меня и спросил по-узбекски:

— Как тебя зовут?

— Даврон.

Старик сгреб камешки и легонько их подбросил. Камешки раскатились по тряпке. Фолбин попередвигал их, как шахматы на доске, и заговорил монотонно:

— Ярко, как светильник, горела твоя судьба, Даврон...

Узбекский знаю не очень хорошо. Но старика в общих чертах понял.

— Теперь, Даврон, бредешь в темноте, как стреноженный конь. Не видишь, куда идешь, не знаешь, куда идти... Долго будешь бродить, но в конце концов найдешь свое золото.

— Все, что ли?

— Все.

Обычный развод. Общие фразы. Хороший психолог. С лету отслеживает настроение. Я ничего иного не ожидал, но стало досадно.

— Факты, факты давай. Конкретно. Что, где, как.

— Этого камни знать не могут. Сам решай, куда идти. Куда пойдешь, там и окажешься. Как поступишь, так и будет. Сумеешь — добудешь золото. А не сумеешь...

— Сумею, сумею... Ну все, хорош болтать зря.

Дал ему денег. Петька спросил:

— Ну и что он тебе предрек?

— Золотые горы посулил.

— Клево! Пусть теперь мне раскинет.

Я сказал старику:

— Мой друг тоже хочет.

Старик — наотрез:

— Ему гадать не буду.

Я перевел, Петька возмутился:

— Что за дела?! Скажи, чтоб кидал камни.

Старик нахохлился и отвернулся.

— Камни устали. Больше не видят.

— Батарейки сели? — засмеялся Петька. — Ладно, Даврон, поделишься золотишком.

Через три дня, второго мая, его убили. Погиб по-глупому. Вот и думай, что хочешь. Я думал. Едва мозги не вывихнул. Моей вины в Петиной смерти не было. Во-первых, не по графику, а во-вторых, контакт с ним я четко контролировал. Приятели, и ни на йоту больше... Но как старик определил, что он умрет? Судьба — не рельсы. Даже не тропа. Хаотическое сплетение случайностей. Вычислить заранее, куда повернут события, невозможно. Как нельзя предсказать путь молекулы в броуновском хаосе. И все же старик каким-то образом знал, что произойдет. Неужели просто ткнул пальцем наугад и попал?

Бился я над этой темой долго. В один прекрасный момент точно током долбануло: фолбин распознает зоны высокого напряжения! Как? Видит, чует, ощущает? Не знаю, как, но распознает. Может научить. Или, по меньшей мере, объяснить. Я бросился искать. Только старик будто сквозь землю провалился. Только и осталось от него — обещание богатства...

Пятнадцать тридцать девять. Вхожу во двор Зухурова дома. Спрашиваю бойца на воротах:

— Где Гадо?

— В конторе.

Иду к кабинету. Уже, факт, не Зухурову. Дверь распахивается, выходит Гадо. Точно специально подгадал. Хмурый, сосредоточенный. Видит меня, изображает на морде сначала удивление, затем озабоченность и заботу.

— Даврон, друг, вернулся! Куда отвез? Мать сказала, в кишлак. Я не поверил. В кишлаке разве лечить умеют? Ну, расскажи, что врачи в Калаи-Хумбе сказали?

Говорить на эту тему не хочется, но придется держать Гадо в курсе. Будущий сотрудник. Информирую:

— В Талхаке она. Тамошняя знахарка будет лечить.

Гадо одобряет:

— Тоже правильно. Знахарки такое умеют, что врачам не под силу.

Порядок. Товарищ правильно колеблется вместе с руководящей линией.

Гадо спохватывается:

— Э, друг, ты устал, наверное, с дороги. Голодный, наверное. Пойдем в мехмонхону. Обед туда принесут. Я сказал, чтоб к твоему возвращению приготовили...

— Потом. Разговор есть.

— За обедом поговорим. — Кричит: — Эй, Матлуба!

На крыльцо выскакивает женщина. Гадо приказывает:

— Чай, шурпо, все, что полагается...

В мехмонхоне усаживает меня на почетное место, обкладывает подушками, сам садится пониже, опускает глаза. Демонстрирует, что ждет, пока я начну разговор.

Начинаю:

— Значит, так. Зухур... Короче, твой брат приказал долго жить.

Гадо кивает. Лицо на долю секунды оживает и мгновенно застывает. Не успеваю поймать мелькнувшее выражение. Что это было? Радость? Горе? Досада? Произносит ровно и бесстрастно:

— Выходит, судьба его такова. Избежать хотел, не получилось. Когда Зарина вечером с собой такое сделала, Зухур ночь не спал. С утра пораньше от твоей расправы на пастбище убежал. Тебя, Даврон, я не виню. Если случилось, что ты убил...

Перебиваю:

— Не я. Деревенский мальчишка камнем пришиб.

Гадо опять кивает. Молчу.

— Зухур мне не брат, — говорит Гадо.

Молчу.

— Сын моей матери от первого мужа и больше никто, — говорит Гадо. — Понимаешь?

Сохраняю безучастность. Гадо не сдается:

— Приведу пример: вот имеется у моей матушки в личной собственности козел. Матушка его козленком взяла, вырастила, заботится о нем, но никто в здравом уме не будет козла считать моим братом. Согласен? Аналогично: был у матушки сын. Не от моего отца, от другого человека — этот самый Зухур. Какое отношение он имеет лично ко мне? Никакое. У меня сестры есть, дочери моего отца. Родной брат есть — в России, в Рязани живет, инженером работает. Еще был брат, в детстве умер. А Зухуршо? Он мне никто.

Оригинальный некролог. Откликаюсь:

— В общем-то идея понятна. Аналогия неточна.

Гадо возражает — в первый раз за то время, что его знаю:

— Зря считаешь, что неточная. Это, наверное, потому, что тебе наши отношения неизвестны. Мой отец — ходжа. Мы из Бухары в это ущелье пришли, одни из первых здесь поселились. До революции наш каун большей половиной всех окрестных земель владел... А кто отец Зухура? Я коммунистам никогда не прощу, что они насильно заставили матушку выйти за него замуж. Девушку белой кости выдали за безродного матчинского простолюдина. А он, к тому же, преступником оказался. И весь его род таков. Родной дядька Зухура — тоже вор. И Зухур ничем своих родичей не лучше, только сумел в начальство пролезть. С

самого института лез — учился кое-как, зато стал комсомольским секретарем факультета, потом всего института и дальше полез. Из комсомола в партию перебрался и наконец дополз — сделался инструктором заштатного партийного райкома. Выше подняться ума не хватило...

Гадо говорит холодно, бесстрастно. Точно читает сводный бухгалтерский отчет о прегрешениях и провинностях Зухура.

— Раздулся от гордости, как лягушка. Я тогда учился, а отец рассказывал — Зухур вначале в кишлак часто приезжал, вроде мать проведать, а на самом деле, чтобы покичиться перед односельчанами. Ходил важный, как павлин, с моим отцом обращался неуважительно, как с нижестоящим. Потом даже мать навещать перестал. Только не повезло ему — в девяносто первом году компартию прикрыли, и остался Зухур не у дел. Чем занимался, я не интересовался, но однажды он сам у меня появился. Я в Душанбе экономистом работал. Дела неплохо шли. Зухур к тому времени в Курган-Тюбе перебрался, в Душанбе приехал по каким-то своим делам. Я-то знаю, зачем он пришел — передо мной похвастаться хотел. «Твои родичи — моим не чета. Чем гордитесь, нищие люди? Вот мой дядюшка родной, Каюм, брат отца, — большой человек. Помощь мне оказал, свое дело открываю. Потом, может, тебя к себе возьму. Ты бухгалтер, да? Посмотрим, может, бухгалтером у меня будешь». Нахвастался вдоволь и исчез. Два месяца назад опять приехал. На этот раз со слезами просил: «Гадо, помоги, я в трудное положение попал». Я спросил: «Разве вам, кроме меня, не к кому обратиться? Вы большим человеком были, в райкоме работали, неужели никаких хороших связей не осталось?» Зухур смутился, сказал: «Эти люди, поев, в солонку плюют. Добра не помнят». Я понял, что он в Пянджском районе авторитетных людей тоже против себя настроил, обидел или подвел... Я спросил: «А ваш родич в Курган-Тюбе? Ваш дядя. Он большой человек, почему к нему не обратитесь?» Зухуршо еще больше смутился, сказал: «Дядя Каюм тоже не поможет».

Прерываю:

— Только и слышу: Каюм, Каюм... Кто он такой?

— Говорят, бизнесмен. Еще говорят, вор в законе. Точно не знаю. Слышал, несколько раз в тюрьме сидел, теперь богатый человек, большое влияние имеет. Еще я понял, что Зухур перед ним тоже в чем-то виноват, раз помощи просить не решается. Ответил ему: «Если даже ваш дядя помочь не может, я как смогу?» Зухур долго юлил, наконец я заставил его признаться: он какое-то дело начал — какое, не сказал, Каюм деньги в долг дал, дело прогорело, деньги пропали, а Каюм долг не простит даже родному племяннику. Что теперь делать? Я посоветовал: «Вам уехать из Таджикистана надо». Зухур принялся на жалость бить: «Куда поеду? Без денег, без связей только улицы подметать или кирпичи на стройке носить... Уеду, дядя Каюм еще больше рассердится. Он такой человек, его люди всюду меня найдут. Я от тебя, Гадо, других слов ожидал, за хорошим советом, как к младшему брату, приехал. Ты очень умный, из любого трудного положения сумеешь найти выход». Когда змее хвост прижмут, она, как голубь, ворковать начинает. Зухур всю жизнь презрение мне выказывал. В детстве, когда я маленький был, колотил меня, обижал. За то ненавидел, что я умнее, способней...

Прерываю Гадо:

— Вечер воспоминаний потом устроишь. Дела надо обсудить.

— О делах говорю, они теперь у нас общие. Тебе мало известно, а знать необходимо многое, потому и рассказываю... Я тогда Зухуру старых обид вспоминать не стал. Зачем? Будет еще время отплатить, а я сразу вычислил, как можно его положение использовать, через него на Каюма выйти и большое дело сделать. Мне в этом деле Зухур ключом к сейфу, в котором сбережения Каюма лежат, послужил.

Его долг и родство с Каюмом большие возможности давали. Я сказал: «Не беспокойтесь, знаю способ не только долг отдать, но даже доход получить. Надо в Курган-Тюбе ехать, к вашему дяде». Зухур испугался, огорчился: «У меня надежда была, что ты что-нибудь путное придумаешь». Я ему свой замысел рассказал, как можно пастбище в наших горах использовать. Зухур сначала обрадовался, потом загрустил: «Очень сложное дело, я один справиться не сумею». Я сказал: «Поеду, во всем вам помогу. Вы только с дядей поговорите, убедите, что от него никаких затрат не потребуется. Он ничем не рискует — ни копейкой денег, а свой долг получит и даже прибыль. Вы его только об одном попросите — пусть поговорит с Сангаком, чтобы разрешил взять с мелькомбината немного муки и сахара...»

Вот кто, выходит, заварил кашу! Мышка серая, тихоня, а самим Сангаком манипулировал.

— И ты был уверен, что Сангак разрешит?

— Эх, Даврон... Представь, что хочешь разбить большой камень. Сколько ни стараешься — молот отскакивает, а камень цел. Год будешь трудиться, ничего не получится. Но если правильную точку найдешь, один удар — на куски расколется. Знать надо, куда бить.

Мысленно комментирую: «В особенности, если бьешь чужими руками», но Гадо не осекаю. Пусть вывалит до конца.

— Повез я Зухура в Курган, — продолжает Гадо. — Он трусил, боялся встречи с Каюмом, трясся от волнения, но я научил, что и как говорить. Ушел... Часа три или четыре его не было. Вернулся от своего дяди-вора измученный, встрепанный, но счастливый: «Поможет». Спасибо, конечно, не сказал. Напыжился: «Так-то, Гадо! Вот каких родичей надо иметь». Он потом постоянно случай искал, чтоб меня унизить. Завидовал, хотел доказать, что сам выход нашел. Ты свидетель, сколько раз меня на людях обижал...

Подтверждаю:

— Бывало.

— Другого не знаешь — как Зухур со мной наедине, когда рядом никого нет, разговаривал. Вежливый, ласковый: «Гадо, дорогой, не обижайся. Поневоле приходится — у горцев традиции дикие, а мне надо авторитет поддерживать». Боялся, что кто-нибудь догадается, что это я решения принимаю, а он всего лишь перед народом мои распоряжения повторяет.

— Не понимаю, почему ты терпел.

— Чтоб люди были уверены, что Зухуршо главный.

— Подыгрывал. Зачем?

— Многие недовольны. Отца будут корить: «Твой сын народ разоряет», — перестанут уважение оказывать.

— Не хитри. Я знаю, как ты к чужим мнениям относишься.

Гадо соглашается:

— Тоже правильно. Мне людские толки безразличны. Наши люди, чем их

больше притесняешь, тем больше уважают. Но необходимо все варианты заранее просчитать. Сейчас у правительства до нас руки не доходят. Правительственные войска оппозицию в Дарваз и Бадашхан загнали, но в наши горы пока не добрались. Рано или поздно — по моим рассчетам, через год-полтора — на Дарваз придут. Как думаешь, что тогда будет? Если какие-нибудь неприятности начнутся, выгоднее было, чтоб Зухур главным оказался.

— Нормально! Зухура не стало, за меня будешь прятаться? А в случае чего — подставишь.

— Что ты, Даврон! К тебе совсем по-другому отношусь.

— Не убедил.

— Выгоды нет подставлять. Понимаешь? Зухур мне требовался, чтобы поддержку Каюма получить, потом он только делу мешал. Пользы от него никакой, только вред — каюмовских бандитов с собой притащил. Каюм их послал, чтобы присматривали, не задумает ли Зухур бежать с выручкой. Придется с уголовниками разбираться, а кроме тебя никто с ними не совладает.

— Предположим. А дальше? Роль исполню, и...

Мне плевать на его интриги. Что бы Гадо ни задумал, сломаю гаденыша. Просто любопытно, какими доводами он замыслил меня вокруг пальца обвести. Пока бьет на логику:

— С тобой прибыльней дружить, чем тайно враждовать. Зухур был слабым, ты сильный. За тобой — как за крепостной стеной, не обманешь, не подведешь. Подумай: зачем мне от тебя избавляться? Но если б даже имелась какая-то причина, сил бы не хватило одолеть. Знаю, что ты сейчас думаешь... Говори, говори, — думаешь, — все равно выйдет по-моему. Так, да?

— Верно.

— Обо всем можно договориться, чтобы и тебе, и мне было хорошо. По-честному обсудить и договориться.

— Предположим. Зухур рассказал тебе, какие я поставил условия?

— Конечно. Он всегда со мной советовался.

— Так вот, договор остается в силе. Местные жители получат свою долю.

Вздыхает.

— Очень правильное условие. Только, Даврон, трудно его выполнить...

— Поднатужишься.

— Не во мне дело. Расчеты оказались неточными — Зухур, когда будущий доход посчитывал, погоду не учел. Говорил: «Мак от людей забот не требует, сам вырастает». Приехал агроном, объяснил. Растения, конечно, при любой погоде вырастут. Но для того, чтобы был большой урожай, необходимы условия. Засуха маку вредна, особенно в то время, когда бутоны образуются, а в периоды от фазы розетки до цветения почва должна быть постоянно влажной. Агроном сказал, требуется влажность шестьдесят — восемьдесят процентов. Если сеют весной и нет дождей, необходимы три полива. Дожди неизвестно, пойдут или не пойдут, а где на горном пастбище взять воду? Потому и пришлось для резерва сеять кроме пастбища и совхозных полей еще и на личных землях.

— Понимаю, к чему клонишь. Несущественно. Размер урожая ничего не меняет.

— Даврон, сам посчитай. Если малый доход делить на всех, тебе и мне почти ничего не достанется.

— Знаешь анекдот? Петух бежит за курицей и думает: «Если не догоню, хотя бы согреюсь».

Гадо натужно смеется. Придуряется, будто не понял:

— Ха-ха... Я тоже хорошие анекдоты знаю, потом расскажу. Давай сначала о деле, без шуток.

Уточняю:

— Тогда открытым текстом: местные жители получат свою долю. При любом раскладе.

— Правильно, правильно, — говорит Гадо. — Но ты еще не все знаешь. Может так получиться, что дожди все-таки польют, но позже — в начале цветения — и будут идти до периода зрелости. В итоге семян получится много, а сырца мало. Дохода на всех не хватит. Понимаешь?

— Понимаю.

Слишком четко понимаю. Это означает, что мне придется сделать выбор — деньги для Зарины или для мужиков. За нее я в ответе. Перед ней в долгу. За мужиков не отвечаю. Но если лишу их выручки, они элементарно подохнут. Вымрут от голода среди разоренных земель. И самое главное — я связан словом. Обещал выручить. Тупик. Выбрать не могу. В хаотическом мире единственный ориентир — случайность. Достаю из кармана кость. Верчу в руке, будто машинально, задумавшись. Загадываю. Пять. Роняю на дастархон. Единица! Не я выбрал. Выбор сделала судьба. Болеть виной придется мне.

Гадо ждет, что скажу. Говорю:

— Если не хватит на всех, то мне и тебе достанется хрен с маслом. Ноль целых ноль десятых.

— Неделовой разговор, Даврон.

— Неделовой. Но по делу.

Он маневрирует:

— Ты устал, поспешные решения принимаешь. Давай отложим, обсудим позже. Времени много, ты подумаешь, взвесишь...

Встаю.

— Дискуссия окончена. Я решений не меняю.

Гадо тоже вскакивает:

— Э, Даврон, подожди! Меня всегда язык подводит, говорить толком не умею. Хочу одно сказать, выходит другое. Считаю хорошо, а когда объяснять начинаю, людям трудно меня понять. Я ведь о шансах говорил. Только о том, что гарантий нет — доход от погоды зависит. От милости природы зависим: выпадут осадки вовремя — богачами станем, не повезет — ну что ж, в любом деле риск имеется. У нас говорят, иншалло — как Бог захочет. Ты, наверное, подумал, что я хочу наших людей голодом уморить... Нет, Даврон, все будет так, как скажешь. Я согласен — дискуссия окончена.

Что-то новое — Гадо о Боге вспомнил. А он торопится:

— Подожди, подожди, Даврон, не уходи, еще много вопросов надо решить... Во-первых, что делать с журналистом, который в яме сидит? Выпустить надо, но...

— Никаких «но». Прикажи освободить.

Гадо вздыхает:

— Не хочет выходить. Утром, когда Зухур уехал, я хотел его наверх поднять — на время, пусть на солнце посмотрит, свежим воздухом подышит, по

двору погуляет. В любой тюрьме прогулки разрешают. Журналист не только наружу выходить, даже беседовать отказался. «Здесь останусь» — и больше ничего не сказал. Наверное, в темноте умом повредился. Жалко человека. Поговори с ним, тебя он наверяка признает, опомнится...

Меня охватывает злость. Предупреждал же дурня: я за него не в ответе. Отвечает сам за себя. Нет, все-таки вляпался. Теперь вынуждает вмешаться. С непредсказуемыми для него последствиями. Не хочу. Может, обойдется, а может, опять придется болеть чувством вины. И бросить его не могу.

— Пошли.

Иду по двору. В загоне за сеткой неподвижно вытянулся дохлый удав. Мимоходом бросаю Гадо:

— Скажи, чтоб падаль убрали.

Подхожу к каморке, под которой вырыт зиндон. Гадо опережает меня, с подчеркнутой почтительностью распахивает дверь. В центре каморки квадратная дыра. Подхожу. Всматриваюсь в глубину ямы. Глаза после яркого солнечного света не сразу адаптируются к полутьме. Различаю внизу Олега. Сидит на земле, прислонившись к стенке. Голова опущена. Присаживаюсь на корточки. Окликаю:

— Олег!

Он вздрагивает, медленно поднимает голову. Хрипло произносит:

— Ты настоящий? Или только кажешься?..

Мощный удар в спину. Толчок швыряет меня грудью на противоположный край проема. Ноги проваливаются в пустоту. Успеваю схватиться за окаемку. Повисаю. Под пальцами — деревянная рама, припорошенная землей. Осыпаются камешки, сухие комочки. Пальцы скользят. Едва удерживаюсь. Поднимаю взгляд вверх. Сразу же зажмуриваюсь. Сверху летит песок, пыль. Режет глаза. Мельком, за сотую секунды успеваю увидеть подошву башмака. Острая боль. Гадо каблуком сбивает мои пальцы с рамы.

25. Джоруб

Четвертые сутки пошли с того злосчастного дня, когда я отвез Зарину в логово Зухуршо, и все это время меня терзали и терзают, не отпуская ни на миг, страх за ее судьбу и стыд за мое малодушие.

Отец по-прежнему болен. Молчит. А Вера... Было бы, наверное, легче, если б произнесла хоть слово упрека, но она молчит. Безмолвие поселилось в нашем доме, тишина, как перед грозой.

И вчера наконец грянул гром.

Возвращаясь от Мирзорахмата, у которого занемогла корова, я услышал рокот вертолета. Пока гадал, куда он направляется, вертолет косо снизился и завис над нашим домом. Я подоспел как раз вовремя — с оглушительным ревом он опускался на маленькое поле за задним двором. Со всех сторон сбегались ребятишки. Соседи вышли на крыши, чтобы поглядеть на летающую машину, которая последний раз приземлялась в кишлаке лет десять назад, когда можно еще было вызывать санитарную авиацию. Дильбар с детьми Бахшанды стояла у забора.

Винт остановился. Дверь открылась, вышел Даврон и крикнул:

— Подойди.

Я подошел. Даврон заглянул в раскрытую дверь и сказал:

— Подавай.

Высунулся конец переносных брезентовых носилок, которые употребляют в «скорой помощи». Даврон взялся за ручки и вытянул носилки почти до самого конца. Лежащий на них был закутан в цветное вышитое покрывало, лицо прикрыто чем-то вроде марли. Должно быть, мне привезли на лечение больного или раненого.

Я сказал:

— Вы ошиблись, я ветеринар, а не врач. Вам в нижнее селение, в Ходжигон, надо лететь. Там есть медбрат. А лучше — в Калаи-Хумб...

— Берись за носилки, — приказал Даврон.

В дверях вертолета показался русский военный и, нагнувшись, выдвинул заднюю часть носилок на самый край проема. Я перехватил у него ручки и удивился, сколь легким оказался неожиданный пациент.

— Понесли, — Даврон двинулся к калитке.

Топча посевы, мы пересекли поле и вошли на наш задний двор. Ребятишки стайкой следовали за нами, возбужденно перешептываясь.

— Говори, куда заносить, — распорядился Даврон.

— В мехмонхону. Прямо через дом, потом...

— Знаю, — оборвал меня Даврон.

Мы прошли через дом, в переднем дворе свернули налево к мехмонхоне. Мухиддин, сынишка Бахшанды, забежал вперед и распахнул дверь. Мы, не снимая обуви, вошли в гостевую, поставили носилки посреди комнаты.

— Зови старуху. В темпе, — приказал Даврон.

Я не понял.

— В доме нет старых женщин.

— Да не в доме, — нетерпеливо сказал Даврон. — В кишлаке. Кто тут у вас знахарка? Знаменитая.

Я понял, о ком речь.

— Хатти-момо.

— Факт. Вот ее и зови. Побыстрей.

Я велел Мухиддину, сынишке Бахшанды, который стоял на пороге и сгорал от любопытства:

— Беги к старой Хатти-момо. Скажи, Джоруб просит прийти как можно скорей.

Мухиддин убежал. Даврон взглянул на часы:

— Далеко старуха живет?

— Не очень. На нашей стороне. Старушка древняя, бегать уже не в силах.

Не промолвив ни слова, он шагнул к выходу.

— Кто это? Кого вы привезли? — крикнул я вдогонку.

— Зарину, — ответил Даврон, не оборачиваясь. — Облила себя керосином и подожгла.

Не спрашивайте, что я почувствовал. Я образованный человек, знаю, горе — болезнь души. Но лучше сорваться в пропасть, кости переломать, лучше чумой заразиться, проказой, лучше от тифа умирать, чем страдать от этой болезни. Я, словно старик, дрожащую руку протянул, хотел марлевое покрывало с лица Зарины откинуть — силы не хватило. Стоял, от боли стонал...

Дильбар потихоньку вошла, остановилась рядом.

— Не убивайтесь, Бог захочет, все обойдется. Сейчас Хатти-момо придет, посмотрит, скажет... Может быть, и не очень опасно, может, вылечит.

Ответить не смог — спазм сдавил горло, дыхания недоставало. Не знаю, сколько времени прошло. Прибежала Вера с верхнего поля. Ворвалась в мехмонхону.

— Это не она! Какая-то ошибка... Не может быть, чтоб она!

Боязливо откинула марлю, увидела лицо, замерла. Бессильно опустилась у изголовья и окаменела. Я вышел, не смог вынести тяжести ее скорби.

Во дворе толпились, перешептываясь, соседки. Наконец привели Хатти-момо. Две женщины поддерживали ее под руки, двигалась она медленно и осторожно, но держалась очень прямо. Белоснежное платье до пят и головной платок обветшали от бесчисленных стирок, были сшиты, казалось, из хирургической марли. Я словно малый ребенок на нее смотрел, с детской надеждой. Непонятную силу чувствовал в ветхой старушке, силу выветренного камня. Тысячелетиями разрушали его высокогорное солнце с ледяным ветром, одолели, вылущили все бренное и непрочное, с несокрушимой основой не совладали.

Старушку ввели в мехмонхону, я вошел следом. Хатти-момо присела в головах носилок по другую сторону от Веры, откинула широкий белый рукав, хрупкими темными пальчиками прикоснулась к лицу Зарины, сказала:

— Пусть все выйдут.

Я, преодолев оцепенение, сказал:

— Пойдем, Вера. Хатти-момо хочет, чтобы мы ушли.

Она проговорила глухо, безжизненно:

— Я мать. Я должна остаться.

Я перевел.

— Мать пусть тоже выйдет, — сказала Хатти-момо.

Я бережно обнял Веру за плечи, поднял и повел. Калека вел калеку, больной вел больную... Потянулось время, мы ждали во дворе, не отводя глаз от двери мехмонхоны. Соседки тихо переговаривались:

— Скажет: «Буду лечить», тогда есть надежда. Молча уйдет — значит, помочь нельзя.

— Эх, сестра, один Бог знает. Говорят же: некто всю ночь у постели больного проплакал, наутро сам умер, больной жив остался...

Дверь наконец открылась. Вера словно очнулась, кинулась к Хатти-момо:

— Что?!

— Буду лечить, — сказала знахарка.

Она подозвала помощницу, перечислила, какие из трав и снадобий следует принести, и вновь уединилась с Зариной. Соседки постепенно разошлись. Хатти-момо несколько раз выглядывала из мехмонхоны, ставшей больничной палатой, и требовала то горячей воды, то старый железный серп — непременно старый, сточенный почти до обушка, то свежего коровьего навоза... Поздно вечером она приказала не входить к Зарине, чтоб не тревожить, сказала, что придет утром, и удалилась, опираясь на помощницу.

Вера к этому времени нервно расхаживала по двору, беседуя сама с собой:

— Нет, я не понимаю, почему он сюда привез, почему не в город?! Ну хотя бы в Калаи-Хумб. Там все же врачи. Наверное, военный госпиталь есть. А эта

старуха... Она же едва дышит. Ее саму надо реанимировать, а туда же — лечить... И чем? О, господи, навозом!

Неожиданно Бахшанда сказала с непривычной мягкостью:

— Сердце понапрасну не надрывай, Вера-джон. Она хорошо лечит. К ней много людей даже из Калаи-Хумба, из Дангары, отовсюду приезжают. Тамошние врачи не могут, а Хатти-момо умеет. И Зарину вылечит...

Вера вдруг взорвалась.

— Не притворяйся, что за нее волнуешься! — крикнула она яростно. — Я знаю, ты Зарину терпеть не можешь. Ты ее ненавидишь. И это ты, ты сломала ей жизнь. Все беды начались с твоей идиотской затеи с замужеством...

Неукротимая Бахшанда против обыкновения промолчала. Должно быть, понимала, какими тягостными для близких путями изливается порой горе. Меня тоже переполняло желание проклинать Бога, судьбу и обвинять всех домашних, но я укротил себя и терпеливо переносил страдание, ибо терпение — тусклый факел, который освещает наши жизни.

Вера продолжала бушевать:

— Не понимаю, не представляю, как можно жить так, как вы живете. Вы своих девушек замуж выдаете — точно коров на случку гоните... И ты тоже, — она с ненавистью обернулась ко мне, — и ты тоже... Ветеринар! — последнее слово она выкрикнула с презрением, как оскорбление.

Я принял укор с благодарностью — он был сродни тем жгучим лекарственным средствам, что оказывают, говоря языком медицины, отвлекающее воздействие и приглушают главную боль.

Вера прошагала к мехмонхоне, открыла дверь и скрылась внутри. Я войти не решился, хотя не видел разумного смысла в запрете Хатти-момо. В кишлаке говорят, она лечит не столько зельями, сколько джоду, колдовством, магией. В магию я, разумеется, не верю, но все-таки не хотел рисковать...

Ночь промаялся, рано утром решил забыться в тяжелой работе. Взял кетмень, лопату, поднялся к верхнему полю, которое Вера с детьми полностью расчистили от камней. Остался только вросший в землю обломок величиной с откормленного барана. Одному человеку с таким не справиться, разумнее было оставить лежать посредине поля. Так обычно и поступают. Я же взялся за бессмысленную работу — начал окапывать валун, чтобы впоследствие выкатить его из ямы, используя жерди как рычаги. Через какое-то время пришла Дильбар. Остановилась и молча наблюдала за моими усилиями.

— Что? — спросил я, не оборачиваясь.

— Наши мужики вернулись с пастбища, — сказала Дильбар. — Сказали, что Зухуршо мертв. Они, наверное, его убили. Народ возле мечети собирается. Наверное, вам тоже нужно пойти...

Я продолжал копать. Она постояла немного, затем ушла. С удивительным равнодушием выслушал я сообщение о смерти Зухуршо, однако весть, подобно зерну, постепенно набухала в темных глубинах скорби, а затем внезапно проросла вспышкой мстительной радости. Одновременно пробудилось и любопытство. Меня охватило нетерпение, бросив лопату, я зашагал вниз.

Вошел на задний двор, чтобы смыть пот и грязь, и вдруг услышал тихий шепот:

— Джоруб, эй, Джоруб...

Ворота коровника были приоткрыты, я распахнул их и увидел Шокира. От

неожиданности я расхохотался. Слышал словно со стороны свой злой смех, звучащий как рыдания. Не в силах сдержаться, выплескивал боль, тревогу, напряжение. Не понимал, смеюсь или плачу.

Внезапно умолк. Холодная ярость захлестнула сердце. Шагнул к нему, занес кулак. Шокир съежился. Но рука не подчинилась, дрожала от напряжения, застыла, не ударила. Ненависть во мне кипела, тело не повиновалось.

— Друг, не бей, — пролепетал Шокир. — Помоги...

Словно чары с меня снял этими словами. Рука опустилась, а разум одобрил, что не ударила слабого.

— Друг, — повторил Шокир, — друг, помоги.

Жалобная просьба вдруг напомнила мне далекие времена детства, а он, увидев, что я разжал кулак, быстро заговорил:

— Ты, Джоруб, здешних людей знаешь. Горцы! Гордые, скупые, недобрые... Завидуют, злобствуют, что Зухуршо меня начальником над ними поставил. Теперь-то осмелеют. Зухуршо боялись, а на мне отыграются, свой подлый, жестокий нрав выкажут...

Гнев мой внезапно сменился любопытством. Я не сомневался, что Шокира уже ищут, спросил:

— Как же ты сюда-то сумел добраться?

Живет он на той стороне реки, путь оттуда — через все селение.

— Бог спас, — сказал Шокир. — На вашей стороне, у вдовы Шашамо ночь провел. Когда про Зухуршо услышал, то задами, верхней тропой к тебе прибежал.

Он расправил узкие плечи.

— Я знаю тебя, Джоруб. Знаю, какой ты человек. Не выдашь, убеждения не позволят. Ты даже ударить не смог — воспитание как наручниками сковало. И сердце мягкое, твердости в тебе нет. Жалостливый ты. А потому спрячешь, из кишлака выведешь...

Говорил он снисходительно, но жалкой была его надменность. Я сказал:

— Плохой ты психолог. Спасать не стану, хотя и не выгоню. Сиди здесь, хоронись от людей. Только лучше тебе с толпой мужиков встретиться, чем с Бахшандой или, пуще того, с Верой.

Он усмехнулся:

— Как-нибудь совладаю.

Обычно я не находчив на слова, но сердце подсказало, как ответить:

— Твоя правда, против женщин ты герой. Однако наших не знаешь. Найдут тебя — как стручок гороха вылущат.

Вмиг слетели с Гороха надменность и снисходительность, он оскалил зубы, готовясь укусить издевкой, но я вышел из коровника, оставил его злобствовать в одиночестве.

Спускаясь к площади, издали услышал гул голосов, а подойдя к толпе, рассмотрел из-за голов стоящих впереди мужиков, что перед дверью мечети лежат на земле носилки, наскоро связанные из веток и двух тонких стволов. На носилках — завернутое в старое одеяло тело. Я понял, что это труп Зухуршо, принесенный с пастбища. Рядом стояли, горделиво выпрямившись, Шер, совхозный шофер, и Табар, его товарищ. Одеты они были по-охотничьи в короткие, туго подпоясанные халаты, на ногах — обмотки, за спину закинуты на ремне автоматы. Они-то, орлы, удальцы, должно быть, и одолели Зухуршо.

Я прислушался к разговорам в толпе. Шел начавшийся до моего прихода спор о том, как теперь жить. Одни кричали:

— Каждый пусть свою землю заберет.

— А совхозные земли? С ними как быть? — возражали другие.

— Да что земля?! Все посевы Зухуршо погубил. А заново сеять нечем. Зерна не осталось, картошки нет, ничего нет...

В это время заговорил Шер, народ умолк.

— Покойный Зухуршо плохим человеком был, — сказал Шер, — но глупым не был. Народ угнетал, но свое дело правильно делал. Он хорошо сказал: «Если земли мало, надо золото сажать...» Почему бы нам к хорошим словам, хоть и плохим человеком сказанным, не прислушаться?

— Эй, Шер, про кукнор говоришь? — крикнул кто-то.

— Называй, как хочешь, — сказал Шер. — Я золотом называю. Может, даже платиной назову, потому что у нас земли теперь много будет. Пастбище у вазиронцев назад отберем, кукнором засеем. Вазиронцы против нас — что лягушка против слона. Наступим, раздавим. Мертвый Зухуршо на помощь им не придет, а у нас оружие есть, — он скинул с плеча автомат и потряс им над головой. — Скоро, когда завал разберем, двенадцать калашей молодежи раздадим...

Молодые парни, которые кучкой теснились на левом крыле толпы, засвистели, загикали. Взрослые мужики усмирили их суровыми окриками. Молодые слегка притихли, а вперед вышел престарелый Додихудо и сказал:

— Мы, старики, разрешения на это не дадим. Пастбище нельзя распахивать, пастбище — не земля. Зухуршо хотел распахать, но Зухуршо — он... Он был...

Не нашел слова и презрительно плюнул.

— Не разрешите?! — воскликнул Шер. — Мы не спросим. Как замыслили, так и сделаем. Ваша власть уже прошла. Раньше, может быть, правильным было стариков слушаться. Теперь по-другому. Жизнь совсем другая, а вы думаете, что все по-прежнему осталось.

Присмиревшая было молодежь вновь засвистела.

Мне впервые пришло в голову, что молодые, воспитанные в почтении к старшим, и в прежнее время втайне глядели свысока на стариковскую немощь, на медлительность, тугоумие и, главное, угасшую мужскую силу. За почтительностью всегда скрывалась снисходительность. Теперь же, когда интересы младости и старости столкнулись, тайное вырвалось на волю.

Молодежь засвистела, а Шер закричал:

— Эй, люди, на своих земельках выращивайте для пропитания кто что захочет. Но пастбище мы заберем. Совхозную землю тоже. Кто захочет, пусть к нам со своей землей присоединяется.

Вновь разразились крики и споры. Престарелый Додихудо вновь поднял руку, требуя тишины:

— Совхозные земли из дедовских наследственных земель собраны. Хоть время и прошло, но мы помним, кому в бытность каждое из полей принадлежало. Каким Ахмад владел, каким — Махмад. Эти земли надо прежним владельцам вернуть.

Шер усмехнулся:

— Вы сами сказали, почтенный: время прошло. А я скажу: в реку можно любые помои вылить, вода три оборота сделает и чистой становится. Время

действует так же. С той поры, когда Ахмад с Махмадом землями владели, время столько оборотов совершило, что совхозная земля давно от права собственности очистилась, ничейной стала.

Престарелый Додихудо, его не слушая, продолжал:

— У Зухуршо запас был. Мука была, сахар был. Масло хлопковое обещал привезти. А у тебя что есть? Землю под кукнор забрать хочешь, а подумал ли о том, что люди есть будут?

— Горох! — закричал простодушный Зирак. — Горох!

— Глупые шутки брось, — осерчал престарелый Додихудо. — Горох вырастить, тоже земля нужна.

— Зачем земля? — крикнул Зирак. — Уже появился!

Он отирался на краю толпы и первым усмотрел удивительное явление, которое от прочих скрывал правый угол мечети. Вниз по улице, ведущей к площади, брел Шокир, хромая и запинаясь, словно смертник к месту казни.

Мой зять Сангин, стоявший со мной рядом, засмеялся:

— Эха! Мыши горошину выронили, искали, искали, весной сама нашлась — проросла.

Я-то знал, где прятался Горох, но, как и прочие, изумился неожиданному появлению. Удивительным было то, что Шокира конвоировала Вера, моя золовка. Она шла позади с дедовским мультуком и подгоняла пленника длинным стволом. Ребятишки, шнырявшие в толпе, с воплями бросились навстречу.

Мужики заулюлюкали, засвистали, загоготали:

— Охо-хо, хо-хо-хо...

— А-ха-ха-ха...

— И-хи-хи-хи...

Вера дотолкала Шокира до середины площади, огляделась растерянно, увидела в толпе знакомое лицо и пошла ко мне.

— Вот, привела.

— Вера, как ты его добыла?!

Мужики обступили нас, раскрыв рты от любопытства. Веру била дрожь, она говорила быстро, почти захлебываясь:

— Ты знаешь, пришла старуха, выставила меня из комнаты... где Зарина... Я теперь готова выполнить все, что она потребует. Понимаю, что глупо, но только на старуху надеюсь. Я ушла. Не знала, куда деваться, места не находила. Вышла на задний двор. И вдруг услышала, в коровнике шаги, будто там кто-то ходит. Я почему-то подумала, что это ты вернулся. Заглянула и увидела его. Он стоял у стены, где все эти сельскохозяйственные железки, и трогал серп. По-видимому, собирался снять с гвоздя. Услышал скрип ворот, повернулся и посмотрел. Знаешь, он усмехнулся... Злобный, страшный. И еще серп... Я убежала... Ты не думай, не испугалась, я стала думать, что делать. В доме ни души, только твой отец больной, даже дети убежали... А этот?! Зачем он пришел и прячется? Что задумал? От него всего можно ожидать. Как его прогнать? Ты же сам видел, он с этим сильным мужчиной... как его... сельсоветом справился. Нужно какое-нибудь оружие. Не уполовник, не сковородка... Я побежала в каморку, где у вас ружья хранятся. А там пусто — только вот эта древность.

— Вера, мультук не заряжен...

— Подожди, подожди... Я знала, что не заряжен. Я не собиралась стрелять.

Только прикидывала: как бить? Ружье длинное, тяжелое. Если с размаха, прикладом — слишком медленно. Он или увернется, или схватит и вырвет из рук. Решила: ткну стволом в живот. Вошла, он засмеялся и сказал: «Дура баба». Если бы не презирал, не думал, что глупая и слабая, то, наверное, сумел бы увернуться. А тут я как ударю! Влепила ему прямо в брюхо. Он согнулся, а я — стволом по спине, по горбу. Получилось очень неловко, тогда я перехватила ружье и ударила прикладом. Он упал и лежал на боку, согнувшись. Я зашла сзади, чтоб он как-нибудь не отнял ружье, и стала думать, как быть дальше. Выставлю со двора, а он незаметно вернется и бог знает что сотворит. Лучше всего отвести к мужчинам, пусть разбираются. Насколько знаю, с ним многие желают свести счеты. Приказала ему: «Вставай, пойдешь к людям, на площадь». Он меня обругал, а я пригрозила: «Не встанешь, голову тебе разможжу».

Знаешь, потом, когда мы шли, я сама себе удивлялась. Будто это не я, а кто-то другой. Будто страшное кино смотрела и одновременно говорила и действовала. Убить я, конечно, не убила бы. Не смогла бы... Хотя, не знаю. Зарина там, в комнате, лежит, а он... Он-то думал, что обманет по дороге. Несколько раз пытался заговорить мне зубы, но как только открывал рот или начинал поворачиваться, я толкала в спину стволом: «Побежишь или дернешься, ударю в позвоночник, сломаю». Он, кажется, поверил...

— А ты бы ударила?

— Не знаю... Наверное, у меня был такой голос, что он поверил... Может быть, и ударила бы. Ты не представляешь, какая во мне злость кипела... Да, я бы ударила! Никогда не прощу ему, ведь это он виноват в том, что случилось с Зариной... — она замялась на миг, затем произнесла твердо: — Тоже виноват...

В сотый, должно быть, раз я подивился этой женщине.

— Ай, Вера-джон, молодец! — закричали мужики.

Она оглянулась с недоумением, зябко повела плечами и двинулась через толпу по направлению к нашей улице. Я позвал ее:

— Вера.

Словно и не слышала. Вновь замкнулась в безмолвном скорбном одиночестве.

Шокир тем временем ждал своей участи. Понурая поза говорила, что он приготовился к худшему. Нахохлился, скрючился, перекосился сильнее обычного. «Жалость вызывает, хитрец», — догадался я, заметив зоркие косые взгляды, которые Горох то и дело бросал на односельчан. А мужикам было не до расправы. Насмехались вяло, без особой злобы:

— Эй, асакол, тебя женщина командовать привела. Почему не командуешь?

— Нас в тупик завел, объясни, как выходить...

И Шокир завел старые песни.

— Меня вините, насмехаетесь... — проговорил он с притворной горечью. — А бедный Шокир в чем виноват? Я когда про смерть Зухуршо узнал, к народу пошел. По дороге эта женщина меня встретила... Зачем ружье взяла, зачем угрожала — не знаю. Я-то спешил, думал: как людям помочь? Всегда о народе душой болел...

— Неправду говоришь! — крикнул Сельсовет. — О том только заботился, чтоб Зухуршо угодить.

— Эх, Бахрулло, Бахрулло, сначала свой воротник понюхай, а потом у других недостатки ищи, — грустно укорил его Шокир. — Ты разве в советское

время приказы начальников не выполнял? Разве не угождал? Если бы тебя Зухуршо старостой назначил, ты и Зухуршо бы подчинился. Хочешь не хочешь, а власти покоряться приходится.

Народ загудел, потому что толика правды в ответе Гороха имелась. Однако у лжеца даже правдивое слово — ложь.

Шокир, между тем, приободрился, голос окреп:

— Если что дурное происходило, то не по моей воле. Зухуршо обещал: «Пороги будут из золота». Я о том же мечтал. Знать не знал, как далеко разорение зайдет. Это он, Зухуршо, виноват. Его вините.

— Ты наши поля разорять помогал, — крикнули из толпы.

— Что мог поделать? — сокрушенно вымолвил Шокир. — Распоряжения получал. Но вы, люди Талхака, тоже приказы Зухуршо выполняли. Себя почему не вините? Я ни одной грядки, ни одного ростка не сгубил. К мотыге даже не прикасался. Вы сами, собственными руками свои поля опустошили. Лопатами и мотыгами посевы перекапывали. И что же? Сначала меня осудите, потом лопаты и мотыги судить начнете?..

Мужики негодующе заворчали, всех сильней возмутился простодушный Зирак:

— А кто нас выдавал?! Ты боевиков Зухура повсюду водил, земли показывал. Каждый клочок в горах, каждый малый огородик. Без тебя не отыскали бы. Хайвон, предатель!.. — захлебнулся от гнева и, не найдя, как еще выразить негодование, нагнулся, подобрал камешек и швырнул в Гороха.

Правда, не попал — сил не хватило добросить. Молодежь радостно завопила:

— Незачет!

— Дед, вторую попытку бери!

Из левого края толпы, где сгрудились юнцы, вылетел камень величиной с яйцо, ударил Шокира в грудь.

— Учись, дед Зирак. Вот как в цель надо бить...

Горох вскрикнул, отшатнулся. Женщины ахнули.

Вылетел новый камень и угодил несчастному Шокиру в ногу. Молодые заржали:

— Э, опозорился, Бако, в команду стариков переходи.

Сам на себя накликал беду Горох. Увлекся оправданиями, неудачное выбрал время перекладывать вину на народ. Вряд ли все без исключения мужики одобряли бесчинство, но юнцов ни один не одернул. И молодые распоясались, чего не посмели бы еще месяц назад. Порча, которую занес к нам Зухуршо, заразила и старших, и младших. Несколько парней уже шарили по земле, искали подходящий для метания снаряд. Миг, и станет Шокир мишенью для разгулявшихся йигитов.

И тут словно щепка с крыши упала. Неожиданно раздался пронзительный свисток, из толпы выскочил Милис*а*, наш деревенский дурачок, подбежал и заслонил собой Гороха. Высоко подняв полосатую палку, он сурово уставился на народ... Да, печальны времена, когда одно только безумие противостоит неразумию.

— Эй, девона, отойди! — закричал Дахмарда, здоровенный детина, готовясь к броску.

К тому моменту мудрость уже опомнилась. Престарелый Додихудо крикнул Дахмарде гневно:

— Э, пес! Камень положи. Кто бить позволил?

Парень не посмел ослушаться, неохотно опустил руку, а престарелый Додихудо обратился к народу:

— Прежде, чем этого человека наказывать, мы разобраться должны, виноват он или не виноват. Если виноват, следует решить, в чем виноват и какое наказание за эту его вину назначить. Если не виноват, обижать — грех.

— Правильно! — выкрикнул Горох из-за спины дурачка.

Я-то понимал, что Додихудо не столько к справедливости взывал, столько утверждал пошатнувшееся главенство. Наверное, все это понимали.

— Выходит, если козел огород потравил, надо повестку ему вручить, в районный суд отвести. А палкой поучить грешно. Так что ли? — спросил Сельсовет.

— Не нужно суда! — прокричал простодушный Зирак. — И без того знаем: виноват.

Мужики загудели. Заговорил Шер, который до той поры молчал:

— Уважаемый Зирак верно сказал. Общее мнение выразил — виновен Шокир. А еще прежде уважаемый Зирак правильное наказание предложил...

— Это какое же? — спросил Зирак.

— Камнями побить, — ответил Шер. — Так вы, уважаемый, давеча предложили.

Никогда прежде простеца уважаемым не именовали. Зирак гордо огляделся и подтвердил:

— Да, я так предложил. Камнями.

— Самосуд! Беззаконие! — вскричал престарелый Додихудо.

Роковым для Шокира стало его заступничество. Не вмешайся он, самое худшее — поколотили бы злосчастного Гороха и прогнали из кишлака. Теперь же Шер пошел наперекор Додихудо. Оба они, как на козлодрании, рвали Шокира друг у друга из рук — боролись не за жизнь его или смерть, а за первенство.

— Самосуд? — переспросил Шер. — Нет, мы судить не станем. Пусть шахид его судит, — и он указал на тело, лежащее на грубых носилках.

Я был ошеломлен. В наших местах шахидами — кроме тех, кто погиб за веру, — почитают также убитых молнией, погибших при несчастном случае или умерщвленных насильственной смертью. Но у кого повернется язык назвать шахидом Зухуршо? Я тронул плечо Сангина, моего зятя:

— О ком говорит Шер? Кто этот покойник?

— Карим, сын Махмадали, — ответил Сангин. — При жизни Тыквой прозывали. Э, шурин, да ты как из пещеры вышел...

Со вчерашнего дня я вправду блуждал по подземельям печали, ничего не слышал вокруг, ничем не интересовался. На время забылся, но слова Сангина вернули меня к горестным мыслям, и чтобы их отогнать, я продолжил распросы:

— А Зухуршо? Он где?

— Голова его в том мешке, — Сангин указал на небольшой куль у Шера под ногами.

Его слова прозвучали странной загадкой, разгадку которой мне довелось узнать позднее, после похорон шахида, когда мой друг Ёдгор поведал рассказ о

том, что произошло накануне. Собралось множество слушателей, и Ёдгор начал, как обычно, издалека:

— Вы знаете, что вчера к нам Зухуршо явился. Сами видели, как мешки и ящики на ослов погрузили, как Зухуршо на лошадь сел, со своими йигитами на наше пастбище отправился. Я тоже на площади был, смотрел, примечал. Палатки, колья с собой везут — следовательно, ночевать собираются. Может быть, день-другой на пастбище проведут. «Подготовиться успеем», — подумал.

Шера подозвал. Молодой, смелый, в армии служил. Он спросил: «Что задумали, ако?»

Я сказал: «Назад пойдут, мы их встретим».

Он сказал: «Ако, у нас оружия нет. Если что-нибудь и спрятано, то разве, пожалуй, старый дробовик... А у них десяток автоматов. Пусть даже повезет — Зухуршо застрелить сумеем, боевики потом весь кишлак перебьют». Я сказал: «У нас посильнее автоматов оружие имеется. Дедовское оружие. Времени терять не станем, сейчас и тронемся. Еще одного человека возьмем. Троих достаточно».

«А что за оружие?» — Шер спросил.

«Увидишь».

«Табара позовем, — Шер предложил. — Он парень сильный».

Собрались в путь — каждый платком с завернутой в него лепешкой перепоясался, обмотками ноги туго перетянули, мех с водой, топоры, веревку взяли и пошли Зухуршо воевать.

До могилы поэта Хирс-зода поднялись, заметить успели, как далеко впереди хвост каравана мелькнул и за поворотом тропы скрылся.

Затем до Дахани-куза — Кувшинного горла — дошли, с тропы свернули, по узкой расщелине пролезли. В том месте оказались, где скала, как отвесная стена, возвышается. Разулись, обувь и мех с водой на спину забросили, топоры за пояс заткнули, свернутую веревку через плечо перекинули и вверх по скале карабкаться начали. За выступы в камне, за трещины руками и ногами цеплялись, как ящерицы, по стене ползли. Тяжело было лезть, опасно, однако иным путем туда, куда мы направлялись, никак не доберешься...

В старые времена, когда Шухрат-палвон с тремя товарищами с войском Курбонбека, эмирского миразора, воевал, на той стене у одного юноши по имени Нур из-под ноги камень выскользнул. Нур со скалы упал и разбился. Рассказывают также, что в более давние годы еще три человека сорвались и убились, но я в эти рассказы не верю и правдивыми их не считаю, потому никто не может точно сказать, когда это было, с кем воевали и как тех людей звали.

Мы-то, спасибо Богу, живыми и невредимыми до самого верха добрались. Передохнули немного, затем по гребню Хазрати-Хусейн дошли до Джои-Сангборон. Среди скал на краю гребня — небольшая площадка. В старину сказали бы: как раз, чтоб одной тюбетейкой ячменя засеять...

В этом месте рассказ Ёдгора прервал Лутак, педантичный старик, который лучше, чем кто-либо из слушателей, разбирался в старинных мерах и тем не менее потребовал:

— Ты по-нынешнему размер назови.

— По-современному, — пояснил Ёдгор, — сотка приблизительно. Будь путь ближе и легче, здесь бы непременно кто-нибудь махонькое поле распахал, не беда, что площадка к обрыву кренится.

Вышли мы на нее, я сказал: «Пришли».

Шер и Табар огляделись, спросили: «Где же оружие?»

Я сказал: «На край станьте, взгляните».

Они подошли, заглянули. Склон круто вниз спускается. В глубине, у подножия, по узкому обрывистому берегу Оби-Талх тропа бежит. И до противоположного склона рукой подать — хребты-близнецы совсем близко сходятся, ущелье в узкий проход сжимают.

Я сказал: «Вот это оружие и есть» — и с молодыми политбеседу провел.

Предки наши с давних времен врагов в ущелья заманивали, засады на них устраивали. Наверху — в таких, как это, покатых местах на самом краю обрыва вдоль кромки бревно закрепляли, а позади, впритык к нему большую кучу камней наваливали. Когда бревно убирали, камни лавиной вниз сходили, врагов убивали, рассеивали. Поэтому так назвали — сангборон, каменный дождь. Против сангборона даже Искандар Македонский бессильным оказался. Не выдержали его отряды, бежали с Дарваза.

Молодые сказали: «Рассказы стариков слышали, но своими глазами не видели, потому не признали».

А мне раньше даже не снилось, что сам к древнему оружию прибегну. В Талх-Даре за него в последний раз брались лет семьдесят назад. Тогда слух среди народа разнесся, что на Талхак с большим войском Мамадамин идет. Не знали, за кого воюет — за Анвар-пашу, за большевиков, против красных или просто народ грабит, однако подготовились. Мужики решили: если появится, отведем женщин и детей на пастбище, а погонится вслед, обрушим сангборон. Не пришел Мамадамин. Зачем ему наше бедное селение? Ложными оказались страхи, а поэтому я надеялся, что груда камней осталась с тех пор неистраченной. Не подумал о том, что за десятки лет деревянный затвор сгниет, разрушится, камни постепенно вниз скатятся. Так и случилось. Пришлось новый заряд налаживать.

На восточном краю поляны одинокое дерево стояло — хубак, ясень. Такой высокий, что, казалось, до неба достает. Откуда в диком месте ясень появился? Наверное, наши древние предки специально несколько саженцев посадили, потому что бревно туда не затащишь. Ясень триста лет живет, и никто не знает, сколько деревьев за прошедшие столетия на сангборон изведено. Ныне один только этот хубак остался.

Мы ясень срубили, ствол от веток освободили, на край обрыва положили, кольями закрепили. К одному концу бревна веревку привязали. Камни начали собирать, позади бревна в кучу складывать. Дело тоже непростое. Умеючи надо класть, чтобы груда до времени держалась, не рассыпалась, а в нужный момент разом вниз рухнула. Чтобы на бревно давила, но с места не сталкивала. Нам искусство это не передали. Однако разобрались, начали носить, укладывать.

Трудились долго, устали. «Может, отдохнем», — молодые предложили.

Я сказал: «Нельзя отдыхать. До вечера надо закончить. Что, если Зухуршо передумает, сегодня обратно поедет?»

Сбылись те слова. Когда солнце к хребту Хазрати-Хасан приблизилось, мы еще камни таскали, а вдали на тропе караван показался. Богу спасибо, Табар случайно заметил, сказал: «Идут». Куча уже большая была.

Я сказал: «Ладно, сколько успели, столько положили. Иншалло, хватит».

Табар сказал: «Дядюшка Ёдгор, они наших мальчишек, троих ребят, с собой повели ослов погонять. Как быть? Как мальцам вреда не причинить?»

Я ответил: «О них не беспокойтесь. Я предусмотрел».

На край лег, стал вниз смотреть, чтобы нужный момент рассчитать. Прикинул, на какую ширину лавина раскатится, какой отрезок тропы накроет. Бог или природа устроили на склоне скат, похожий на желоб, — наверху узкий, а книзу расширенный, и потому каменный поток вначале струей хлынет, а затем веером распустится, большую зону поражения охватит. Я ориентиры наметил — где голова и хвост каравана находиться должны в ту секунду, когда мы сангборон запустим.

Вскоре караван в поле зрения во всю длину растянулся. Наших ребятишек в нем не было. Однако к недоумению моему и тревоге Зухуршо я тоже не увидел, сколько ни высматривал. Пересчитал боевиков: двенадцать ушли, двенадцать возвращаются. Неужели Зухуршо один на пастбище остался? Другое объяснение в голову не пришло. Вынужден был по ситуации решение принимать. Решил: Зухуршо — как мышь в мышеловке, уйти некуда. Мимо нас не проскочит. Покончим с боевиками, потом с ним без труда разберемся.

Сигнал подал. Шер и Табар за веревку схватились, к бревну привязанную.

Меж тем первый в цепочке боевик к переднему ориентиру подходил — кусту облепихи, что на краю тропы рос. А хвост каравана уже большой камень миновал — задний ориентир. Я рукой махнул, «Огонь!» — скомандовал.

Шер и Табар силы напрягли, Бога призвали, веревку рванули. Бревно как соломинку подкинуло, вниз за каменным потоком утащило. Страшный грохот ущелье заполнил. Видел я, как враги внизу метались. Кричали, наверное, но крики гром лавины заглушал. Затем тишина наступила, только отдельные камни еще стучали, шуршали, по склону сползая, скатываясь...

Шер сказал: «Спустимся вниз, соберем оружие».

Мы к опасной скале вернулись, по которой на гребень поднимались, веревку привязали, спустились и вышли туда, где недавно тропа проходила, под каменными обломками теперь скрытая...

В этом месте рассказа Ёдгора наш мулло Раззак спросил:

— Скажи, Ёдгор, всех ли боевиков побило камнями?

Ёдгор помедлил несколько мгновений, словно задумавшись, затем ответил уклончиво:

— Когда мы уходили, живых не осталось.

Тогда мулло задал другой вопрос:

— А Тыква? Вы ведь знали, что Карим с ними идет?

Ёдгор сказал:

— Бог видит... Что делать было?

Провел руками по лицу и продолжил:

— Там люди по-разному лежали. Кого полностью завалило, кого камнем-другим придавило. Одного — того, что впереди шел и, должно быть, убежать пытался, — мы в стороне от завала приметили, мертвый железные зубы скалил... Мы принялись Карима искать, нашли, удивились, что веревкой связан. Руки Кариму развязали, кровь с его лица оттерли. Сказали: «Похоронить сегодня не успеем — солнце заходит. Переночуем на пастбище, а утром отнесем тело в кишлак. Греха в том не будет, закон разрешает: если человек умер в пути, то временное захоронение позволено».

В этом месте Ёдгора вновь перервал педантичный Лутак:

— А как же боевики? Их ведь тоже надо по обряду похоронить, заупокойную молитву прочитать, чтоб непогребенные мертвецы людям зла не чинили.

— Не наша то была забота. Народ потом соберется, похоронит, — сказал Ёдгор и продолжил рассказ: — Шахида в стороне от тропы уложили, сверху камнями прикрыли, чтобы до тела дикие звери не добрались. Затем взяли автомат покойного человека с железными зубами, собрали оружие, какое найти удалось, к пастбищу Сарбораи-Пушти-Санг поднялись.

На пастбище трое мальчишек в летовке прятались. Вначале испугались, нас узнали — обрадовались. Из них старший, Мумин, стал рассказывать:

«Сначала Карим Тыква Зухуршо убил. Потом Даврон на вертолете прилетел. У мужика с железными зубами спросил: "Где Зухуршо?" Мужик с железными зубами обмануть хотел, но другой мужик, прокаженный, сказал: "Зухуршо убит". Даврон спросил: "Кто убил?" Прокаженный мужик ответил: "Тыква убил". Даврон спросил: "Где Тыква?" Прокаженный мужик сказал: "Убежал". В какую сторону убежал, рукой показал. Даврон спросил: "Остальные где?" Мужик сказал: "Тыкву ловить ушли". Даврон в вертолет сел, прокаженного мужика с собой взял, улетел. Потом другие вернулись, которые уходили Тыкву ловить. Сели на ковер, водку открыли, стали пить. Услышали, вертолет назад летит, бутылки спрятали, на ноги вскочили. Вертолет опустился, дверь открылась, Тыква вышел. В руке что-то круглое держал. Круглое на землю бросил. Посмотрели, это голова. Тот, что с железными зубами, к Тыкве подошел, замахнулся. Даврон крикнул: "Отставить! Не трогать! Отведите в Ходжигон". Улетел.

Мужик с железными зубами приказ отдал: "Эй, пацаны, тащите сюда трупешник". Мы пошли, взять хотели, а как нести? От плеч до пояса — в крови, от пояса до ног — в дерьме. Вернулись назад. Он спросил: "Почему не принесли?" "Завернуть бы", — мы попросили. Разрешил: "Заворачивайте". В летовку вошли, в углу одеяла навалены. Самое старое выбрали. Около очага дрова лежали, Усмон три палки взял. Одеяло расстелили, палками на него кое-как с трудом закатили. Усмон сказал: "Тяжелый. Как понесем?" Я сказал: "Волоком потащим". За край одеяла ухватились, потащили. Долго тащили, притащили. Мужик с железными зубами рассердился: "Воняет. Почему не завернули? Тот маленький ковер возьмите, в него заверните". Они опять водку пить сели.

А мы когда из Талхака уходили, нам дядюшка Ёдгор потихоньку сказал: "Назад с ними не идите. Спрячьтесь где-нибудь. Тыкву тоже обязательно предупредите. Они уйдут, в летовке переночуйте, потом с Каримом домой вернетесь". Мы убежали, спрятались. Они искать не стали. Водку выпили, на лошадь ковер с телом навьючили, голову тоже забрали и ушли. Тыкву с собой на веревке повели».

Так из рассказа мальчиков мы узнали о том, что произошло, и еще сильнее горевали о смерти Карима. На пастбище ночь провели, утром спустились к месту, где его тело оставили, носилки соорудили, шахида уложили, в одеяло, какое было, завернули, сожалея, что достойного савана не нашлось, и на плечах вниз понесли. На осле не хотели его везти...

— А Зухуршо? — строго спросил педантичный Лутак. — Про его тело почему не рассказываешь?

— Когда лавина падала, лошадь, на которой труп везли, испугалась, наверное, в сторону скакнула, с берега сорвалась, в Оби-Талх свалилась. Река, наверное, унесла.

— Голову как нашли? — спросил Лутак.

— Шер нашел, — ответил Ёдгор.

Ответ объяснял, отчего Шер носил с собой мешок с головой как личный трофей. Правда, в то время, когда около мечети решалась участь Гороха, я, разумеется, этого объяснения еще не слышал и не понимал, что приватизированная голова — одно из средств, какими Шер присваивал славу Карима, победителя Зухуршо. Народ на площади не ведал, что произошло в горах. Люди, подобно мне, были убеждены: владелец головы и есть герой, избавивший Талхак от тирана.

Злую шутку сыграло с нами тщеславие Ёдгора. Готовясь к эффектному рассказу, он до самого вечера не поддавался на расспросы, не промолвил ни слова о событиях в ущелье и на пастбище. Желал поразить слушателей неожиданностью. Не хочу думать, что мой друг поддался малодушию, побоялся Шера. Должно быть, попросту не предвидел последствий скрытности. Как бы то ни было, Ёдгор промолчал даже тогда, когда Шер возгласил:

— Шахид будет судить Гороха.

А когда возразили: «Мертвые немы», — ответил:

— Я за него скажу.

Гомон разом стих, люди приготовились слушать. Не заметили подмены или признали право Шера выдавать свою волю за волю шахида.

Шер сказал:

— Не будь мертвые немы, шахид спросил бы: «Эй, люди Талхака, скажите, за какую вину следует казнить Гороха? Что это за причина, по какой он заслужил смерть?»

Мужики удивились простоте вопроса, затем принялись перебирать поводы и мотивы, сами собой разумеющиеся:

— Поля разорял...

— Самовольно в старосты пролез...

— Зухуршо помогал...

Одним словом, мысли покатились по старой колее. Шер опроверг все предположения:

— Неверно.

Общество притихло, призадумалось. Наконец простодушный Зирак спросил:

— За что же должно его казнить?

— Вам, не мне, задан был вопрос, — ответил Шер. — Вы и найдите причину, потом мне сообщите.

Однако очевидные варианты были исчерпаны. Зазвучали раздраженные голоса: «Все сказали, нет больше ничего», «Казнить и все, а эту самую причину потом, на досуге, отыщем», «Пусть теперь дед Додихудо что-нибудь измыслит», но тот угрюмо молчал.

И тогда взял слово наш раис, которого борьба между Шером и престарелым Додихудо отодвинула в тень. Теперь он решил, что настал момент показать, кто есть настоящий руководитель, и произнес важно:

— Думаю, надо казнить по той причине, что это правильно будет.

Собрание разочарованно зароптало.

— Очень уж хитроумно.

— Слишком просто.

— Небось, какой-то другой ответ имеется...

Тем временем несколько стариков и уважаемых людей окружили престарелого Додихудо, спешно совещались. Шер же подозвал одного из подростков, шнырявших в толпе, и что-то негромко сказал. Через несколько минут орава мальчишек уже таскала отовсюду небольшие камни и складывала в кучку около угла мечети.

— Гороха надо спросить! — догадался вдруг Кафтар. — Горох знает. Столько с ним вышло мороки, пусть за это помощь народу окажет.

Все повернулись к Гороху, который томился посреди площади, на время забытый. Милис*а* по-прежнему стоял рядом с корявой палкой. Охранял.

— Нет, не скажет. Зловредный он, — засомневался кто-то. — Назло нам утаит.

— Скажу! Обязательно скажу! — завопил Горох. — Знаю ответ.

Он даже на месте запрыгал от нетерпения, припадая на ушибленную ногу.

— Говори, — приказал Кафтар. — Только не обманывай...

— Причина эта — кровь, — сказал Горох. — Шеру кровь нужна, чтоб всех вас кровью повязать.

— Э, глупости, — разочарованно возразил Кафтар. — Кровь не веревка.

— Зато крепче веревки вяжет, — сказал Шокир. — Вы ведь меня убивать не хотите, каждый про себя думает: «Бог запрещает мусульман жизни лишать». Но если человека заставить через запрет переступить, его потом к чему угодно принудить несложно...

Никогда прежде не говорил он столь серьезно, без намека на шутовство и, наверное, убедил бы народ, но не устоял — заступил за черту, пересекать которую в его положении было неразумно.

— Эх, люди, люди, — проговорил со вздохом, — вечно вас вокруг пальца обводят, палками, как овец, погоняют.

Эти справедливые, но обидные слова отвратили от него сердца. Верно говорится: язык способен погубить голову. «Зачем овцами назвал?!» — даже те, кто сознавали, в какую пропасть толкает нас Шер, возжелали обидчику смерти, ибо оскорбление есть худшее из преступлений. В сторону Гороха полетели тяжелые негодующие взгляды. Богу спасибо, до большего дело не дошло, взоры все-таки — не булыжники.

Надо же было случиться, что именно в это время старики и уважаемые люди закончили совещаться. Престарелый Додихудо раздвинул народ, прошел к углу мечети, чтобы оказаться на виду, и поднял руку, требуя внимания. Так он еще раз и помимо воли оказал Гороху роковую услугу.

— О-ха! — воскликнул Шер. — Почтенный Додихудо первым бросить камень желает!

Старик гневно нахмурился, топнул ногой, но Шера перекричать не сумел, тот продолжал насмешливо:

— Оказывается, нет! Почтенный Додихудо боится, что силы не хватит. Опасается, что камешек поднять не сможет. Надо кого-то помоложе, посильнее. Ако Сельсовет, может, вы начнете?

Сельсовет молча потупился.

— Дядя Занджир, — позвал Шер.

— Дядя Каландар...

Не добившись толку от старших, обратился к младшим:

— А ты, Дахмарда?

Глуповатый удалец, который недавно забавы ради целился в Гороха как в мишень, пробормотал:

— Лицо надо бы закрыть...

— Платок накинуть или что-нибудь... — подхватили мужики.

— У меня, вроде, подходящее имеется, — сказал Джав, пастух.

Все повернулись к Джаву, а он извлек мешок, аккуратно сложенный и заткнутый сзади за поясной платок.

— Приготовил, у соседа пшена взаймы попросить.

— Ты и накинь, — приказал Шер.

Джав пошел к Гороху. На ходу он разворачивал мешок, — судя по иностранной надписи, один из тех, в которых Зухуршо привез в Талхак муку. Шокир невысок, но и Джав не велик ростом. Потоптался возле Гороха, примеряясь так и сяк, решил, что обратать стоящего во весь рост несподручно, и попросил:

— Опустись на колени, друг.

Шокир, изжелта бледный, замотал головой. Говорить, вероятно, был не в силах. Джав зашел сзади, духа не хватило готовить к смерти человека, глядя ему в лицо. По-крестьянски ладными, скупыми движениями расправил пошире горловину, чтоб плечи уместились, накинул, потащил за края и мало-помалу натянул мешок на Шокира.

Дурачок строго следил за его действиями. Когда Джав отошел, не поглядев на результат, Милис*а* одернул мешок, старательно выровнял перекошенные края и вернулся на свой пост в двух шагах от Гороха.

Страшной казалась фигура, застывшая посреди площади под покровом из мешковины. Еще страшнее было ожидание того, что вскоре произойдет. Хотелось бежать с места казни со всех ног, но я пересилил страх. Недостойно оставлять Шокира умирать в одиночестве. Пусть в момент смерти рядом окажется хоть одна сочувствующая душа. Ум негодовал на Гороха, сердце сострадало.

Должно быть, мужиков тоже устрашил вид смертника. В гробовой тишине переминались, оглядывались на Шера, словно ожидали приказа. Шер молчал.

Внезапно из-под мешка послышался хриплый голос:

— Чего ждете? Бейте!

Словно какой-то порыв ветра пролетел над толпой, как над сухой травой. Мужики на миг дрогнули, качнулись и вновь застыли. И тогда Махмадали, отец покойного Карима, тяжелым шагом прошествовал к углу мечети, порылся в куче, выбрал, широко размахнулся и швырнул со столь скорбным и ожесточенным лицом, словно бросал не камень, а упрек односельчанам. Камень ударил в мешок с глухим стуком. Шокир взвизгнул. Вскрикнули в отдалении женщины. Дурачок Милис*а* зарыдал и бросился прочь, издавая пронзительные свистки.

Вновь наступило тяжелое молчание. Наконец отважился простодушный Зирак. Подскочил к куче, схватил камень, отчаянно вскрикнул:

— Иэх! — неловко замахнулся и бросил.

Опять не добросил. Даже молодые не засмеялись.

Затем в толпе поднялся ропот:

— Э, проклятый Горох! Людей измучил.

— Даже умирать исхитрился по-особому.

Я чувствовал, как копилось, нарастало, усиливалось мучительное напряже-

ние. Достаточно вскрика, громкого звука, резкого движения, и мои односельчане не выдержат — бросятся всем скопом казнить несчастного.

В это время откуда-то из глубины толпы возник Маддох — парень нервный, слабый, болезненный — и подобно сомнамбуле двинулся к кучке камней. Мужики следили за ним с угрюмой сосредоточенностью, а он почти уже доплелся до угла мечети, когда я крикнул что было сил:

— Маддох!

Он замер на месте, будто только того ждал, чтоб его остановили. Мужики повернулись и с тем же хмурым вниманием уставились на меня.

— Нельзя Гороха жизни лишать! — выкрикнул я и умолк.

Я не знал, как удержать односельчан от ужасного деяния, в котором они будут горько раскаиваться. Что сказать? Чем их убедить? А Шер? С отчаянием я сознавал, что его гордое сердце глухо к доводам разума.

Народ мрачно ждал продолжения, затем недобро заворчал.

— Почему нельзя? — зло спросил Кафтар. — Тоже потребуешь, чтоб мы сами причину искали?

И в этот миг внезапно пришли слова. Я заговорил громко, уверенно, словно по чьей-то подсказке. Не к мужикам обратился — к Шеру:

— Эй, Шер, вот ты выращивать кукнор собрался. Подумал ли, как продавать? Знаешь ли нужных людей? Известны ли тебе цены? Умеешь ли торговаться? Мы, горцы, не торговые люди. Торговли у нас испокон веков не бывало, нам, деревенским простакам, в коммерческие дела соваться — что под зубья пилы попасть...

— Ако Джоруб, не время сейчас... — прервал меня Шер.

— Время, — сказал я. — Потом поздно будет. Собираемся убить единственного среди нас волка, который под дождем побывал. В тюрьме сидел, среди разного народа потерся. Знакомцев наверняка завел, которые темными делами занимаются...

Словно Иблис мне нашептывал. Я образованный человек, в Сатану не верю, но трудно представить, чтобы кто иной мог внушить эти сатанинские аргументы. Я видел, что Шеру они приходятся по душе. Скрестив руки на груди, он не отводил с меня взгляда — к доводам корысти его гордое сердце прислушивалось с большой охотой.

— Ум имеет хитрый, изворотливый, — продолжал я. — Случайно ли Зухуршо его старостой поставил? Такой советчик и тебе, Шер, пригодится...

— Уверены, ако, что у него знакомцы нужные есть? — проговорил Шер с сомнением.

— Спроси. Пусть он скажет.

В один миг я очутился около Шокира, сдернул мешок. Тюбетейка слетела, редкая щетина на черепе Гороха была припорошена мучной пылью, отчего могло показаться, что он поседел за минувшие несколько минут. Я спросил:

— Слышал разговор? Теперь адвокатствуй за себя сам.

Горох поковылял к Шеру. Они долго и негромко беседовали, Шер внимательно слушал Шокира, покачивая ногой сверток с головой бывшего властителя как футбольный мяч.

Народ растерянно гудел. К Табару, товарищу Шера, герою, победителю боевиков Зухура, протолкался простодушный Зирак:

— Сынок, стало быть, прощаем Гороха? Как же так? Шахид сказал...

Табар поправил ремень автомата:

— Шахид велел: «Причину найдите». Нашли?

Зирак смутился и промямлил:

— Пока не придумали.

— Коли причины нет, то и убивать нет нужды, — сказал Табар.

Мужики, что слушали разговор, переглянулись. Джав, пастух, заключил:

— Мешок, выходит, больше не нужен, — и пошел забирать свое добро.

Скомканный куль валялся посреди площади, напоминая огромный змеиный выползень. Я подумал: «Каким явится нам Горох, сменив кожу, выскользнув из смертельной оболочки?»

Да, я уберег односельчан от коллективного убийства, однако кто знает, сколько несчастий принесет в будущем мое вмешательство. В этом мире, создавая что-либо одно, всегда разрушаешь нечто другое. Чтобы испечь хлеб, надо извести дерево на дрова. Чтобы получить муку, надо раздробить зерно. Чтобы получить зерно, надо срезать колос...

Понимание жестокой диалектики мало меня утешало. Что ни говори, я принял участие в разрушении нашей прежней жизни. Хоть малым, но помог Шеру в черном деле. Спас Гороха и, хуже того, — возможно, вернул ему власть. Я мог бы, конечно, сказать в свою защиту, что развал давно начался без меня, исподволь, незаметно, когда распалась большая община, Советский Союз. Мог бы сказать, что тогда-то и поползли бесшумно первые трещины в нашей сельской общине, хотя мы не замечали, не слышали, как надламываются основы. Но это жалкое оправдание... Как теперь жить?

Что всех нас ждет? Я молил Бога, в которого не верю, чтобы он оставил жизнь Зарине. Молил, чтобы спас Андрея — наш бедный мальчик словно в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Только паршивец Теша, сын глухонемого Малаха, пришел недавно и сказал, что Андрея послали вместе с другими в Верхнее селение усмирять мужиков. Вернулся ли оттуда? Может, ранен? Жив ли? Что станется с Верой, если она лишится детей?..

А я? Андрей и Зарина заменили мне родных детей, которых у меня никогда не будет. Давно знаю, что не Дильбар тому виной. Должно быть, какой-то сбой в генетическом аппарате сделал меня бесплодным. Несчастье — смерть брата — наделило меня сыном и дочерью, которых я не сумел сберечь... Как смогу жить, если их потеряю?

Мой зять Сангин словно подслушал мои горестные мысли. Обнял за плечи:

— Да, брат, печальный нынче день. Шахида похороним, потом Додали хоронить придется... Э-э-э, шурин, да ты и этого не знал?! Сегодня утром Додали умер. Тот, что на той стороне жил. Одна беда за другой...

Не ответив Сангину, я пошел прочь. Дома свои беды ждут-дожидаются.

Солнце уже пересекло зенит. На ярко освещенной земле лежали резкие черные тени, отчего казалось, что не солнце, а луна заливает округу холодным мертвенным светом. С сокрушенным сердцем я брел вверх по крутой улице и слышал, как высоко над селением, где-то на горе, пронзительно свистит дурачок, а с той стороны реки доносится сквозь шум воды погребальный вдовий плач:

Дом мой, дом мой, разрушенный дом...

Константин Ситников

Жив человек

* * *

Есть письмена на времена,
а есть на время.
Есть подлинные письмена,
есть подленькие письмена
(и это верно).
Да, Моисеем нам даны
скрижали:
как жернова, как шестерни,
нам заповеди они
пере-
жевали.
Есть письмена на времена,
а есть на время.
А есть — как струйки по стеклу,
сама беспечность:
упали каплей — и стекли,
так ненадолго на земле...
Всего на вечность.

* * *

Писать стихи
меня учил Борис Слуцкий.
Он говорил:
«Это тебе не семечки лузгать,
хотя там тоже нужна сноровка.
Главное — язык.
Некоторые скажут: зубы.
Не хочу показаться грубым —
язык!
Без языка никто не сможет так ловко
повернуть семечку нужным бочком,
чтобы потом одним щелчком —
хрясь! — и готово».
Честное слово,
так он и говорил.

Ситников Константин Иванович родился в 1971 г. в г. Узловая Тульской области. Пишет стихи, прозу, литературоведческие статьи. Автор книг: «Словарь марийской мифологии. Том 1: Боги, духи, герои» (2006), «Геометрия любви» (2010). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в г. Йошкар-Ола.

* * *

Жив человек во мне.
Я думал, умер.
Изолгался.
Изгадился.
Ан нет.
И всё же не вполне
он жив.
Как говорит мой дядька моряк,
лёг не на тот галс.
Ошибочка вышла.
Туда его в дышло,
сказал бы дед,
безлошадный колхозник,
плоть полоть устав.
Совесть как гвоздик.
Вся загвоздка
в этом гвозде.
Так говорил Сын плотника.
И, наверно, был прав.

* * *

Строили храм — построили хлев.
Хорошо, не склеп.
Хотя... вот молебен:
в хлеву нелеп,
в склепе — великолепен.

* * *

— Держись!
— За что?
— За воздух, —
сказал парашютист.
А я как в безвоздушном
пространстве
без тебя.

* * *

Писать стихи
меня учила Эмили Дикинсон.
Она говорила:
«Мужнины счета вести —
это вам не какие-нибудь глупости,
вроде писания стихов.
(Хотя сама никогда не была замужем.)
Мир не знает других Основ,
кроме этих трёх:
Бухгалтерский Учёт,
Коммерция,
Финансы.
От стихов же одни убытки».
Говорила без улыбки,
готовя мужу обед.
До сих пор не знаю, шутила или нет
(ведь она никогда не была замужем).
Единственное, что она не подсчитывала, —
слоги в строках:
некогда было.
Умерла в 55 лет.

* * *

К вечеру устают глаза,
слабеют примерно на треть,
не желают смотреть.
Тереть бесполезно, болезные.
Мир изолгался,
стал фарсом.
Строчки свиваются в жгуты,
зиготы жути.
Хитросплетения мозга.
Буквы мельтешат как мошки,
чёрные такие,
как перед инфарктом.
Какие тут, к чёрту, стихи.

* * *

Писать стихи
меня учил Стивен Крейн.
Он говорил:
«н-н-налей...»
Заикался,
не потому, что налакался, —
просто волновался.
Он говорил:
«война добра,
чёрные всадники и прочее бла-бла-бла...»
Между тем, не срубил бабла,
не скопил добра.
в отличие, так скажем, от.
Вот.
Правда, иногда он давал крен,
этот Стивен Крейн.
Вряд ли дешёвый портвейн.
Войной навеяно,
наверно.
И вовсе не «налей», а
«н-н-на ле...»

* * *

«Ты кто?» — спросил меня кривой
на левый глаз чувак.
И я сказал ему: «Никто,
и звать меня Никак».
О, как он зол был — и в меня
булыжники швырял.
А я смеялся и, смеясь,
в Итаку путь держал.

В 2001 году в Ереване прошел первый международный фестиваль «Литературный ковчег», собравший поэтов и писателей из разных стран. Фестиваль был приурочен к 1700 -летию принятия Арменией христианства и к традиционному Празднику Святых Переводчиков. «Литературный ковчег» — это профессиональный форум, в формате которого проходят круглые столы, мастер-классы, презентации, чтения, конкурсы, выступления. Творческое общение «ковчеговцев» продолжается и за рамками программы фестиваля. Ереванское издательство «Вернатун Аредит» при поддержке Министерства культуры Армении и Армянского общества культурных связей ежегодно публикует сборник «Араратское притяжение», где собраны стихи, очерки, эссе и заметки авторов прошедших фестивалей. Однажды побывав в Армении, не писать о ней невозможно. Об Армении писали Пушкин и Грибоедов, Брюсов, Мандельштам, Городецкий, Битов.

Представляем сочинения «ковчеговцев» разных стран и разных поколений, а наш Ной — это мудрый Грант Матевосян, 80-летие которого празднуется повсюду, где живут герои его замечательных книг.

Вика ЧЕМБАРЦЕВА, поэт, прозаик, переводчик,
член международного оргсовета фестиваля «Литературный ковчег»

Эдуард Аренц

Невыносимая легковесность

* * *

В этот красный день
ещё языческие прабабушки моей Музы
негласно решили,
что через девять месяцев
под пение фазанов Бакунца
должен появиться на свет
поэт их внучки.
И так как были они набожными,
то решили:
с райского древа
не упавшее на голову физика
последнее яблоко
бережно утаить под подолом моей матери...
В августе восемьдесят первого
мой отец гнал тутовую водку...

Перевод Гаянэ Арутюнян

Эдуард Аренц — поэт. Родился в 1981 г. в Армении, в с. Татев Сюникского марза (района). Закончил в 2004 г. Каирский университет, в 2007 г. — Ереванский университет. Автор поэтических сборников «Дождь из гвоздиков» (Ереван, 2005), «Летаргическое бодрствование» (Ереван, 2012) и «Интермедия из вод» (Ереван, 2014). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Ереване.

* * *

Пока своё я замышляю древо,
любовь постится.
И зелены в моём стихотворенье птицы...

* * *

Самое любимое имя в жизни
было цвета твоего обета...

Тоскую ли я по тебе?

Переводы Вики Чембарцевой

* * *

Ван Гог лишил себя уха,
оно ему было не нужно:
он уже слышал Гения.

Аль-Маари в жизни повидал столько,
что глаза для него
стали не столь уж важны.

У Чаренца нет могилы,
поскольку
он до сих пор не умер.

Я здороваюсь левой рукой,
потому что правой
я уже поздоровался с Богом...

* * *

Слезинка больше всех
верит в Бога.
Она всегда посещает
церковь Надежды.

* * *

Знаю, однажды проснусь
после Тайной вечери,
обуюсь следами отца,
которые треснули,
словно маленькие кармашки,
наполненные безмерной любовью...
Сумеют ли мои дни
выдержать
эту невыносимую легковесность?..

Переводы Гургена Баренца

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Грант Матевосян

«Литература — это мучительная попытка мира облагородиться»

Перед белым листом

Население земли — три с половиной миллиарда, лет через пятьдесят будет семь миллиардов, а через восемьдесят — четырнадцать, но америк, которые можно было бы открыть, уже нет. Атомных бомб на земле больше, чем городов, «достойных» атомной бомбы. Но я взрываюсь радостью от беззубой улыбки моего ребенка, его беззвучного писка, бесцельной возни — вот настоящее счастье. Верховой гонец войска Дария скакал три дня, встречал по дороге одного-единственного человека, снимал шапку и приветствовал его от души: «Доброго пути!» Дядюшка Дилан прожил семьдесят или сто лет, и в солнечных долинах его памяти жила Сона, преданно оберегаемая, воскресавшая на равнине воспоминаний величавой, несравненной, желанной, как родник в пустыне. Раньше у нас был один петух на зарез и десять пар глаз — каждому причитался кусочек мяса и глоток бульона. И вопрос соседа: «Курицу зарезали?» Теперь повсюду в мире птицу откармливают единым голландским методом: гусю зажимают шею щипцами, раскрывают клюв, заливают в желудок корм: хочет, не хочет, а переварит, потучнеет, потяжелеет, мяса станет больше — каждому достанется по гусю. Подкармливают помидоры, груши, рыбу, картофель, коров... Созданы все условия, чтобы через несколько лет на Земле на каждого человека было всего одно стоячее место.

Я скучаю по временам Дария. Все писатели скучают по временам Дария. На вопрос: «Когда бы вам хотелось жить: вчера, завтра или вас устраивает современность?» — подавляющее большинство японской молодежи ответило: вчера. Я говорю: завтра. Завтра нас станет так много, что наше количество вызовет уважение. И завтра Организация Объединенных Наций наконец мудро решит разумно и достойно человека прекратить рост населения в мире...

В середине июня 1941 года в нашей бестелефонной глухой деревне тронулась умом одна старуха и предсказала кровь, резню, голод. Председатель колхоза запер ее в хлеву за распространение ложных слухов и паники, а спустя неделю, 22 июня, он ушел на фронт с ключами от этого хлева в кармане. Сейчас уверенно говорят о существовании биополей. Безусловно, и в прежние времена цивилизованный мир оказывался на грани великих катастроф; должно быть, Содом и Гоморра — не миф. В Японии из цемента и стекла строят многоэтажные кладбища; в Японии выращивают помидоры без земли; в Штатах больше половины молодежи не подлежит военному призыву из-за ожирения сердца; в Китае курсанты военно-воздушного училища, несмотря на свой китайский

фанатизм, терпеть не могут полеты из-за однообразной пищи. В этом любимом и ужасном, разумно-безумном, понятном и бредовом мире трудно быть голым, оголенным нервом мира — писателем. Наедине с белым листом бумаги в любую секунду можно получить инфаркт.

Что делает писатель? Мир не таков, как ему хотелось бы, и писатель хочет привести мир к желанному виду. Это оказалось не по зубам даже фашизму; все гении и шизофреники ломали над этим голову, а тут какой-то жалкий тип, имя коему писатель, а все имущество — чернила, — сел и хочет привести в желательный ему вид этот хаотичный мир. И он стал долбить и долбить гранит, отсекая от него по кусочку, и изваял Христа; он преобразил в святую простую женщину-роженицу; он превратил обычные страны — Грецию, Персию, Испанию — в страны мечты для всех, а старое, заросшее травой поле — Россию — в Россию, подарившую миру литературу. Без «Абу-ль-Ала Маари» пустыня была бы только пространством песка. Человеконенавистнический мир литература сделала человеколюбивым. Литература — это печаль человечества о жизни. Литература заставляет нас печалиться о человеке, находящемся рядом, и создавать о нем легенды. Розу, базарная цена которой тридцать или пятьдесят копеек, она преображает в цветок любви. Литература — это творец, равный Богу, но только Гарсиа Лорку может избить любой лейтенантик, а Сарояну может приказать ползать по земле любой сержант.

Командующий турецким карательным батальоном полковник усмирял четницкие и курдские деревни, одних обманывая, других вешая, покачиваясь в седле от села к горе, от горы к лесу, от леса к одинокому монастырю на вершине скалы, где должны были найти приют несколько сорвиголов, а в ближайшем городе европеизированные молокососы из городского совета целый год, а может и четыре года сидели себе и дремали, решая один полувопрос. Полковник покачивался в седле от села к горе, от горы к лесу, от леса к одинокому монастырю, и вдруг полковнику ужасно не понравились эти франтоватые молокососы из городского совета, и полковник, командир турецкого карательного батальона, пришпорил лошадь, поскакал-помчался, спустил семь шкур с лошади, подмял другого скакуна, проскакал, прокатившись тяжелым градом, по мостовой, швырнул поводья выскочившему навстречу часовому, выхватив маузер, мягко-мягко поднялся по ступенькам, ногой распахнул дверь и расстрелял этих видевших Париж молокососов, которые четыре года, сидя тут в полудреме, ворочали туда-сюда один-единственный вопрос. Полицейский отряд стрелял по нему, он — по ним, его ранили, он тоже кого-то ранил, кого-то убил, день провел в одиночке, истек кровью. Потом они пришли, подняли его под руки, поволокли, и вдруг лейтенант с тонкими усиками говорит ему: «А ну иди, иди, пес, сукин сын». Полковник, вывернув шею, оглянулся — этот лейтенант, стоявший на лестнице наверху, был из тех франтиков-молокососов. Полковник грустно улыбнулся, потом внезапно выхватил пистолет из-за голенища сапога и — раз-два-три-семь — влепил все пули ему прямо в лоб.

Мне нравится эта история: здесь человек первороден и монументален. Я, заплутавший в паутинах бюрократизма (раздувание бюрократического аппарата — неистребимая чума), вижу в этой истории простые чувства — явные симпатии и антипатии. Вот одна из вещей, по которым я тоскую. Из этой крепкой и круглой истории, быть может, получился бы рассказ, роман или повесть. Нужно влезть в нее, продвигаясь ощупью, ощупью найти, проявить ее философскую мощь и дать ей крылья искусства. А может, в ней и нет мощного философского заряда — ну да ничего, разве кто-нибудь пострадает от такой

алхимии? Останутся только муки писателя, идущего по бездорожью к своей истине, но таков уж путь искусства. Мир обогатится этой честной попыткой. Литература — это и есть мучительная попытка мира облагородиться. Таково призвание литературы от самого ее рождения. Как дети рабов рождаются в рабстве, так и писатель всегда оказывается на скамье галерного гребца.

Прекрасно, скажете вы, но почему «турецкий карательный батальон»? — Ну так, турецкий. — Почему именно турецкий? — Не именно, а просто турецкий. — Почему турецкий? — Ну, потому что турецкий; рассказывали, что это случилось в Турции. — Может, ты хочешь сказать что-нибудь о 1915 годе? — Трудно не говорить о 1915 годе, но трудно говорить на языке искусства. — Нет, лучше напиши: «индийским карательным батальоном»... — Согласен: командующий индийским карательным батальоном полковник покачивался в седле от села к горе, от горы... — Почему индийский? — Так ведь вы сказали.— Нет, индусы наши друзья, лучше напиши «командующий карательным батальоном полковник». — Он что, командует в воздухе? Я и так не знаю, как мне написать эту историю: в форме ли стихотворения в прозе или простой прозой; можно ли назвать полковника Хасаном, или это будет напоминать об Абу-Хасане из известной сказки, и тогда полковник потеряет свой гордый лоск. Хорошим ли человеком был полковник. А может быть, видевшие Париж молокососы были гуманными, умными и просто нерешительными людьми. Случайно ли обругал лейтенант полковника, или он тоже воевал, побеждал, но сошел с пьедестала победителя. Рассказать это как быль, или содержание само по себе уже сказочно, и такая форма превратит эту историю уже в настоящую сказку. Как сделать, чтобы ударение в моем слове передавало поступь лошади полковника: галоп — взрыв сердца — выдох; как добиться того, чтобы пейзаж разворачивался вместе с действием, чтобы выжженная Средняя Анатолия осталась в памяти такой, как если бы я сам видел эту выжженную Среднюю Анатолию, чтобы забыть о ее родстве с палачом моих отцов и уважать ее — просто как материал, как каменотес уважает гранит; чтобы я не поддался очарованию красивых слов; чтобы вы могли ощутить мгновенную растерянность лейтенанта, когда он увидел пистолет в руке полковника. Как сказать, что для умирающего полковника мир оглох и ослеп, если мне не доводилось умирать, — сказать без слов, потому что слова — это только слова, а ощущения глухоты и слепоты требуют совершенно других связей и сочетаний. Можно долго ломать себе голову, и все равно может ничего не получиться. И тут уже отторгается материал: скульптор лепит, и его материал — глина, а что мне делать, когда отвергается моя глина — алфавит, основа основ.

А ты, взяв ручку, дерзнул пойти против великого Туманяна, ты сказал: «Видение» — хорошее стихотворение, но оно несовершенно, а я сейчас создам безупречное. И ты соперничаешь с великими мира сего...

Съезд писателей, конечно, не может сочинять произведения вместо писателя, но он мог бы сделать дело, по благородству равное писательскому труду: создать такую атмосферу, при которой писатель чувствовал бы себя гостеприимным хозяином этой страны, при которой писатель, сидящий перед белым листом, ощущал бы себя не учеником, выполняющим домашнее задание, а учителем, решающим трудные задачи из неведомой области литературы и жизни.

«Гракан терт», 14.10.1966 г.

© 1958–2015, Грант Матевосян

Перевод Анаит Тадевосян и Олега Панфила

Под редакцией Елены Мовчан

О стилизации

Недавно в Ереван приехал один очень известный московский чиновник из Госкино. В аэропорту он сел в ожидавшую его единственного машину и в почетном сопровождении тех, кто его встречал, въехал в город. В Москве его, глашатая истины, тоже проводили в аэропорт. В Ереване его бережно и с особой заботой подняли в отведенный ему номер-люкс в первоклассной гостинице и уложили в постель, расстеленную исключительно для него. Он выпил хранившийся сорок лет исключительно для него коньяк, съел рыбу-ишхан, несколько экземпляров которой еще сохранилось в озере Севан исключительно для этого чиновника, взглянул на Масис, осмотрел руины языческого храма в Гарни, снова поел и выпил, затем собрал армянских киноработников, чтобы сказать, что картина «Цвет граната» Сергея Параджанова никуда не годится, а про другую картину он сказал, что в ней крестьяне выглядят не как армяне, поскольку по другим армянским фильмам он знает, каковы на самом деле армянские крестьяне, и авторы этой картины, которые привели на съемки своего отца, дядю и самих себя, не знают, каким на самом деле должен быть армянский крестьянин, и потому они сняли сицилийцев, а не армян. Затем чиновник с обаятельной улыбкой воззвал к армянским работникам кино: «Товарищи, неужели до сих пор вы не замечали красоты озера Севан, товарищи, снимите красивый фильм об озере Севан, и я предлагаю вам название — "Севанские волны"». Потом хорошенько наевшееся, хорошенько напившееся, хорошенько выспавшееся самодовольное тело этого чиновника кортеж увез для отправки в Москву и уложил не в гроб, как в повести Льва Толстого «Холстомер», а на исключительно для него отведенное место в самолете. Привезший его самолет безвозвратно истратил очень много очень дорогого кислорода, сам он лично истратил немало государственных средств и сказал всего лишь, что надо снять картину «Севанские волны». Так ведь мы и без него знали, что у севанских волн бывают приливы и отливы и что эти приливы и отливы очень живописны.

И вот теперь я, автор, выпустивший всего одну книжку, оказался в роли этого чиновника. Если я не в состоянии говорить умные вещи, то нужно попытаться хотя бы быть честным, чтобы назавтра не устыдиться себя, и нужно говорить о вещах, серьезных и значительных настолько, насколько значительны взятые у народа и выданные на мою командировку рубли.

Я должен говорить о стилизации. Но поскольку мне кажется, что стилизация — это верная смерть литературы, и поскольку такое ответственное заявление я не могу сделать вот так сразу, я хочу начать несколько издалека.

Среди ранних работ Ованеса Туманяна есть рассказ «Из времен голода». Лорийский крестьянин — назовем его по месту рождения автора дсегцем — трудится и видит только свою землю, и затылком ощущает у себя над головой иссохшее небо, которое не обещает дождя. Он молится своему небу и с беззаветной любовью лелеет свою землю. Но случается плохое: земля и небо предают его. Это действительно очень плохо, потому что дсегец связывал свои надежды только со своей землей — той, что была у него под носом. Еще хуже было то, что засуха грянула и в селах по ту сторону ущелья, с которыми он втайне от себя, но тоже связывал свои надежды. Но и это пока еще не конец света: мир велик, и дсегец собирается отправиться к ширакским полям у подножья Арагаца, которые плодородны и которые, по его мнению, неподвластны засухе, посколь-

ку защищены влажной прохладой доброй горы Арагац. И вот дсегец, стыдясь самого себя, очень стыдясь самого себя — ведь ширакец не виноват в том, что в Дсеге засуха, — запрягает лошадь и пускается в путь к известному ему краю большого мира. Но происходит ужасное: на полпути он встречает голодных крестьян, бегущих от ширакской засухи в Дсег. И для дсегца, и для ширакца это непостижимо: ведь не может же жизнь быть такой жестокой, чтобы во всем известном им мире от Ширака до Дсега устроить засуху.

Рассказ заканчивается так: кто-то приносит им весть о том, что мир больше, чем они себе представляли, и что из далеких городов и сел этого большого мира для голодающих армян в фургонах едет хлеб. Они не хотят верить вестнику, поскольку хлеб для себя они должны были вырастить сами, а они его не вырастили, потому что Бог не пожелал этого, и значит, такова их судьба и это их конец. Но в конце концов у них не остается другого выхода, как поверить, что есть богатая хлебом Россия и тамошние богатые армяне прислали для них хлеб.

Рассказ написан восемьдесят лет назад. За эти восемьдесят лет локальный мир армянского крестьянина вырос, стал земным шаром, на котором есть мощное советское государство, и чувство единой большой родины — самый значительный за пятьдесят лет существования этого государства сдвиг в психологии армянского человека, который растит хлеб везде, а не только в Шираке и селе Дсег. Однако подстраховывающее чувство единой большой родины обнаружило свою другую, очень плохую сторону — безответственность перед землей под собственными ногами. Крестьянин потерял чувство своего надела, утратил заботливую любовь именно к той земле, на которой он живет. Хлеб растет где-то в великом Советском Союзе, и град в Дсеге или засуха в Шираке не касаются сегодняшнего дсегца и сегодняшнего ширакца, поскольку град и засуха не бьют по тому полю, которое должно было бы быть результатом взаимной любви и привязанности земли и крестьянина; град сыплется на какое-то даже враждебное пространство, и от этого зарплата крестьянина, которая находится в сейфе государства, не мокнет и не портится, а остается сухой, и сухая мука придет из какой-нибудь части нашего большого государства. Но нам известно еще и то, что во многих случаях эта мука приходит не из какой-то части нашего большого государства, а из-за границы, на золото. Значит, дело касается не только дсегца. На одном из участков совхоза в Челябинской области, где работала наша группа студентов педагогического института, механизаторы сели играть в дурачка, оставив лежать на поле сжатый урожай. Потом на три тысячи гектаров уже сжатой и не собранной пшеницы упал снег, и механизаторы продолжили свою игру в дурачка уже с совершенно спокойной душой, поскольку снег пошел по не зависящим от них причинам.

Когда началась эта враждебность по отношению к земле? Можно сказать и шире: враждебность по отношению к труду, но, чтобы не слишком распространяться, поговорим только о земле. Этот разлад между землей и земледельцем начался, по всей вероятности, в тридцатые годы, но стал гораздо глубже в пятидесятые и оказался критическим в прошлом десятилетии. С приобщением страны к цивилизации давняя преданная любовь к земле должна была возрасти, стать неотъемлемой частью советской цивилизации, бережного отношения к природе, а превратилась сначала в высокомерие, а затем в явную враждебность, как обязательный результат принудительного приобщения к цивилизации

отсталой страны. Это было и следствием нашей негибкой политики по отношению к деревне. Сегодняшняя Армения потеряла половину своих старых пастбищ и треть пахотных земель, в то время как сейчас в селах столько же жителей, сколько было до советизации с механизацией. Как бы то ни было, сегодня мы стоим перед фактом враждебности крестьянина к своей земле.

А если мы полистаем страницы советской литературы, перед нами встанет красивая наглая ложь о том, как раньше крестьянин дружил с землей сам по себе, один на один, а теперь в колхозах существует этакая коллективная дружба. Литература — это летопись народных надежд и тревог; наша литература тридцатых годов доносит до нынешнего поколения кое-что из надежд и тревог испанской демократии времен испанского фашизма, но доносит ли она до нас хоть какой-то отзвук тех тревог, которые сейчас так слышны и истоки которых относятся именно к тридцатым годам? И как мы можем уважать эту глухую и слепую литературу, и за что будет завтрашнее поколение уважать сегодняшнюю глухую и слепую литературу, которая поклялась не вынимать вату из ушей и не открывать глаза?

Если в произведении какого-нибудь писателя, очень далекого от революции, показан вождь революции, который видел свою революцию со всеми ее сильными и слабыми сторонами, значит, писатель представил жизнь во всей ее широте и со всеми слоями глубины, и это единственный способ создания литературы; таким способом он нашептал на ухо вождю и обо всех слабостях его революции, и о путях победы. А что делаем мы?

Мы изгоняем из жизни все те составляющие, обнаружение и анализ которых поставили бы нас в неловкую ситуацию, берем для описания стерилизованную таким образом жизнь и превращаем ее в повесть или рассказ. И материал нам не сопротивляется, поскольку из него извлечены все сопротивляющиеся жилы, и материал сдается нам с такой же легкостью, с какой поддаются цирковому дрессировщику выхолощенные лошади. Я не скажу, что мы как-то по-особому стилистически обрабатываем, украшаем, приукрашиваем и приводим в товарный вид наши сочинения, нет. Стилизация возникает как признак обработки и «преодоления» заведомо обедненного материала. Почему когда начинается разговор о стилизации, мы в первую очередь вспоминаем произведения на исторические темы? Потому что даже самые внимательные исследования авторов, пишущих на исторические темы, не дают полного знания материала, как ни одна незнакомая страна ни одному туристу не откроется до конца. И, таким образом, по причинам, не зависящим от его воли, автор, работающий над историческим материалом, берет эту обедненную жизнь, которой только и остается, что поддаться стилизации. Почему военные материалы, написанные непосредственно на передовой, так правдивы и так некрасивы, а послевоенные произведения тех же писателей так художественно лживы? Потому что в памяти этих авторов уже потускнели те живые детали, которые и были сутью прежних дней. Почему армянский писатель, и довольно талантливый писатель, не может писать о величайшей трагедии своего народа — о геноциде, но может заниматься блестящими интеллектуальными упражнениями на материале Хиросимы? Потому что трагедия армянского народа — его трагедия, и этот талантливый человек был бы просто распластан и уничтожен материалом своей трагедии, не имея возможности впихнуть этот материал в какую-либо жанровую форму и продемонстрировать тонкость своего знания новомодных философских течений. Для

меня единственно возможной формой воплощения этого материала было бы как раз такое распластывание и издыхание над собственной трагедией и наоборот — гроша ломаного не стоят эти изящные упражнения на тему Хиросимы. Ведь известно — матери над своими погибшими сыновьями плачут в тысячу раз страшнее, чем их соседки. Стилизация для меня — это художественный плач соседки.

Изображая жизнь, мы оказываемся в положении этой соседки; между нами и взятым нами материалом вклиниваются глубинные пласты, материал не становится нашим сыном, он становится сыном соседским, потому что взятый нами материал — не живая жизнь, а мы врем, что это и есть жизнь, и делаем вид, что стилизация — это ее художественное отражение, тогда как на самом деле это изображение жизни выхолощенной, лишенной сопротивляемости.

Народ называет писателей своими помощниками в построении будущего. Таких помощников не бывает. Не имея дела с жизнью живой, настоящей жизнью народа, невозможно быть участником — хотя бы участником — построения жизни, а тем более будущего. В конце концов получается, что с партией и народом будущую жизнь строит Лев Толстой, партии помогает белогвардеец Бунин, а советский гражданин, не белогвардеец, даже член партии, самый талантливый современный писатель не помогает своей партии. В конце концов оказывается, что каждая хорошая книга каждого хорошего американского писателя больше говорит о нашей жизни, о нас, о нашем народе, чем написанное нами. Мне кажется, что мы теряем своего читателя — наш читатель больше ничего от нас не ждет, мне кажется, что уже нет того социального запроса, который подвиг бы нас воплотить данную нам Богом силу, а это смерть литературы.

1965 г., «Еркир Наири», 16.06.1995 г.

© 1958–2015, Грант Матевосян

Перевод Анаит Тадевосян и Олега Панфила

Под редакцией Елены Мовчан

Клаудио Поццани (Италия)

Блюз Армения

Перевод Давида Матевосяна

Как твои монахи,
выдолбившие
укрытия в скалах,
как твои камни,
хранящие тайны
келий, луны и солнца,
как твои монастыри,
поддерживающие небо
на спор с ветрами,
как твой лаваш,
спеленавший обложкой твою историю,
как мелкое тёплое море —
я хотел бы, Армения,
чтобы именно таким
был мир вокруг меня,
этот мир,
видящий во мне
непрошеного гостя,
этот мир,
не умеющий
больше радоваться,
этот мир,
не способный дышать пространством,
не способный вкушать время,
мой безобразный мир,
исчезает, как только я начинаю
мечтать о тебе
за гранью
сна,
за гранью
звука,
за гранью
места,
за гранью
себя.

Клаудио Поццани — поэт, художник, основатель «бродячего шоу поэтов» (il circulo de la poesia), в котором сочетаются и магия, и поэзия. Автор нескольких поэтических книг, стихи переведены более чем на 10 языков. Живет в Генуе.

Серж Вентурини (Франция)

От Эребуни до Еревана

Перевод Лилит Меликсетян

Ереван, наконец я снова тебя обрел. Пока еще не цвета меди. Зябнешь. Боишься дракона зимы. Ты, кто, однако, так стоек к горю, с грузом веков на плечах. Стрела Цицернакаберда опаляет, ее острие пронзает ночь. Ереван, я вижу пустую ракушку стадиона «Раздан», вижу твое покрытое шрамами старое лицо, твои снесенные до основания дома и улицы с новехонькими витринами — между советскими временами и игроками того казино, которое представляет нашу тусклую жизнь. Выхожу из музея Параджанова, и только малый Масис снисходит до того, чтобы показать мне свой профиль. Большой Масис укутался осенними облаками, он будто дремлет под своими вековыми покрывалами. Он возвышается на горизонте, и новый день зарождается медленно, мешкая — захлебнувшийся собственной кровью, удушенный тиран.

Скоро выпадет снег, своим белым крошевом он уже кое-где присыпал окрестные горы. Кружишь тенью по двору, а Сергей Параджанов улетел-ушел в объятия своей безграничной свободы и сновидений о полетах, своего воображения. Ереванская карусель должна крутиться дальше: чувствуются первые признаки копошения зарождающегося глухого дня. Эти неоконченные постройки многое рассказывают о непоследовательных людях, не способных оправиться от своей жажды власти, ненасытного стремления упиться собственной мощью — вовек неутолимого.

При том что многие давно решили сложить свое оружие, другие с роковой силой упорствуют в осуществлении своей мечты, продлевая ее до ночи и за ее пределами — звездой надежды. Они знают цену каждой пролитой капли крови и поэтому отвергают участь поверженных. В своей борьбе они наслаждаются лишь краткими передышками, в самом сердце битвы — именно здесь они подкрепляют своей силой и смелостью собственное бесстрашие. Общему слабоволию слова и дела нет места в будничном потоке жизни. Если они горят, то сгорают не наполовину. Огонь питает их постоянно. И если у них сохранилось дыхание, значит, сохранилась и гордость жить и умирать, поскольку одно без другого не бывает.

Серж Вентурини — поэт, переводчик. Родился в1955 г. в Париже. Автор нескольких книг стихов. Перевел на французский стихи армянских (Саят-Нова, Е.Чаренц и др.) и русских (А.Блок, А.Ахматова) классиков. Живет в Париже.

Геворг Гиланц

Все дороги ведут

Перевод Сергея Надеева

Сколько раз обещал племяннику взять с собой в Ереван. Всего-то 40 минут езды, но опять нахожу отговорку. Вот и сейчас он посмотрел на меня, понял, что и в этот раз не возьму:

— Дядя, а когда поедем в музей Туманяна, в Матенадаран?..

Сосед вмешался:

— Парень, ты уже большой, хорош мечтать, взрослеть не пора? Сейчас в Ереване нужно большие дела ворочать, а не...

Племянник поник, не в силах смириться, но старшему перечить не стал.

— Сегодня мне не с руки, — сказал я, — давай потом.

С сердцем, тяжелым от невыполненных обещаний, на рассвете вышел из дома.

Матенадаран, музей Туманяна...

Матенадаран в Ереване, но большинство рукописных книг никак не связаны с Ереваном. Переписчики и художники-миниатюристы, за редким исключением, в Ереване не жили. Так же и Параджанов. И Хачатурян... «Ованес Туманян бывал в Ереване всего пять раз, и очень накоротке. Самое продолжительное — с 20 марта по 19 апреля 1921 года. Находился под домашним арестом...»...

Как объяснить племяннику, что большинство покоящихся в Пантеоне состоялись как личности не в Ереване и что, наоборот, это они помогли состояться Еревану; что в своё время и меня магнитом притягивал Ереван — воплощенная мечта великих Мечтателей: царя Аргишты, Таманяна, Сарьяна, Бабаджаняна; что манящая в телевизоре картинка центра города с освещёнными зданиями и парками — по сути витрина, а на самом деле Ереван — это и Гарни , и Гегард, и Татев, и рукописные книги, и весь наш эпос, и древняя поэзия...

Как объяснить, что Ереван — это мечта великих Мечтателей, что поиск своей мечты в чужих мечтах — это ловушка, что многие приезжали сюда за

Геворг Гиланц (настоящее имя — Рудик Геворкян) — поэт, переводчик. Родился в 1966 г. в Армении. Окончил Кироваканский филиал Ереванского политехнического института, Высшие литературные курсы (2006) в Москве. Печатается с 1994 г. Автор 3-х книг стихов. Живет в Армавире.

Надеев Сергей Александрович — поэт, переводчик, издатель. Автор нескольких книг стихов и прозы, редактор и издатель энциклопедии «Русские писатели XX века» (совместно с «БСЭ»). Переводит армянских, грузинских, болгарских, китайских и др. поэтов. Живет в Москве.

своими мечтами, но попали в бетонную западню. Как Самвел, Серёжа, Рубик с нашей улицы... Загнали необузданных коней своих мечтаний в бетонные стойла города, и городские будни сжирают их останки. От этого такая тоска, такая ностальгия. Вот почему дворы ереванских высоток поделены на участки и ограждены сеткой-рабицей, как в деревне, как на нашей улице, не имевшей имени.

Теперь-то наша улица
заимела имя, даже фамилию,
но подлинное её имя другое:
другие вкус и цвет,
другой запах в этой чужеродной майле...
Та улица не имела названия, а только номера,
и лишь для того,
чтоб не путалась почтальон Айкуш...
Огромная дерматиновая сумка на её плече,
и на груди — пионерский галстук,
горделивая, статная,
спешащая вечно, в тапках...
Тётя Айкуш говорила быстро-быстро
и горлопанила, если кому письмо или телеграмма:
«Сосед, с тебя магарыч, гони манету!»...
Не брала ничего...
Заходила в дом,
выпивала чашку чая или стопку
и стремительно уходила, шелестя тапками.

Раскалённое летнее небо
и ручной жёрнов моей бабушки —
не ела она казённой крупы...
Мы готовили ей крупу в санде Гевора, квалтом —
большим, как кувалда, деревянным молотком...
Тёплый запах распаренной пшеницы магически витал во дворах:
наша улица — майла — превращалась тогда в матрац,
покрытый заплатками рассыпанной на просушку крупы...
Потом наступал черёд молодых парней:
затейные шутки, улыбки...
Натруженные мышцы и жалостно, безнадёжно
ухающий в санде деревянный молоток — бах, бах, бах...
Тик-так, тик-так, тик-так...
Время ворует, стирает звук,
что издавали санд
и деревянный квалт...

Задремал, прислонившись головой к стеклу маршрутки. Остановка, значит уже приехали.

Города похожи на женщин, их истинное лицо — без макияжа — можно увидеть лишь утром, когда они только-только просыпаются...

Мой город, это было так давно, когда щёки твои были розовыми и ты сиял здоровьем, словно женщина, это было так давно, когда тебе только объяснялись в любви... Сейчас, на рассвете, смотрю на тебя с неприязнью, как на провинциальную шлюху, которая с утра не успела намалеваться, и сейчас, пока маршрутка стоит, наспех красится, хотя хорошо знает, что макияж дополняет природную красоту, а не заменяет.

До отправления городская маршрутка ждёт свои 5-10 минут, пока наполнится. Мысли, как гулкий пчелиный рой, не давали покоя: «У правящей верхушки нет восприятия святости, страна в агонии; Национальное собрание — одни блатные клички; уголовные нравы; народ бежит из страны...».

Двое молодых людей в конце салона громко заговорили:

— Аво-джан, давно приехал?

— Две недели как.

— Что, не заладилось?

— Поймали и депортировали.

— И что, снова поедешь?

— Да, конечно, что тут делать, браться за лопату?

— И правильно... Знакомый министр говорил: «Уеду я, это — не страна и страной не станет, поеду в какую-нибудь приличную страну, чтоб нормально пожить». А он знаешь каким был патриотом, как хорошо историю знал... Восхищался умом наших царей, их делами... Эх, страна... не страна, и страной не станет...

По одежке и разговору понял, что парни из тех коренных ереванцев, чьи деды или отцы не считали зазорным взяться за лопату на стройках пригородных микрорайонов, жить в съемных лачугах, лишь бы получить квартиру и не возвращаться в родную деревню, в отдаленный район, откуда большинство из них просто сбежало...

Нервы сдавали. Вышел, чтоб не вляпаться в неприятную историю. От начавшегося дождя в лужах вскипали пузыри, размером приблизительно с мечтания этих парней. Маршрутка рванула и с визгом и хрипом резаной свиньи понеслась в мечты этих ребят — в какую-то иную, сытую и богатую страну.

Автостанция мрачно нависает. На холме, что напротив, крепость царя Аргишти — Эребуни.

Сначала Аргишти основал крепость: *«Бога Халди величием, Аргишти, сын Менуа, эту неприступную крепость построил, установил для нее имя Эребуни для могущества страны Биайны (Урарту) и для устрашения вражеских стран...»* Ну а потом, наверно, власть перешла в руки более деловых ребят, возможно с блатными кликухами. Они во время своих сходок с большим пиететом цитировали запись царя, искренне гордились и на больших и малых площадях объявляли себя последователями царя Аргишти, того, кто построил Эребуни «*...для могущества.... и для устрашения...*».

Потом самые из них продвинутые и образованные поехали рассказать миру о своей Биайне (Урарту), о могуществе бога Халди. Дошли до самых отдалённых уголков мира и вернулись удивлёнными. Оказывается, и там свершаются великие дела, даже более великие...

Подумали они и поняли, что если другие могут управлять многонациональными империями и быть очень богатыми, то им тоже не составит труда. Начали перенимать прогрессивный опыт... Потом, когда уже нечего было транжирить и нечем было обогащаться, восклицая: «страна — не страна, и страной не станет», всей семьей, с имуществом, с рабами и слугами разъехались на все четыре стороны, на своём долгом пути восхваляя царя Аргишти, искренне восхищаясь его стратегическим мышлением и дальновидностью, рассуждая о величии бога Халди...

Ереван, я действительно хочу понять, как так получилось, что в отличие от Рима, которого ты старше на 29 лет согласно твоему каменному свидетельству о рождении, все дороги ведут не к тебе, а от тебя. Твои блудные сыновья не транжирят, а копят наследство в далёких краях. Потом возвращаются... В лучшем случае — как туристы. Но есть и такие, кто возвращается, словно трусливый пьяница домой, пьяница, который только дома ведёт себя львом, ибо знает, что лишь собственная мать потерпит такого, его кроткая, бедная, любящая мать...

Возвращаются, набравшись сил, как посторонние, везут с собой чужой «передовой опыт», который иностранцы уже испробовали и поняли, что опыт этот им не нужен... А ты, Ереван, никнешь, корчишься, подчиняясь своим блудным сыновьям, и покорно подтираешь их рвоту и дерьмо...

В раздумьях я шагал в сторону центра. Большинство мечтаний моих молодых дней родилось здесь. Здесь когда-то были старые, колоритные, соразмерные маленькому городу здания — двухэтажные, трехэтажные памятники архитектуры. Их обжитые стены притягивали магнитом, обещая поведать забытые истории и тайны, которые не удержала человеческая память... Большинство жителей этих домов были потомками тех именитых людей, кто построил эти дома. Они, как одна семья, жили дверь в дверь, сплетничая, ругаясь и мирясь, радуясь и грустя...

В последний раз, когда к власти пришли разбогатевшие на чужбине, первым делом они решили задействовать усвоенный «передовой опыт», единственный смысл которого — заработать деньги. А деньгами являлось самое сердце города, где стояли эти дома. Не зря же мэру, попросившему денег для нужд центра , «продвинутые» ответили: «ты на деньгах сидишь, а у нас денег просишь»...

Сначала нужно было разрушить единство коренных жителей центра: одному (с сильным покровителем) пообещали дать новую квартиру на том же месте, троим (с не очень сильным, но покровителем) — соответствующую компенсацию, остальных погнали по инстанциям за ненужными (как потом выяснится) бумагами, заставляя тратить при этом все свои сбережения...

Воля города к сопротивлению рухнула: люди, жившие дверь в дверь, сердце к сердцу, перестали доверять друг другу, свои вопросы с чиновниками начали решать поодиночке. После этого должны были рухнуть стены — домов-архитектурных памятников...

Люди пытались сопротивляться, но тщетно: их выселяли из отчих домов с милицией, побоями... Одна за другой, рушились древние стены, помнящие и горе, и радость, и благословения, и проклятия.

Мудрые древние камни впитали в себя не только время, но и скорби своих обитателей. А радость и благоденствие всегда были на поверхности — чтоб жилось уютно и празднично. Теперь же, когда всё разрушили, не оставив камня на камне, всё горе и все проклятия выплеснулись наружу, смешавшись с новым горем, с новыми проклятиями...

Стены пали, и над привычным местом зависла черная бездна вековой беды, она никуда не делась. А когда поднялись стены Северного проспекта, эта чёрная масса искала для себя новое прибежище, но вновь возведённые стены были уже не из мудрых камней, — стены были бетонные, и этой бездне не во что было спрятаться...

В последнее время спорят, почему на Северном не продаются квартиры. Я тоже статью написал, где рассказал про эту чёрную бездну вековой беды. Мой знакомый — помощник большого начальника — пригласил на чашку кофе. В разговоре о том о сём он усмехнулся: «Братишка, что ты пишешь, что за сказки рассказываешь?» Уходя, цикнул сквозь зубы: «Ты про исправимые ошибки Северного проспекта напиши, например, что нет автостоянки, зелени нет... Найдём, как исправить, а про это — не пиши больше, знаешь, какие деньги вложены?..»

Оглянулся — уже у Северного проспекта. Черная бездна давила на плечи, заставила меня развернуться и убежать, чувствуя свою вину: «Почему, когда здесь так нуждались в моей поддержке, меня не было, не пришёл на помощь, не пришёл, чтоб хотя бы дать право на жизнь некогда родившимся тут своим мечтам... И эти "продвинутые" зачем пришли, откуда?..»

А они не могли не прийти. Ты, Ереван, — словно та Сирена, что песней манит издалека, зовёт, а когда заманит — если по зубам, — ведет себя как взбесившаяся от жажды свиноматка, что глотает свой опорос...

Ты поедаешь даже своих великих Мечтателей, благодаря которым имеешь кровь и плоть, умеешь петь и манить сладкоголосой Сиреной... Твой Пантеон тому свидетель.

В первый раз я подумал об этом твоем умении, когда шли отмечать юбилей Мастера. Ты уже успел слопать его... Весной еще и не пахло. Была

Зима.
Февраль.
Слякоть.
Цветы. Речи. Толпа...
Для неё имена на камнях —
Это всего лишь улицы, парки, библиотеки,
Повод, чтобы толкнуть речь,
На телеэкране
Засветиться...

Зима.
Февраль.
Слякоть.
Чего хочет от меня эта грязь... —
Пусть бы липла она лишь к одежде, только к одежде...

Нет, так не выйдет, нужно спереть...
Ночью приду, тайком...
Не посадят.
Избавиться будут рады:
Нынче свободные площади в моде,
Чтобы на них насадить бетон,
Взрастить европластик, стекло...
Скажут: «Пусть будут твоими, но только забери,
И совсем ни к чему — тайком»...

Грязь полетела из-под колёс...
Пусть бы липла она лишь к одежде, только к одежде...

Нет, нужно вернуться,
Вернуться, и очень скоро,
Опуститься на колени и вопить: «Вардапет,
Бери свои песни и таги и пошли,
Я тырить буду отсюда Пантеон...
Арама Ильича отправлю в Москву,
Гранта — в Ахнидзор...»...
Грустно улыбнётся и скажет:
«Ладно, а что потом, что потом...».
«Тут вам не место, — скажу, —
Здесь схоронили вас в сердце камня,
А должны вы жить — в наших сердцах,
Вы стали улицами, статуями, ИДОЛАМИ...
Во-о-он, стройные роты ребят
Ищут свободные площади,
Чтоб взлелеять бетон,
Взрастить европластик, стекло,
Чтоб шито-крыто, как под *мугам*,

Сопредельные площади под себя подгребя,
Заасфальтировать,
как асфальтируют наши души *мугамом*, сериалами...
Хватит скрываться в камнях,
Вы же в других нам являетесь измереньях,
Тут вам площади не нужны...».

А там, в другом измерении, есть место? Хоть один свободный уголочек остался? Куда их отправить?.. Как это измерение назвать: душой, совестью?.. Ноги несут в сторону храма Григория Просветителя.

2001 год. Храм только что освятили... Он не похож был на наши другие храмы и церкви, внутри всё блестело и переливалось, как будто на страницах глянцевого журнала. Места, где можно было бы поставить свечку, я не нашел. С удивлением выяснил, что внутри храма ставить свечки нельзя. Спросил у молодого служителя — почему? В Армении до сих пор не было ни одной церкви, где нельзя было бы зажигать свечи. Пояснил: «Копоть садится на стены». Я возразил: «Да с помощью этой копоти молитвы добрых старушек, невинных детей и всех прихожан пристают к стенам, а потом нисходят на нас и даже исцеляют...».

Удивлённо усмехнулся: «Брат, что за сказки рассказываешь?» И ушёл, процедив сквозь зубы: «Место, где ставят свечи — внизу, в подвале».

Не помню, как я вышел. Больше туда не заходил, но не могу забыть юбилейной суматохи 2001-го, когда освящали храм.

Город мой, ты в эти дни был особенно сильно разукрашен, как будто покойник с разбитым лицом, после автокатастрофы. Тебя спешно шпаклевали, чтоб привести в надлежащий вид... И мне не оставалось ничего, кроме как написать Реквием.

Тогда я не знал, куда пойду, — главное было уйти, чтоб не потерять самого себя. А этот храм — символ юбилея — уже уселся на вершине холма, напротив кинотеатра, обездолив множество воспоминаний, сломав хрупкую, как фарфор, среду: раньше здесь были маленькие лачуги, где люди жили дверь в дверь, сердце в сердце, ругаясь и мирясь, радуясь и огорчаясь, сплетничая... Все осколки этой хрупкой среды собрали и заточили в каменные клетки Норка , Эребуни, Авана, Давташена ...

Всё, убегать — нет больше сил. Кофе хочу, но в кафе не тянет. Пойду к кому-нибудь из наших, заточённых в бетонный капкан, заодно и привет передам от нашей улочки...

«Помнишь, мы с ребятами пошли в колхозный абрикосовый сад, играть в войнушку, а абрикосы ещё не поспели, были зелеными. Сторож погнался...»

«Во дворе нашей высотки видел огражденный участок, с зеленой сеткой-рабицей? — это мой, там у меня черешня растет и абрикосовое дерево...»

— Вруйр закончил институт, но работу не нашел. Уехал из страны. Хорошо себя чувствует, иногда деньги присылает, но если по-хорошему — лучше бы прислал столько, чтоб и мы смогли уехать.

— Не скучает, — спросил я, — не хочет вернуться?

— Очень скучает, но что тут делать? Там у него работа... — живет по-человечески, а тут что ему? Всё смешалось с грязью. Сын Вруйра мечтает стать авиаконструктором, а его ровесник — нашего соседа сыночек — мечтает стать владельцем «джипа». Сын Вруйра целый день учится, на кружки ходит, в воскресную армянскую школу, а нашего соседа сыночек... Думаю, даже не все буквы знает...

— Так тоже не пойдет — «уезжаем, и всё». Давай тогда все уедем и страну оставим таким, как твой соседский малец... Таманян, Сарьян, Исаакян и многие другие если б не вернулись — всего этого не было бы, не стали бы мы страной...

— Сарьян, Таманян... Если по правде, то лучше бы и не возвращались... Сто лет назад была страна большой деревней, такой и должна была остаться.

— И ты был бы переселенцем из маленькой деревни в большую.

— Когда я переселялся, это был один из самых красивых городов Союза, подобного не было. Ты мне покажи в городе что-то, что имеет большую ценность и создано после независимости. Сейчас всё смешивается с грязью. Когда из-за рубежа приезжают твои друзья, куда их ведешь? Подожди, я вместо тебя скажу: Матенадаран — не сейчас создавался, Опера—Проспект—Площадь Республики — не сейчас... Потом ведёшь их за город — Севан, Гошаванк , Ахпат , Хор Вирап... А раньше не так было... Раньше Ереван был городом, сейчас — бизнес-среда... Уже нечего продать, дошли до зданий на Площади Республики... Что тут делать?.. Пусть повременит, страна воспрянет, а он станет обеспеченным человеком, вот тогда подумаем о возвращении...

— Если сейчас деньги пришлет, уедешь?

— Наверное... Скучаю по внуку. Хоть бы эти мутные времена прошли. Прилипли, как жвачка, и не отлипают. А мы эту жвачку жуем, жвачный пузырь надуваем. Лопается, а мы опять надуваем. Превратились в нацию, любящую надутые пузыри.

— Пузыри, шары... Все они имеют свойство лопаться. Эти мутные времена — надутый шарик, рано или поздно лопнет.

— Да, лопнет, как на митинге партии власти, но сгорит и пострадает опять невинный народ ...

Вечереет. Включились телевизоры. С экранов в бетонные клетки хлынули выступление президента, репортаж про поездку премьера, потом что-то сказали про новые рабочие места...

Вышел на балкон покурить. Потом попрощался с нашими и, спустившись, медленно зашагал в сторону автовокзала. Стемнело. Незажжённые окна были похожи на пустые глазницы. Вспомнил тяжелые, жестокие годы войны.

Пепан и Арам пропали без вести, Манук погиб, Гурген собрал троих сыновей, продал дом, деньги дал пограничникам и вывез семью в Россию...

Война, казалось, находилась где-то далеко, но сердце войны и тут пульсировало: на улицах вместо влюблённых серенады распевало оружие, хлеб — цвета глинозёма — был по талонам, электричество давали два раза в сутки, на пару часов. Воду тоже. Пропадали люди...

Дома отапливались печками-буржуйками, плотоядно пожигающими всё, что можно было достать, — дрова, мазут, обувь, старую одежду, пластиковые бутылки, новую и старую мебель, паркет, тома Ленина... Страна плыла в дыму...

Плыла.
Окрест — зловонье,
гарь — пушинкой чёрной,
что удушает, забиваясь в горло.
А капитан твердил, что нужно продержаться —
крушение у наших берегов:
нефть разлилась, и опоясал смрад...
Там, за бортом, безбрежный слой мазута,
И мы сейчас проходим этот слой...
Держаться нужно...

А мазут был жизнью...
И стоил жизней...
Плохо привязать верёвку...
Один конец прилаживал к спине,
другой — к перилам
мазутного хранилища котельной...
В нём было пусто, и уже давно,
но если всё же в бездну опуститься,
плевки мазута можно отыскать
и детскою игрушечной лопаткой — из пластика —
как ложкой, черпать жижу
в ведро, потом — в бутылки из капрона.
И, привязав к спине поклажу, — подниматься...

Вот-вот светать начнёт,
рассвет увидеть — чистенькое небо...
А то сейчас пробудятся буржуйки
многоэтажек,
раскашливаясь, выпуская дым...
И снова он пойдёт
под вражьи пули,
а дома...
Мать, снедаемая чёрным,
когтящим демоном,
что в каждой клетке тела
сплетает жадно паутину смерти.
И скоро у роддома пить с друзьями
мне предстоит,
но прежде нужно
не оставлять жену у стылой печки.

Светает.
Небеса и воздух непорочны.
Пока ещё не пробудился дом, и как курильщик забубённый
не начал кашлять я, и дым пускать пушинкой чёрной,
что удушает, забиваясь в горло,
пока ещё не слился с тысячей подобных
домов, и вместе все они не стали кораблём —
со ржавыми, прогнившими бортами,
без двигателя, без штурвала, —
окутанным потусторонним смрадом,
слоящейся гнилой мазутной жижей,
ядоосновой, ядовитой желчью
из лопнувших, решетчатых боков
текущих в море,
расползаясь грязным слоем вдоль корабля,
идущего среди лазурных бесконечных вод,
зловонье оставляя за собой,
и длинным следом — грязи мощный слой.

Домой приехал ночью, но племянник ещё не спал.

— Дядя, придуманную мной теорию про магнитное поле земли, о которой тебе говорил, я уже написал, прочитаешь?

— Да,— сказал я, — сейчас. Арман — сын дяди Вруйра — мечтает стать авиаконструктором, а ты кем?

Заблестевшие его глаза подсказали, что сейчас такую мечту найти будет очень трудно. Соседа не было, чтоб смог сказать ему: «Это мы с тобой должны вырасти, чтоб научиться снова мечтать. Не дай Бог — иначе будем долго чувствовать нехватку великих Мечтателей». Я повернулся к племяннику:

— В следующий раз возьму тебя с собой. Мечтай, пока молод, мечты живут в молодости.

Ованес Азнаурян

Автобус

Рассказ

Автобусы на Ереван стояли в ряд на площади Лернагорцери города Капан перед гостиницей и универмагом. С семи тридцати утра сюда прибывали пассажиры, нагруженные чемоданами, сумками, одетые по-столичному, и поэтому резко отличающиеся от провожающих родственников. Женщины с детьми сразу же занимали места в автобусах, мужчины же, с деловитой важностью пыхтя сигаретами, укладывали чемоданы и сумки и разглядывали друг друга, знакомились, угадывая друг в друге будущих спутников.

— На перевалах будет туман, — сказал один.

— Точно,— согласился другой. — Водителям автобусов придется туго.

— И нам тоже. Моя жена не выносит эти проклятые повороты.

— У меня дочка такая. Тоже не выносит. Одни муки с этими женщинами, честное слово!

— О, у меня сын! Он у меня крепкий парень (хотел сказать: «весь в меня», но удержался), а вот жена... Упаси, господи! Как автобус тронется, так она сразу, как кисель. Хотите сигареты?

— Я бросил. Два года назад.

— А я все не могу...

Чуть поодаль стояли водители, маленькой, отдельной ото всех группой, курили, плевались в лужи, рассказывали анекдоты, смеялись. Каждый из них время от времени поднимал голову и смотрел туда, где за низкими облаками скрывалась гора Хуступ. Если гора видна, говорили они, значит, на перевалах будет ясно. Но облака плотно облепили гору, и прояснения не предвиделось, а это означало, что всю дорогу будет туман. Водители старались казаться веселее, и анекдоты становились все острее и острее...

Потом заморосил дождь, а ровно в 8:30 автобусы тронулись.

Водителем одного из автобусов оказался старик, толстый, с проплешиной, которому на вид было шестьдесят-шестьдесят пять лет. Его напарник, парень семнадцати лет, был по-юношески худой, длинный и своими тоненькими

Ованес Грачикович Азнаурян родился в марте 1974 г. в Ереване. Окончил Ереванский педагогический институт, факультет истории и основ права. 15 лет преподавал Историю в школе № 55 им. А.П. Чехова г. Еревана, в настоящее время работает системным администратором. Писать начал с 1989 г. Печатался в газетах, журналах, альманахах. Автор книг повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010 г.), «Симфония ожидания» (Ереван, 2014 г.). Призер многих литературных конкурсов в Армении и за ее пределами. Живет в Ереване. В «ДН» печатается впервые.

ногами и большим носом напоминал цаплю. Очевидно, он еще учился «автобусному делу» у старика или просто подрабатывал — во всяком случае, так подумали почти все пассажиры. Когда автобус отъехал, старик-водитель сказал своему напарнику:

— Монго, собери-ка билеты.

— Хорошо. А я сегодня поведу автобус?

— Нет,— ответил старик. — Погода паршивая.

— А если за перевалами будет солнце, дашь поводить?

— Вряд ли за перевалами будет солнце, сынок.

Монго каждый раз бесился, когда старик называл его «сынок» или «малыш», но в этот раз он сдержался.

— А после Ерасхавана, на равнине дашь? Если будет солнце? — упрямо спросил он.

— Вот после Ерасхавана и поговорим, — сказал старик.

Монго пошел собирать билеты. У двоих пассажиров билетов не оказалось, но они заплатили за свои места, которые заняли: все равно они пустовали (т.е. те, кому были проданы билеты, почему-то не явились). Собрав билеты, Монго вернулся и опять сел в свое кресло, рядом со стариком.

А потом автобус попал в туман, и это случилось через какие-нибудь двадцать минут после того, как выехали из Капана. Туман окутал автобус и уже не отпускал. Он был очень плотный, и старику не были видны автобусы, едущие впереди; слева и справа тоже ничего не было видно, была одна сплошная белизна, и старик, казалось, взглядом старался прорвать толщу тумана и медленно вел автобус, большой, красивый и величественный. Автобус этот ехал последним в колонне, состоящей из пяти автобусов. Это объяснялось двумя причинами: во-первых, автобус старика был недавно отремонтирован, а это почти исключало возможность того, что с ним случится какая-нибудь напасть в пути; во-вторых, тем, что вел его сам Мике, самый старший из водителей автобусной компании «Счастливого пути», организовывающей регулярные рейсы Капан-Ереван-Капан. Если что и случится, думали водители других автобусов, старик всегда поможет.

Старик вел автобус, сердился на туман и время от времени поглядывал в сторону Монго. Тот сидел в своем кресле напарника и важно курил — ведь все настоящие водители автобусов курят, а Монго собирался стать настоящим водителем! Он видел, как нелегко приходится старику, и одновременно с ним нажимал на воображаемые педали, и каждый раз, когда старик менял скорость, у Монго сладко замирало сердце в груди.

— А ведь плохо, что мы последние едем в такой туман, правда? Случится что, застрянем — никто и не заметит, — сказал он.

— Молчи уж, Монго, не каркай. Прикури лучше сигарету и дай мне.

Монго закурил, старик взял сигарету и глубоко затянулся, как всегда.

Монго в старике все восхищало, и он, понятно, во всем старался подражать ему: курил совсем как старик, глубоко затягиваясь; носил такую же старую черную куртку, потертую на спине; руки у Монго всегда были грязные, вернее, это была не грязь, а машинное масло, которое уже никак нельзя было смыть; кроме всего прочего, от Монго всегда пахло дизельным топливом, как и от всех уважающих себя водителей... Монго хотел стать настоящим водителем большого автобуса, совершающего международные рейсы. Это была его мечта, о которой он мало кому говорил, и тайно собирал открытки с изображением далеких стран, куда б он хотел поехать на своем автобусе...

— Монго,— вдруг улыбнулся старик, — хочешь повести автобус? Я охотно уступлю тебе свое место.

— Нет уж, — ответил Монго и тоже улыбнулся. — Лучше ты. И врагу не пожелаю вести такую тяжелую машину в такой туман.

— Отлично, Монго! — сказал старик. — Еще сигарету, пожалуйста. И включи магнитофон, только негромко: может, кто и спит.

Автобус был по-прежнему во власти тумана, и о том, что он движется вперед, говорили лишь размеренный гул мотора да белые камни вдоль дороги, которые все же были видны. В автобусе заметно похолодало; ведь дорога все время уходила вверх, поднимаясь с каждым новым поворотом на один «ярус» выше...

— Роза, тебе плохо? Хочешь бумажный пакетик? В карманчике сидения есть бумажный пакетик...

— Нет, Амбо. Просто давай будем молчать...

— Папа, мама сердится?

— Нет, мой мальчик, спи. Маме просто немного не по себе. Чуть-чуть...

— Чуть-чуть... — застонала Роза.

И в это время старик-водитель спросил своего напарника:

— Слышишь какой-то посторонний шум?

Монго прислушался:

— Ничего не слышно.

Старик тяжело вздохнул:

— А мне кажется, что-то стучит... Тоже мне, отремонтировали!

По лицу старика видно было, как он сердится. Монго представил себе, что будет, если автобус застрянет на этом участке пути, а еще хуже после Гориса, и ему вдруг очень захотелось домой, в Капан. Дома его ждала мать, которая каждый раз очень волновалась, когда он, Монго, «уходил в рейс». У Монго из родных были только мать, старик-водитель, которого он тоже очень любил и во всем подражал ему, да еще сестра, вышедшая замуж в Ереване, — у нее и ночует он, когда приезжает в Ереван.

А старик все сердился. Сердился на рабочих авторемонтной, сердился на самого себя, потому что не проверил, как следует, исправна ли машина, сердился даже на Монго, который не слышал никакого постороннего шума в работе мотора. «Вот глупый мальчишка!» — думал он. Потом с тоской подумал о том, что автобус наверняка застрянет в пути.

«Во-первых, пассажиры заживо съедят меня и Монго, потому что во всем, что случается в пути, даже плохая погода, виноват, по их мнению, бывает водитель,— думал он. — Во-вторых...» Но старик не захотел думать, что будет «во-вторых»; он только вздохнул и сбавил скорость.

— Почему мы поехали медленнее? — спросил его Монго.

— Если что и случится, то пусть случится на этом участке, где много сел и деревень, — ответил старик.

— Думаешь, что-то случится?

— Ты слышишь, как стучит в моторе? — спросил старик.

— Нет.

— Когда услышишь, поймешь.

Туман не рассеивался, наоборот: казалось, что он все крепче льнет к окнам автобуса и хочет ворваться вовнутрь. Туман действовал на нервы; пассажирам казалось, что автобус едет вслепую, наощупь, и это было очень неприятно чувствовать, и, когда автобус остановился у какой-то шашлычной, все облегченно вздохнули. Старик обратился по микрофону к пассажирам:

— Остановка пятнадцать минут. Можете выйти, поразмять ноги, купить себе что-нибудь и так далее.

Пассажирам особенно понравилось это «и так далее»; кто-то даже воскликнул:

— В самый раз!

Старик и Монго вышли из автобуса. Моросил дождь. У дверей шашлычной стоял ее хозяин — Овсеп, толстый, лысый, со шрамом через все лицо, в высоких болотных сапогах. Овсеп со своей женой Марьям в этой шашлычной жил с самого 1989 года. «Объект» этот супруги Хачикян не покинули даже тогда, когда в 1992 году началась приграничная война и дачный поселок Кармракар бомбили из соседней страны. Теперь в Кармракаре никто, кроме Овсепа и Марьям, не жил. А корпуса дома отдыха пустовали.

— Что-нибудь случилось? — спросил Овсеп у старика; друг друга они знали давно. Старик в ответ что-то пробурчал.

— Он говорит, что-то стучит в моторе, — важно ответил за старика Монго.

— Понимаешь, Овсеп,— вздохнул старик,— мне кажется, что-то стучит в моторе...

Они зашли в шашлычную и сели у стойки, за которой стояла жена Овсепа.

— Что-нибудь хотите? — спросила она.

— Кофе, — ответил старик. — Мне и Монго. — Потом спросил:— Давно проехали автобусы?

— Последний — сорок минут назад, — ответил Овсеп.

— Слышишь, Монго? Мы здорово отстаем.

— Слышу: на сорок минут, — отозвался Монго.

За одним из столиков сидели мужчина и женщина. Женщина заказала какой-то сок, мужчина — кофе. Они сидели рядом в автобусе, они уже познакомились, и им обоим было скучно...

Когда старик и Монго выпили свой кофе, они вместе с Овсепом вышли посмотреть мотор автобуса. Туман стелился по полям, по-прежнему моросил дождь. Старик завел мотор и послушал, как тот работает. Овсеп Хачикян сказал:

— Я ничего не слышу. С мотором все в порядке.

— Будем надеяться, что ничего не случится, — пробурчал старик. Потом он посмотрел на часы и сказал: — Ну, поехали. До встречи, Овсеп. Поблагодари Марьям за кофе.

Автобус стал отъезжать, Овсеп помахал рукой, и Монго ответил ему. Автобус опять медленно поплыл сквозь туман, осторожно, вслепую. А потом начались повороты, серпантином спускающиеся к ущелью реки Воротан.

— Роза, тебе нехорошо?

— Ничего. Где мы сейчас?

— Ущелье.

— Господи! Когда это кончится? Когда кончатся мои мучения?!

— Молчи, Роза, ты пугаешь мальчика...

В первый раз автобус остановился через полтора часа после дачного поселка Кармракар, когда, уже перейдя по мосту через реку Воротан, поднялся по склону противоположной стороны и очутился на гребне хребта. Стук от мотора доносился такой, что его уже слышали не только старик, но и все пассажиры, которые, когда мотор заглох, поняли, что им «подсунули» неисправный автобус. Но, странное дело, никто и не подумал возмущаться; все сидели тихо, спокойно, как будто ничего и не произошло; в пассажирах угадывалась готовность перенести любые испытания, причем абсолютно безропотно. В этом была какая-то безучастность и равнодушие к собственной судьбе: «Переживем и это»...

Старик грустно посмотрел на Монго. Этого молчания пассажиров он никак не ожидал. «Уж лучше бы они возмущались», — подумал Мике и, сделав знак Монго, взял инструменты из-под сидения и вместе со своим напарником вышел из автобуса. Некоторые пассажиры воспользовались этим и забежали за ближайшие кусты шиповника, растущие вдоль дороги, некоторые вышли покурить. Все еще моросил дождь. Старик с помощью Монго разобрал мотор.

— Теперь понял, что стучало?

— Да, — грустно вздохнул Монго. Ему так захотелось в этот момент оказаться дома, у мамы!..

В автобусе пассажиры тихо переговаривались; они почему-то, сами того не понимая, не смели говорить громко.

— Вы не знаете, почему стоим? — спросила молодая женщина молодого мужчину; они сидели рядом.

— В моторе что-то испортилось.

— Починят?

— Кто их знает.

— Послушайте, а у вас не найдется сигаретки? Очень курить хочется!

— Найдется. Давайте выйдем из автобуса.

Водитель и его напарник копались в моторе, рядом стояли мужчины-пассажиры, тихо переговаривались, обсуждали происшедшее. Мужчина и женщина встали в сторонке; он дал ей сигарету и огня, потом закурил сам.

— Как вы думаете, это надолго? — спросила женщина; она была просто молодая и просто красивая.

— Не знаю,— ответил мужчина. — Я вообще не разбираюсь в машинах.

— А это правда, что автобус приедет в Ереван лишь в шесть тридцать?

— Если так пойдет и дальше, то намного позже. Кстати, вы не боитесь простудиться?

— Нет. Я закаленная. Я целых два месяца спала или в машине, или в палатке.

— Вместе с тем мужчиной, который провожал вас в Капане?

Женщина внимательно и несколько удивленно посмотрела на мужчину.

— Да, — ответила она.

Они помолчали. Было очень тихо, и слышно было лишь, как переговариваются мужчины, вышедшие покурить, и еще — как шумят листья на деревьях.

— Дикое место... — сказала женщина.

— Да. Здесь много диких мест, — сказал мужчина.

— Дикие места пугают. Хочется кричать...

Он посмотрел на нее:

— И часто вам хочется кричать?

— Почти все время. — Она рассмеялась.— А вам разве нет?

— Нет. Никогда не хотелось кричать.

— Чего же вам обычно хочется, а?

— Броситься в пропасть.

— Слишком романтично, вы не находите? Вы уже не мальчик, чтоб хотеть броситься в пропасть.

— Вы правы. Но и вы уже не девочка, чтоб кричать, испугавшись «диких мест».

— Может быть... А кто вы по профессии?

— Журналист. Одна из ереванских газет.

— А что вы делали в Капане? Готовили материал?

— Нет. Разводился.

— Ох, простите!.. — Женщина рассмеялась.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю... Извините.

Опять помолчали. У мужчины было сердитое лицо. Он подумал, что не надо было говорить о разводе.

— Да не сердитесь вы,— улыбнулась женщина.— Я и не хотела смеяться над вами, но у вас было такое несчастное лицо, что я не выдержала... Хотите, я вас поцелую?

— Нет,— ответил он.

— Ну и не надо! Не собиралась я вас целовать на виду у всех пассажиров!

— Послушайте, вы замужем? — вдруг спросил мужчина.

— Это имеет какое-то значение? — спросила женщина, повернулась и пошла в автобус.

Мужчина не сразу пошел за ней. Он решил выкурить еще одну сигарету. Когда он все же, наконец, поднялся в автобус и посмотрел на женщину, та улыбнулась ему. Он сел на свое место у окна, рядом с женщиной, и женщина сказала:

— А я так и думала, что вы не сразу пойдете за мной. Это что, принципиально?

— Нет.

— Не врите. Вы же подумали: «Выкурю еще одну сигарету, потом пойду в автобус, а то она подумает, что я решил за ней ухлестнуть...» Было такое?

Мужчина улыбнулся:

— Нечто такое было.

— Вот видите! Кстати, а что стряслось у вас с женой?

— Не сошлись характерами, прожив вместе пять лет.

— Это всегда так бывает к пяти годам супружеской жизни.

— А вы все знаете, да?

— А если и так? Просто, по-моему, не надо осложнять себе жизнь.

— Вас не беспокоят никакие проблемы? Вас ничто не тревожит? У вас все тишь да гладь? — Мужчина почему-то опять рассердился.

Но женщина спокойно ответила:

— Нет. У меня не все тишь да гладь. — И улыбнулась. Мужчине эта улыбка показалась очень грустной.

Подумав, он сказал:

— Простите. Просто я вспылил.

— Ничего. Бывает. Иногда нужно и рассердиться...

Туман просачивался сквозь деревья, сгущался где-то внизу, и дождь все продолжал моросить.

Старик и Монго собрали мотор.

— Как ты думаешь, долго выдержит?— спросил Монго, показывая на мотор.

— Не знаю.— Старик вытирал руки тряпкой. — Вряд ли. Судя по всему, будем останавливаться каждые полчаса, снова разбирать мотор, потом собирать и ехать дальше.

— Но так ведь невозможно!

— А что прикажешь делать?— Старик рассердился. — Лишь бы доехать до Вайка. Эту деталь найдешь только там.

— Но если так будет продолжаться, мы доедем до Вайка, когда уже будет темно.

— Я знаю это,— сказал старик.

— Что же будем делать?

— Ничего. Переночуем в Вайке.

Монго вздохнул:

— Мне обязательно надо будет позвонить маме в Капан и сестре в Ереван; они будут волноваться.

— Всему автобусу нужно будет позвонить. Так что не думай об этом.

— Посмотрим, как далеко мы уедем с таким мотором,— мрачно сказал Монго.

— Перестань ворчать, малыш, — улыбнулся старик, но Монго ничего не ответил и поднялся в автобус. — Автобус отправляется!— крикнул старик, хотя и кричать не надо было; все давно уже сидели на своих местах и ждали отправления.

Автобус поехал дальше, и дорога, иногда узкая, стиснутая с двух сторон скалами, иногда широкая и прямая (но всегда мокрая!), черной лентой разворачивалась перед ним. И все время был туман, из-за чего автобус казался очень одиноким, и еще из-за тумана казалось, что автобус не знает, куда едет и что его ждет впереди. Он действительно, как и сказал старик-водитель, останавливался каждые полчаса, и старику с его напарником снова и снова приходилось разбирать мотор и заново его собирать. Каждая остановка задерживала автобус на полтора-два часа, и теперь старик думал, что будет большим везением, если они доедут до Вайка к полуночи. «Да, — думал он, — нам бы очень повезло...»

А некоторым пассажирам начинало мало-помалу надоедать то, что автобус все время останавливается и что конца-края этому не видно; другие по-прежнему оставались ко всему равнодушными; третьи вовсе спали; четвертые в уме сочиняли грозные письма в адрес компании «Счастливого пути!»; малолетние дети, заскучав и проголодавшись, начинали ныть. Но, в общем и целом, пассажиры сидели смирно, осознавая, может быть, что все равно им некуда деться, надо лишь вверить свою судьбу старику-водителю и его напарнику и надеяться на их опытность. С другой стороны, зная, что в конце концов можно сойти с автобуса у какой-нибудь деревни и на попутных добраться до Еревана (или по крайней мере до Вайка), пассажиры все же этого не делали: автобус уже стал родным и близким, и покинуть его было как-то совестно... Всегда так! И старик вдруг понял, что бунта на корабле не будет, и на душе у него стало спокойно и одновременно мерзко: неужели никто не восстанет?! И так каждый раз старик задавал этот вопрос, ответ на который был и оставался отрицательным: не восстанет... Только однажды, когда мотор автобуса в очередной раз заглох, одна женщина на вопрос своего мужа, как та себя чувствует, ответила:

— НЕУЖЕЛИ МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА ТО, ЧТОБ ЕХАТЬ И ТАК НИКУДА И НЕ ДОЕХАТЬ?

Некоторые, услышав это, рассмеялись, а старик и Монго, ничего не сказав друг другу, вышли из автобуса — в который раз!— разобрали мотор, снова собрали, и автобус поехал дальше.

А потом за окном стало темнеть, и старик-водитель включил свет в салоне, и тогда пассажиры свыклись с мыслью, что придется переночевать в Вайке, единственном городе после Гориса на пути в Ереван. Когда старик включил свет в салоне, пассажирам автобус стал казаться родным домом. Настоящие же их дома и квартиры теперь казались очень далекими и нереальными, как будто из другого мира...

Кто-то достал припасенные бутерброды и начал есть, кто-то, когда вклю-

чили свет, продолжил чтение журнала или газеты, прерванное из-за темноты, третий, приняв более удобное положение в кресле, продолжал спать.

— Страшно, когда темнеет, — сказала женщина мужчине. — Сумерки — самое тяжелое время суток. В сумерки легко покончить собой.

— Я тоже ненавижу сумерки,— сказал мужчина.— Они давят. Лучше всего, когда начинает темнеть, выйти из дома и гулять. К сожалению, в последнее время это получается все реже и реже. Сидим у себя в квартирах и боимся выходить.

— А где наши дома?— спросила женщина.— Разве они есть? Кто из этих пассажиров может теперь с уверенностью сказать, что у него есть дом? Наш дом теперь вот этот автобус. И от него зависит наша жизнь. Он — наша жизнь и наш путь...

Мужчина усмехнулся:

— Автобус, который едет вслепую?

— Пусть вслепую. Но этот автобус — наш. Если честно, я и не хочу, чтоб он куда-то приехал. Лучше сидеть в нем и ехать. Просто ехать. И не думать. И так пребывать вне времени. Ведь мы сейчас как бы выбыли из времени; время не движется, потому что автобус все время едет, правда, очень часто останавливаясь. Но как раз эти остановки и стирают время. За окном светло, потом темно, но время остановилось, потому что все время туман и моросит дождь... Время — там, в Капане или Ереване, а здесь, в автобусе, оно остановилось. И слава Богу! Когда время останавливается, ты не стареешь...

— Вот куда вас занесло!— сказал мужчина.

— Да... Это на меня автобус действует, и то, что за окном темнеет. Туман и сумерки... Что может быть бесконечнее и безысходнее?

Мужчина промолчал. Он подумал, что, в общем-то, и ему не хочется куда-нибудь доехать. Пускай автобус едет вот так, в тумане, вслепую, и так и не доберется до Еревана или до Вайка. Это будет лучше всего. И он подумал еще, что женщина права: они выпали из времени. И слава богу!.. Кстати: он до сих пор не знает ее имени. И тут он спросил себя: а хочет ли он знать ее имя?

— Нет,— ответил он сам себе вслух.

Женщина, сидящая рядом с ним, посмотрела на него:

— Вы что-то сказали?

— Нет. Просто думал.

— Я тоже думала. Я подумала, что мы до сих пор не знаем имени друг друга. Давайте познакомимся. Меня зовут Жанна...

Мужчина пробормотал что-то в ответ, и женщина не расслышала, как его зовут, но не стала переспрашивать.

«А в принципе, какое это имеет значение?»— подумала она.

Автобус крался осторожно сквозь туман, останавливался, снова ехал, и число пассажиров, уснувших в своих креслах, увеличивалось. Уснул и Монго, и старик знал, что, когда в очередной раз мотор заглохнет, он не станет его будить. Он знал также, что не надо думать, сколько еще осталось времени, чтоб доехать до Вайка. Лучше об этом не думать. Ведь все равно этим делу не поможешь. Нужно просто вести автобус вперед и постараться сделать так, чтоб ничего с ним не случилось...

А Монго спал рядом в кресле напарника, и ему снились далекие страны, куда он поведет в будущем свой большой, красивый автобус.

Карине Ашугян

Может, в другой ещё жизни

Перевод Таисии Лесновой

Потоп

Когда во мгле дожди изнемогли,
вдруг голуби
взметнулись над водой
и свет, весельем ослеплённый,
на крыльях принесли —
как только солнце
пробудилось ото сна.
И лишь вороны-слепыши
все почернели от тоски,
полёт и высота им не по силам,
и размечтались, что в другой жизни
родятся голубями в белых перьях.

А Ной, уже в который раз,
из красных вод, из волн
за волосы тащил
и вытащил из бездны наше время —
такое старое,
без памяти, без сил,
вдыхая жизнь в него, до неба возносил.

Карине Ашугян родилась в Армении, в Арарате. Закончила факультет философии и социологии Ереванского университета и аспирантуру Института философии и права Академии наук РА. Автор сборников стихов: «Стихотворения» (Ереван, 1995), «Амулеты» (Ереван, 2006), а также книг прозы: «Чемодан судьбы» (Ереван, 2014) и др. Ее стихи переведены на английский и персидский языки. Переводит поэзию и прозу А.Ахматовой, М.Цветаевой, И.Бунина, В.Набокова и др. на армянский. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Ереване.

Другая жизнь

Может, в другой ещё жизни,
от нежности нашей — сам космос
откроется вдруг новой тайной,
пронизанной тёплым светом,
к восторгу расцветших звёзд.

Может, в другой ещё жизни,
от нежности нашей — земля
в любви и в цвету разгуляется
и райским запомнится садом.

Может, в другой ещё жизни,
мы раньше узнаем друг друга —
захваченные с первого взгляда,
влюблённые с первого поцелуя.
чтоб друг другу дарить на счастье
секунду каждую и — жизнь.

А сейчас, мой суженый-ряженый,
ненаглядный-невстреченный,
вторая моя половинка,
смотри, смотри вот этот сон
про нашу жизнь, которая, может, будет.

Одинокая женщина

Одинокая женщина
Более одинока,
Чем другой человек,
Чем другая женщина,
Чем даже мать-одиночка.

Одинокая женщина,
Если счастлива, то счастлива
День и ночь,
Она даже не обернётся
На призывный взгляд
Крутой крыши новенькой высотки,
Она каждый божий день
Только и делает, что избегает мостов,
Опасных бритв, ножей,
Шарахается от аварий, ядов
И даже от удавки,
Сплетённой из своих же пальцев,
И в самый последний миг
Вырвется от маньяка-убийцы.

Одинокая женщина,
Прибитая к деревянному кресту,
И хоть бы кто разглядел
Гвозди — в глазах,
Во лбу, в сердце,
Гвозди —
Во всем теле и в душе.

Одинокая женщина,
Прибитая к деревянному кресту,
На котором побегом
Проснулись мечты
С улыбками
Зелёных нежных листьев.

Одинокая женщина
Более одинока,
Чем другой человек,
Чем другая женщина,
Чем даже мать-одиночка.
Чем — ОН...
Прости, прости мя, Господи!
На этой земле
Одинокой женщиной,
Женщиной Ты не был.

Марго Гукасян

Матушки Алмаст армянского народа

Перевод Эринэ Бабаханян

От публикатора

В последние годы мне довелось изучить множество документальных материалов по истории Армении. Среди них особое и очень важное место занимают документальные свидетельства самых разных людей о быте, о семейном укладе армян, а также о драматических событиях, коих немало выпало на долю этого многострадального народа.

Хочу поведать читателям одну из таких историй. Это рассказ писательницы Марго Гукасян, повествующий о ее свекрови, которую она с любовью называла матушка Алмаст. Подобные истории типичны для армянских семей. На таких матушках Алмаст издревле держались семейные устои, они наподобие сказочной птицы Феникс восставали из пепла после исторических трагедий, воспитывали новые поколения армян, сильных духом, талантливых, трудолюбивых, красивых душой, верных памяти своего народа, почитающих предков и взращивающих новые плоды на благородном древе армянства.

Виктор КОНОПЛЁВ

Всегда будет крутиться колесо фортуны: кто знает, какие возможности скрыты по другую сторону занавеса будущего. Не гасите лампаду надежды на алтаре идеи вашей жизни. Храните свой родной язык — Ключ вашего счастья.

Архиепископ Торгом Гушакян

Дом матушки Алмаст в деревне Карагёл губернии Себастия был уменьшенным вариантом дома в Ереване, в который я вошла невесткой в 1950 году.

В нем был небольшой аккуратный тонир[1], который она соорудила своими руками. После выпечки хлеба под тониром все жарко тлел огонь. Матушка Алмаст ставила на него медный котел с обедом, приговаривая: пусть медленно варится. Обед варился долго, из-под крышки разносилось бульканье. Очень вкусной была эта еда.

В полутемной прихожей стоял бочонок для приготовления пахты —

маслобойка. До моего прихода в этот дом маслобойка была одной из часто употреблявшихся вещей, поскольку рядом с построенным на примыкающим к подножью холме Планы глух[2] домом, с земляным полом и неровными стенами, в хлеву держали корову и двух-трех овец. Жаль, что я не видела, как сбивали в этом бочонке масло, но впоследствии очень много слышала об этом от соседей.

Не могу не рассказать о курах. Одна из них несла яйца с двумя желтками, она была крупноватая, как ее характеризовала хозяйка, с белыми пятнами.

— Это курица Марго, она всегда несет яйца с двумя желтками, — радуясь от всего сердца, говорила матушка Алмаст всем приходившим в дом.

Меня это почему-то сердило. Почему? Не знаю. А матушка Алмаст «оправдывалась»:

— Моя невестка обезумела, разве плохо, что яйцо о двух желтках?

Карасы[3] — с соленьями и каурмой[4]. Заквашенное ее руками соленье сохранялось до самого мая. На дно караса она бросала горстку ячменя, как было принято делать в ее деревне, в Карагёле. Зеленые помидоры, огурцы, капуста, перец, различные специи — после сквашивания все это становилось у нее желтым, как хунк[5]. Неужели причиной был ячмень?

Она всегда сокрушалась, что «здесь нет репы, соленье из нее — самое лучшее».

Помню, когда мы переезжали в новый дом и пришел человек, чтобы забрать маслобойку, это было для нее настоящей трагедией. Из ее глаз катились крупные слезы. Первым стишком, которому она научила впоследствии своих внуков, было:

Хноци[6], ароци[7],
Тан — тебе, масло — мне.

А карас для соленья, который вмещал по меньшей мере два больших ведра, спустя годы я отдала жене плотника Баграта, жившей в нашем дворе: вроде, слишком много места занимал. Но должна признаться, в дальнейшем я очень сожалела об этом, особенно в те моменты, когда припоминала, как матушка своими длинными красивыми пальцами с узкими кончиками прикрывала трещину незнакомой мне замазкой, которая должна была «вылечить» карас, чтобы ни капли воды не проливалось.

У матушки Алмаст было много интересных приспособлений: гребень-чесалка для шерсти, хонча[8], сундук с разноцветными пластинками из металла, украшенными геометрическими узорами, а также ручной жернов. Понятно, теперь ничего не осталось, кроме сундука, с искусно, мастерски сделанным замком. Он имеет семь сообщающихся ветвей, которые можно одновременно открывать или закрывать с помощью одного ключа. Ключ то терялся, то снова находился, хотя никогда и не бывало необходимости запирать сундук на ключ. Теперь этот сундук — хранилище нашей скобяной утвари.

Сатр. Этим предметом отбивалось мясо для кюфты и толмы. Одно время он висел в кухне на стене. Но когда дети подросли, я испугалась: вдруг повредят руки. Чего только не приходит человеку в голову. И я спрятала этот сатр подальше с глаз. А толстую прочную доску с рукояткой специально заказала, чтобы отбивать мясо на ней. Сейчас эта доска оказалась в бездействии, спрятана за сундуком.

При переезде на новую квартиру и перевозке вещей потерялся кувшин. До сих пор жалею. Красивый был кувшин, в течение длительного времени сохранял воду холодной.

Надо было видеть большую кастрюлю, в которой на нашу с ее сыном свадьбу была сварена толма. На ней были кованые ручки-держалки. Они были разрисованы орнаментом, края напоминали змеиные головки, плотно входящие в кольца. Если держалки, или, как их называла матушка Алмаст, канты, поднять одновременно и отпустить, раздавался оглушительный грохот. После свадьбы несколько дней матушка Алмаст раздавала толму соседям, а та все не кончалась. Спустя годы, на свадьбу своего сына и я буду варить кюфту[9] в этой же кастрюле.

Маленький медный поднос-лоток. Матушка на нем пекла печенье. Оно называлось «бурма». Хориз[10] готовила из муки, домашнего масла и измельченных орехов, наносила на раскатанное тесто, сворачивала его в трубочки и помещала на поднос в форме спирали. Сверху смазывала взбитым яйцом. После выпекания бурма становилась красной, как роза, и распространяла прекрасный аромат. Теперь на этом подносе я перебираю чечевицу и дзавар[11].

Чуть не забыла упомянуть решето, которое было соткано то ли из овечьих кишок, то ли из кишок ягнят, на нем были геометрические узоры. Оно стало украшением моего археологического уголка и являлось предметом зависти многих. Однажды даже мне предложили произвести обмен.

Ох, ох, как она готовила каурму! Дня за два до этого они с моим свекром Гукасом начинали спорить, что для этого нужно: два барана и один теленок или достаточно только двух баранов. Проходило сказанное матушкой: что ей хотелось, то он и приносил. Я спрашивала: матушка, зачем так много? Она отвечала: что бы ты сказала, если бы видела, сколько мы готовили в Карагёле...

В танапур[12] она бросала мяту и голубой цветок. Этот цветок растет на лугах, на пастбищах, я его отличаю на вид, однако названия не знаю. Бывает, он мне встречается — почти фиолетовый, на длинном стебле — и тогда я говорю: ой, это трава матушки Алмаст, которую она клала в танапур. А я, конечно, довольствуюсь кинзой[13]. Иногда луковую поджарку она готовила на масле от каурмы, оставшемся на дне кувшина. Во время еды попадались маленькие кусочки мяса. Очень вкусно было...

Да, не забыть бы еще о маслобойке. Соседи были очень привязаны к матушке. Она была их советчицей и одновременно, в нужный момент, — помощницей. Правда, маслобойки уже не было, но соседи вспоминали о ней с большой любовью, как об одушевленном существе.

В 1941—1946 годах, да и после, пока еще была корова, а продовольствия не очень хватало, тана матушка готовила очень много и звала: Епраксия (у той было четверо детей, а муж погиб на войне), Зарик, Хатун (имя апаранской соседки я забыла), берите посуду и приходите. Наливала тан, бросала в него кусочек сливочного масла, приговаривая: детям готовьте танапур. Этого я сама не видела, но много раз слышала как раз от перечисленных мной соседок.

Матушка никогда не забывала перед началом любой работы — приготовления каурмы, варенья и прочего — произносить «Бог в помощь». Эта привычка передалась и мне. Прежде чем начать писать статью, особенно трудную и объемную, я всегда громко говорила: «Бог в помощь», а если забывала и вспоминала только на полпути, все равно вслух произносила: «Бог в помощь» и добавляла: «Святой не станет на меня обижаться».

Торжественная церемония купания внуков. После заполнения ванны теплой водой она бросала туда полную горсть соли, приговаривая: «Пусть кожа крпана[14]». То есть пускай окрепнет. После завершения купания и тщательного полоскания, в самом конце, она говорила: «Опля взик» (по словам жителей Басена — длинная шейка). Порой, держа ребенка за ноги, головой вниз, слегка встряхивая его, чтобы высушить, приговаривала: «Водичка, уйди, мясцо, приди».

* * *

С древних времен существует выражение: женщина — внутренняя стена дома, а мужчина — внешняя. Вероятно, внутренняя стена более теплая и нежная, потому и начала я с матушки. Вернее, пошла по легкому пути: начала рассказ с 50-х — с последних лет жизни матушки Алмаст, которые прошли перед моими глазами, в моем присутствии. Но сколько можно написать о ее молодости, слушая и ее рассказы, и рассказы других! Правда, все они очень грустные, вот почему я попыталась хотя бы немного отсрочить их описание.

Ее жизнь до 1915 года и после...

Трудно, невероятно трудно. В жизни как жены, так и мужа сконцентрирована трагедия целой нации. И Бог тогда не был «в помощь».

Я возвращаюсь назад, чтобы начать рассказ о ее родине и колыбели: деревне Карагёл губернии Тонус, в Себастии. Она родилась в 1887 году. Ей было тринадцать лет, когда ее выдали замуж за человека, чья жена умерла при родах первенца. Новорожденного нарекли именем Агарон. Для оставшегося без матери младенца тринадцатилетняя девчушка стала матерью и полюбила его как своего ребенка.

У него были черные красивые глазки, а голос!.. Спр*о*сите, откуда я это знаю? Я очень часто слышала это от матушки.

— С восьми лет он пел в церкви, ты бы с раскрытым ртом слушала его. Все выходившие из церкви произносили имя моего Агарона, — говорила матушка.

По глазам Алмаст было видно, что ее сердце все еще ноет. Сколько лет прошло... Не лет даже, а десятилетий.

Ну вот, ей тринадцать лет. Такая маленькая? — удивляюсь я.

— Меня не спрашивали, — отвечала она. — Я была высокой худой девушкой, длинной и тонкой, как тростинка. И моя старшая сестра тоже была высокого роста. Когда мы шагали рядом, люди говорили: смотрите, высокие сестры пошли.

В Еркире[15] девушек рано выдавали замуж, в 13—14 лет считалось, что они уже созрели для замужества. Ну тогда пускай и Алмаст создаст семью, ребенка заимеет и вырастит его. Когда я представляла себе эту крупную высокую женщину тонкой и длинной хворостинкой (чибух), меня разбирал смех.

— Что случилось, снова чибух вспомнила? — говорила свекровь.

Куда подевалась ее стройность? Когда она сидит, тогда заметно. Но если стоит, кажется, что злая сила сложила ее пополам. Тяжкую причину этого я узнаю слишком поздно.

* * *

К моменту выселения, то есть, к 1915 году, у Алмаст было уже четверо собственных детей. Их звали Шнорк, Паргев, Змрут (Змрухт). Насчет четвертого имени сомневаюсь, но, кажется, Ншан. Однако было бы правильнее не выдумывать, раз точно не помню, а назвать его Безымянным.

Значит, как она сама перечисляла: Агарон, Шнорк, Паргев, Змрут, Безымянный. Пятеро детей, а ей было всего двадцать восемь лет. На ее плече было вытатуировано имя только одного: Агайрон.

— Матушка, — говорила я, — в написанном на твоем плече имени ошибка.

— Что поделать? — говорила она. — Верно или неверно, нет никакого вреда, достаточно, что это имя всегда со мной.

И это был не ею рожденный ребенок, а оставшийся от первой жены мужа. Добрая, любвеобильная матушка Алмаст! Имя Агарона навсегда осталось в ее памяти на первом месте. Так же, как и название ее родной деревни — Карагёл. И когда она слышала название другой деревни, говорила: не заменит Карагёл.

Карагёл — Черное озеро. Оно образовалось из холодной прозрачной, бурно бьющей родниковой воды.

— Села без воды не может быть, — говорила она. — Вода дает ему жизнь. Когда солнце опускалось, шло на закат, казалось, что прямо в воду, поверхность сверкала, как зеркало.

В Карагёле в начале двадцатого века было 350 домов, население — только армяне, все говорили на армянском языке, все были грамотными. В деревне было две церкви: Святой Богородицы и Святого Акоба. А также две школы: для верхнего и нижнего районов. Обо всем этом я столько слышала, что порой мне казалось, будто я сама там бывала, видела детей, которые ходили в школу обязательно в лаптях или в тапках, как она называла их обувь, а зимой в них запихивали солому или сено, чтобы ноги не замерзали.

Бывало, спокойно сидим, и вдруг, поглядев на свои руки, она искренне удивлялась: сколько же теста я заместила вот этими руками!.. И начинала рассказывать:

— Рано утром просыпалась я, еще темно бывало. Одна из невесток вечером больше пуда муки просеяла и высыпала ее в большую деревянную кадку. И я начинала месить, до тех пор, пока тесто не становилось таким, каким должно быть. Затем накрывала его полотенцем, оставляла, чтобы дошло. У нас была большая семья. Когда тонир уже разогревался, одна из невесток разделывала тесто, другая раскатывала его, третья пекла...

Разглядываю руки матушки: от локтя до кисти — сильные, крупные, очень красивые, пальцы длинные, с узкими кончиками. Говорю: матушка, твои руки очень красивые. Что от них осталось? — сокрушается она и снова повторяет: этими руками сколько теста замесила я...

И у нас дома она месила тесто: для гаты, биши, бурмы и особенно — для эришты[16]. Эришта — особая и длинная история. Матушка разбивала двадцать-тридцать яиц, а может, и больше, добавляла молоко, засыпала мукой и долго месила тесто, пока оно не становилось твердым, крутым. Для того чтобы так тонко раскатывать тесто, как она, скалкой, с помощью охлави[17], и особенно мастерски разрезать его, надо было иметь ее сноровку. У нее были белые веревки, на них она вывешивала нити эришты, которые растягивались и

удлинялись. На полу были расстелены подстилки для того, чтобы, если вдруг концы оторвались бы и высыпались, они могли бы досохнуть на них. Из этой желтоватой эришты получался очень питательный плов.

– Где тан? — спрашивал отец.

– Ой, муженек, погоди, несу, — слышался голос матери.

По правде говоря, матушка не говорила «плов», она произносила «пилав». Пилав с эриштой, пилав с булгуром[18] , рисовый пилав.

Булгур она варила в большой кастрюле. До моего прихода в их семью она использовала свой собственный санд[19] . Затем относила во двор своего земляка и там толкла уже его сандом. Я говорила, что у нее был и жернов, она размалывала им зерно сама. Мелко — для супа, крупно — для плова и кюфты с булгуром, в которую она клала отбитое и зажаренное жирное баранье мясо — каймак, как она называла.

Да, вот еще: когда матушка Алмаст просеивала на ветру пшеничную крупу или булгур, она, как было принято в Еркире, пела себе под нос:

Прошу тебя, Еран,
Солома тебе, а мне зерно.

В нашем доме часто вспоминали о еде в Еркире. Которую бы сейчас описать? Обед с соленьем из репы, который часто варили в Еркире, или рассол этого соленья, один стакан которого спасал от сильной головной боли? Толму с луком или ишли-кюфту? А биши!

В провинции Себастия, как я уже говорила, была принята форма слова «пилав», и довольно распространенной была фамилия Пилавян. Добавлю еще несколько других слов, которые Алмаст сохранила в своей речи до самого конца. Она не говорила «колется», а говорила «касхнте», произносила не «вкусно», а «вкусто». А понятие «вкус во рту» было целой философией: оно означало, что в семье должны быть мир и гармония, любовь друг к другу, чтобы, садясь за стол, ощущать особый вкус во рту.

(Другой вариант выражения «вкус во рту» я слышала от своей матери, которая была родом из Басена: ведите себя так, чтобы то, что я поела, не ушло бы в спину.)

«Арзевен убежал, под град попал». Эту пословицу Алмаст часто вспоминала.

Веретено. Не помню, говорила она «веретено» или «прялка», но она была одной из памятных в нашем доме вещей, которую хранили как зеницу ока. Она неожиданно появлялась из какого-либо ящика: ой, матушкино веретено! Ее сын говорил: «Смотрите, не потеряйте мамино веретено». Его доставали и вешали на старый ковер. Потом снова прятали куда-нибудь глубоко, в надежное место. Когда вновь обнаруживали, теперь уже внук предупреждал: «Храните бабушкино веретено!».

* * *

Молитва. Перед сном, когда поверх одеяла она накидывала теплую шаль (ведь у нее очень болели ноги и спина) и плечи прикрывала, просила меня укутать ее, подоткнув одеяло ей под спину. После этого начинала молитву, почти неслышно бормоча. Непривычная была молитва, больше ни от кого я такой не слыхала.

Боже, сперва помоги идущему по морю,
Потом — идущему в тюрьму,
Потом помоги идущему в больницу,
И только после — приди на помощь моим детям.

Эту молитву она вынесла из родного Карагёла. С ней она держала путь в пустыне Дер-Зор и не раз с распростертыми руками обращалась к небесному владыке, в самом конце просила помочь ее детям, свету очей ее, шагающим по раскаленным пескам, с иссохшими ртами, томящимися жаждой. Но, увы, ее голос не был услышан...

Недавно я столкнулась с чем-то подобным. В очередной раз взявши в руки «Лирику» Аветика Исаакяна, я остановилась на 217 странице:

Прежде всего, пусть он поможет
Каждому больному, потом — страннику.
После всего пусть он поможет
Тебе, мое бедное дитя, мой скиталец.

Разве не из одного и того же источника они возникли? И неужели молитва не стихотворение, равно как стихотворение не молитва? Исаакян написал свою молитву в 1911 году, в Константинополе, матушка принесла свою из глубокого прошлого своей утраченной родины.

И я в июле 2006 года добавила к ним свою:

Боже, сперва помоги тому, кто глубоко в море,
Потом — тому, кто в небе,
Потом помоги тем, кто под землей, в рудниках,
И только после...

Но трудно, очень трудно. У нас так много просьб, и настолько сложных, что это даже превыше Божьих сил. Однажды, к сожалению, случилось так, что самолет, летевший из Еревана, упал в Черное море...

* * *

В 1950-е годы перед нашим домом, что на улице Терьяна, иногда средь бела дня, но чаще ночью, не знаю, с Гарнийских гор или со стороны Анкавана через Планы глух, спускались стада овец. Сотнями, тысячами. Собаки шли по бокам стада подобно сторожам, а с ними и курды-пастухи, выкрикивая «хирра-хирра». Когда уходило стадо овец, приходили верблюды, на которых сидели, скорее даже восседали, их жены в разноцветных одеждах и косынках и дети. Из хурджинов высовывались головы малышей.

Матушка Алмаст глядела на верблюдов, а когда они уже уходили, говорила:

— Их я много видела. С тяжелой ношей на спине садились и уже подниматься не хотели. Говорили, если верблюд плюнет на человека, возникнет неизлечимая рана.

— Матушка, где ты видела верблюдов? — спросила я как-то. Она посмотрела на меня, долго не отвечала, а потом сказала:

— В пустыне Дер-Зор видела. Стояла страшная жара, не было ни капли воды, нагруженные верблюды постояли около нас и пошли дальше.

Дер-Зор. Я беседовала с членом моей семьи — человеком, который прошел через пустыню смерти.

Много написано на эту тему. Что могу я добавить еще? Однако, раз уж взяла в руки перо, надо сказать. Моя семья с обеих сторон испытала на себе 1915 год: мои родители из Басена, родители моего мужа — из деревень Ишхан и Карагёл провинции Себастия.

Вся Западная Армения превратилась в кладбище. А дети Алмаст, которых было пятеро... Никто из них не вынес нечеловеческих трудностей: ни Змрухт, ни Паргев, ни Шнорк, ни Безымянный. Все погибли.

Последним был Агарон: Агайрон, как с ошибкой было вытатуировано на ее плече, имя, которое до конца оставалось с ней и вместе с ней ушло в мир иной.

— Чего ты от меня хочешь, невестушка? — говорила она. — Разве я могу рассказать тебе, что мы перенесли? Это не передать словами. Камень стал нам подушкой, мы пролезли сквозь иголочное ушко, надели окровавленную рубашку...

Агарон был старше всех. Малышку, которая, по словам матушки, была самой легкой, он долгое время нес на плечах. Постепенно, когда уже и малышки не стало, от сладкоголосого мальчугана с красивыми глазами, Агарона, почти ничего не осталось... И когда они были уже совсем близко от Алеппо, он не выдержал. Угас. Он тоже остался в далеких краях...

— «Воды, воды!» — этот крик все время звучит в моих ушах.

В то время, когда я писала эти строки, мне слышались их голоса из далекого далека... А когда в 1971 году я поехала туристкой в Сирию, однажды вечером мы — четверо-пятеро армян — бродили по улицам Хомса (Хомс, Алеппо — города, до которого в 1915 году добрались самые счастливые из наших страдальцев), и вдруг Эдмон — один из нашей группы — громко прокричал:

— Армяне, армяне, кто здесь есть из армян?..

Шедший в нескольких шагах перед нами молодой человек оглянулся:

— Кто звал армян? Я армянин, что нужно?

Его звали Карапет. Он сказал: «Хотите, я вас отведу в наш клуб, там много армян, некоторые из них тоже носят имя Карапет.

Эти Карапеты, оторванные от своей колыбели, были потомками армян, уцелевших сто лет назад.

Куда бы вы ни поехали, всюду встретите армян.

1915-й сильно разбросал наш народ. Это был такой удар, после которого уцелели лишь осколки. В каких только краях не встретишь армян! Нет такого места. И это — трагедия народа.

* * *

— Матушка моя, прошедшая сквозь игольное ушко, помнишь ли ты, что, когда вы еще жили в Карагёле, вашим сельским старостой был Менаския Айтаян? Наверняка вспомнишь. Но ты не узнала, что после того, как деревню опустошили, он и его семья избежали смерти. Каким образом? — с удивлением спросишь ты. А вот как: обслуживая своих палачей, морально и материально. Вот так.

Однако они ошибались... Через год, хотя весь их род принял ислам, и —

неслыханное дело! — брат, бывший церковным псаломщиком, стал провозглашать азан — призыв на намаз, сделался этот азан его лебединой песней...

Будучи туристом в Турции в 1980 году, я проходила по памятным местам и встречала на обочинах дорожные стрелки, указывавшие направление: в Себастию, Кесарию, Коньи, и почва уходила у меня из-под ног.

В сувенирном магазине Каппадокии я увидела небольшую чашку, изготовленную из мрамора. Представляешь, дорогая матушка Алмаст, этот кусок камня был взят из рудников какого-то населенного пункта провинции Себастия, находившегося в районе ваших земель. Я сразу же купила чашку. Вечером, когда, уставшая, легла отдохнуть и стала любоваться своим приобретением, я вспомнила о просьбе моих домашних: смотри, камней не привози! Им хорошо была известна моя слабость. Однако, когда они узнали, откуда появился осколок этого красивого камня... Эту великолепную мраморную реликвию родила твоя родная земля! В то время как ты неведомыми путями ушла далеко от нее...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тонир — печь, сооруженная в земле.

[2] Название района в центре Еревана (раньше он был началом и концом кольцевого маршрута городского транспорта, поэтому в дословном переводе название означает «Голова плана»).

[3] Карас — большой глиняный кувшин.

[4] Каурма — сваренное, затем зажаренное и залитое жиром мясо для зимнего хранения.

[5] Хунк — ладан, фимиам.

[6] Хноци — бочонок для пахтанья.

[7] Ароци — мешалка.

[8] Хонча — поднос с едой и подарками, отправляемый в дом сватов, родственников и т.д. в торжественные и праздничные дни.

[9] Кюфта — кололак (род тефтелей).

[10] Хориз — начинка.

[11] Дзавар — зерновые.

[12] Танапур — спас, суп из пахты.

[13] Кинза — кориандр.

[14] Задубеет.

[15] Еркир (Страна) — так называли Западную Армению в те времена.

[16] Эришта — лапша.

[17] Охлави — вид скалки.

[18] Булгур — крупа обдирная (пшеничная).

[19] Санд — каменная ступа.

Илья Фаликов

Борис Рыжий. Дивий Камень

Часть первая

В комнате за сценой собралась послеконцертная компания, и Борис почитал свои стихи наравне с другими, а потом спросил:

— Евгений Александрович, вам не кажется, что здесь только два поэта — вы и я?

Евтушенко ответил, коротко подумав:

— Да, наверно.

Шел июнь 1997-го. Евтушенко прилетал в Екатеринбург на один-единственный концерт. Через три года Борис сказал мне:

— Я не читал ни строки Евтушенко.

Под занавес двухтысячного года Рыжий обронил в печати, что «Евтушенко» в его семье было «ругательным словом». Существуют и эти стихи:

Евгений Александрович Евтушенко в красной рубахе,
говорящий, что любит всех женщин, —
суть символ эпохи,
ни больше, ни меньше,

ни уже, ни шире.
Я был на его концерте
и понял, как славно жить в этом мире.
Я видел бессмертье.

Бессмертье плясало в красной
рубахе, орало и пело
в рубахе атласной
навыпуск — бездарно и смело.

Теперь кроме шуток:
любить наших женщин
готовый, во все времена находился счастливый придурок.
...И в зале рыдают, и зал рукоплещет.

Илья Фаликов родился во Владивостоке (1942). Автор десяти книг лирики: «Ель», «Месяц гнезд», «Ласточкино лето», «Книга лирики», «Ком», «Сговор слов» (совм. с Н.Аришиной), «Сто стихотворений» и др., четырех романов в прозе: «Белое на белом», «Трилистник жесткой воды», «Ливерпуль», «Полоса отчуждения», двух книг эссеистики о поэзии: «Прозапростихи», «Фактор фонаря». Лауреат нескольких литературных премий. Фрагменты книги «Евтушенко. Love story» (серия «ЖЗЛ: биография продолжается...», 2014) опубликованы в «ДН» (2013, №7). Последняя публикация в «ДН» — 2014, № 1.

ОТ АВТОРА. Читателям «ДН» предлагается сильно сокращенный вариант книги о Борисе Рыжем, написанной для Малой серии «ЖЗЛ», – собрав уйму героев и голосов, моя работа выражает сугубо личный взгляд на крупного русского поэта рубежа тысячелетий.

Так себе стишок, но он есть, а внутри сих разоблачений — вздох белой зависти и, между прочим, восхищения натурой. Счастливый придурок...

Более того. Вскоре после встречи с Евтушенко он принес домой фотку: они сидят в обнимку — и поставил ее на полку среди прочих заветных снимков.

Что-то припоминаются такие евтушенковские стихи:

Играла девка на гармошке.
Она была пьяна слегка,
и корка чёрная горбушки
лоснилась вся от чеснока.

Рыжий:

Ах, подожди ещё немножко,
постой со мной, послушай, как
играет мальчик на гармошке —
дитя бараков и бродяг.

Подобного много, если всмотреться.

Таков герой этой книги. Непрост, скажем так.

Тотчас по его уходе, крайне раннем, к Борису Рыжему прилепили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». То и другое опять же напоминает о Евтушенко, каковой и сам определяется как последний советский поэт. Дивны дела твои, Господи, — Борису и в голову не пришла бы эдакая аналогия, ан кто знает, как наше слово отзовется. Так что? Борис Рыжий — оный новый Евтушенко? Речь не о том.

Рыжий:

Тут речь о том, что будем
Мы нашу честь беречь.

Стоит почитать стихи Рыжего начиная с середины 1990-х: тематически, стилистически и тому подобное — «Камень хладный поцелую», Петербург. Блоковская музыка, лебеди, фонтаны, парки, дворцы, каналы, мосты. Обожаемые мэтры — Рейн, Кушнер. В классических образцах — Державин, Батюшков, Пушкин, Дельвиг, Денис Давыдов, Лермонтов, Боратынский, Вяземский, Некрасов, Тютчев, Аполлон Григорьев, Полонский, Огарёв, Фет, Случевский, Блок, Брюсов, Анненский, Сологуб, Заболоцкий, Георгий Иванов, Адамович, Ахматова. Никакого «больше чем поэта». Поэт. Только поэт, и никто другой.

Над саквояжем в чёрной арке
всю ночь играл саксофонист.
Бродяга на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с чёрным бантом
играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, —
спи, ни о чём не беспокойся,
есть только музыка одна.

Написано в том самом 1997-м. В Петербурге. У Рыжего много стихов об уличных музыкантах и вообще об уличной музыке. Это о себе. Поэт улицы, уличный мальчишка. Так? Не так. Близкие знали: он по сути домосед и неделями не выходит из дому.

Города было два, два бурга — в честь Петра и в честь Екатерины. И Пётр, и Екатерина — не те, о ком мы думаем. Напомню: Пётр есть Камень.

Дома у него было тоже два. Свой, с женой и сыном, и — родительский, в двух шагах от своего. Там и там — сперва только у родителей — был телефон. Это уже нечто третье — остальной мир, с которым он говорил чуть не без умолку. Раздвоенность? Вряд ли. Один в одном.

Борю в детстве спросили: кем работает твой папа?

— Царем.

Отца, директора Института геофизики Уральского отделения АН СССР, возила служебная черная «Волга». Боря утверждал в кругу дворовых кентов:

— Мой папа — вор в законе.

Ему верили.

В другом случае он сообщил, что его папа — забойщик скота, а мама — жиловщица мяса.

У поэта Александра Леонтьева об Урале сказано: перебитый хребет. Челябинск по этой метафоре находится в районе копчика или шеи. Очень ранимые места. На юге хребта. Но не будем мрачно гиперболизировать. Хотя и кажется, что город раскинулся на спине, он не хвор, не стар, не лежач — ходит, бегает, движется, летит на иномарках, напоённый пятью озерами. Течет река Миасс, изрядно поросшая ряской и камышом, подъемы и спуски не бьют в глаза, а центральный проспект Ленина прям как стрела, и чугунный Ильич на пьедестале — это площадь Революции — могуче широкоплеч, массивно кряжист и почернел, по-видимому, оттого, что стоит, как Брестская крепость, во вражеском окружении бесчисленных банков и супермаркетов, а его прямым оппонентом высится небоскреб Видгоф, произведение местного олигарха-депутата Видгофа. Там гранд-отель.

Когда родился Борис — 8 сентября 1974 года, — ничего подобного, естественно, не было и Ленин не смотрел в сторону «Арбата» (так тут и называют улицу Кирова, б. Уфимскую). Теперь, наверное, везде на Руси имеется свой Арбат, то есть пешеходная улица со всеми аксессуарами московского образчика, в частности — с кафешками, ресторанами, банками и бутиками, с фонарями и мемориальными досками на старых домах, брусчаткой и музыкантами и живописцами на ней. Есть на улице и пара книжных магазинов, но книг Бориса Рыжего там нет, и персонал не знает этого имени. Зато на чугунной скамейке сидит черный чугунный юный Пушкин с лицом казачка, в большом ведре-цилиндре, а неподалеку — бронзовый Розенбаум с гитарой, весьма похожий, блещущий от ладонных прикосновений восхищенной публики. Время такое. Блескучее.

Среди пешеходов обнаруживаются и другие изделия уральского ваяния в бронзе и чугуне — верблюдица и верблюжонок, саксофонист (портрет в полный рост символического кумира), дамочка чеховского типа начала XX века с соблазнительно изогнутым тазобедром, в шляпке и с зонтиком, но без собачки, а также странничек в треухе, лаптях и с сумой на плечах перед пюпитром с раскрытой книгой — называется ЗАКОН: непосредственно перед дверью Областного законодательного собрания. В ногах верблюдицы и верблюжонка азиатский мальчик в тюбетейке сидит, скрестив ножки. Играет на флейте. Борис называл себя *трансазиатским поэтом.* «Челяба» в переводе с тюркского — «царевич», а также «образованный, миловидный, красивый, солнцеподобный». Тоже в точку. А как же. Мой папа работает царем.

На почве этой и оперный театр вырос (1954) мощноколонный с тремя белеными фигурами над передним фасадом: советские юноша и девушка по краям фронтона воздушно взмахивают руками, в центре — сидящая арфистка с мощными конькобежными икрами. Есть только музыка одна, в основе русская — Михаил Глинка и Сергей Прокофьев увековечены ваятелями во внезапных для себя местах, поскольку не имели

счастья бывать в этих краях. Город чувствовал себя русским — и никаким иным. Борис говорил: я — еврей.

Мы к этому еще, разумеется, вернемся. Первое толкование навскидку:

В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

(М.Цветаева. «Поэма конца», 1924)

Итак, музыка. В детском парке «Орлёнок» на площади по имени «Алое поле» стоял Органный зал, краснокирпичный, многофигурный, с зелеными куполами и шатрами — прежний храм Святого благоверного Александра Невского, потерявший имя и кресты от рук большевиков, став поначалу складом. Алое поле носит свое название с мая 1920 года, а было Александровской площадью, названной так в 1881 году в память об убиенном императоре Александре II. Вообще говоря, орг*а*н — не самое худшее из того, что пришло на смену голосу священника. В новые времена храм возвращен на место, и рядом с ним, у крыльца сбоку, надпись на белом памятном камне обещает прямо здесь же установку памятника Петру и Февронии Муромским во имя семейных ценностей. Забегая вперед, скажу, что таковой памятник уже стоит в Екатеринбурге. Видимо, города соперничают. Вот и опять — двойка городов. Между ними 200 километров по Свердловскому тракту.

Сестра Лена, тринадцатью годами старше, показывала Боре Алое поле. Жили неподалеку, с переходом через проспект Ленина, на улице Свободы, 149. Сюда младенца и принесли из роддома. Окна двухкомнатной квартиры выходили во двор, а сама квартира, располагаясь на втором этаже, нависала над аркой, соединяющей улицу и двор. В проеме арки по ночам было конечно же темно и раздавались разнообразные звуки — от хохота до воплей. Однажды отец, Борис Петрович Рыжий, набросив полушубок на голое тело, выскочил из дому с топором. Он летел *спасать*. До смертоубийства не дошло, но тишина вернулась, тем более что она — тишина — требовалась не только для сна. Над черной аркой стоял рабочий стол Бориса Петровича, где в результате многочасовых ночных бдений появилась его кандидатская диссертация.

Эта спальня-кабинет в 15 (или около того) квадратных метров вмещала, помимо гардероба, рабочего стола и книжной полки, родительскую кровать. В соседней комнате — гостиной — спали дети и Евдокия Сергеевна, мать матери, она же баба Дуся. Когда все смолкало, отец садился за стол. Перед ним были окно и балконная дверь. Геофизик посматривал на звездное небо. Черная арка — достояние детства Бориса.

Философия семьи была незатейливой: люди — хорошие. Дом населяли геологи, все знали друг друга почти по-родственному. Довольно скоро после рождения Бориса семья переехала на улицу Сони Кривой, 69 — сие замечательное имя принадлежало пламенной революционерке.

Это хорошо звучало:

— Это что за люди?

— Это Рыжие с Сони Кривой.

Игра на фамилии шла постоянно. Сестра Лена помнит: в студенческой группе отца были Глухих (комсорг), Плохих (профорг) и Рыжий (староста).

В Челябинске вдобавок к Алому полю есть и улица Красная. Много позже, участвуя в поэтическом состязании за губернаторскую премию, поэт получил диплом победителя на имя Бориса Красного. Он тогда заявил, что вот дескать Сергей Гандлевский отказался от денег за победу в Антибукеровском конкурсе, но сам-то он деньги возьмет, а от декламации стихов отказывается.

С улицы Сони Кривой коляску с Борей возили, а потом и водили его на своих двоих в Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, расположенный на берегу

Шершнёвского водохранилища, широкого, как море. Парк плавно переходил в сосновый бор. Сейчас на входе в парк высится солидный монумент академика Курчатова. В Челябинске ковался атомный меч державы. Известная Кыштымская авария 29 сентября 1957 года произошла неподалеку. Взорвалось бетонное хранилище радиоактивных отходов, 23 деревни из наиболее загрязненных районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены. Попутно говоря, именно в Челябинске в свое время была открыта и описана сибирская язва: в 1787 году лекарь Семен Андриевский, намеренно заразив себя этой болезнью, не только обнаружил причину возникновения инфекции — от животного к человеку, — но и придумал способ лечения. 3 апреля 1979 года в закрытом городке Свердловск-19 случился выброс бактериологического оружия — новой сибирской язвы, с семьюдесятью смертями. Борису Рыжему было неполных пять лет.

Старенький двор в нехорошем районе —
Те же старухи и те же качели.
Те же цветы и цветы на балконе,
Будто не годы прошли, а неделя,

Как я отсюда до капельки вышел.
До испарившейся с века слезинки,
После упавшей на серые крыши
Капелькой. Радиоактивной дождинкой.

15 февраля 2013 года около Челябинска рухнул метеорит. Несколько зданий задело взрывной волной. Людей не затронуло, не считая госпитализированных 69 человек, пострадавших в основном от страха. При желании и некотором воображении тот метеорит можно счесть блудным сыном Урала, вернувшимся в отчий дом. Такое ощущение, что великолепный Сад камней на берегу Миасса пополнился собратом с небес.

Тютчев:

С горы скатившись, камень лёг в долине.
Как он упал? Никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Иль был низринут волею чужой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто ещё не разрешил вопроса.

Иногда так возвращаются поэты.

Иногда в их честь устанавливаются мемориальные доски. Это произошло 8 сентября 2014 года на улице Свободы, 149. Бронзовую доску поместили между окон угловой парикмахерской на первом этаже. Борис похож на боксера после победного боя. Чубатого, с глубоким шрамом на левой стороне лица от глаза до нижней челюсти. Художник С.Л.Черкашин, скульпторы В.Ю.Булычёв, Д.В.Костылев.

«В этом доме 8 сентября 1974 года родился поэт Борис Рыжий».

Это не совсем так (роддомом пренебрегли), но родился он действительно в Челябинске на улице Свободы. Хорошо, что это город металлургии и металлообработки — металла на мемориалы хватает. Хорошо, что есть такие люди, как Андрей Крамаренко — инициатор и мотор создания памятной доски. У барда Крамаренко шестнадцать песен на стихи Рыжего. С ним-то мы и приехали на Урал. Туда, где возникает тютчевский вопрос, повторенный Мандельштамом:

Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?

Люди — хорошие. Так думал Борис Петрович. Так думали тогда многие — молодость геофизика выпала на времена «оттепели». Он был во власти поэзии, сам не сочинял, но знал наизусть бесчисленное количество стихов, а позже и все стихи сына. Однажды он спросил повзрослевшую дочь Ольгу: слушай, я правда надменный? А в чем дело, папа? Да вот стою себе в очереди в кассу за зарплатой, думаю исключительно о стихах, никого не вижу, а потом говорят, что я ни с кем не здороваюсь. Между тем как раз о нем, когда он стал директором института, говорили: если вы хотите найти нашего начальника, то знайте — тот, кто с вами первым поздоровается, и есть Борис Петрович Рыжий.

Он рано поседел. Добела. Более всего он любил Валерия Брюсова. В его библиотеке был и семитомник декадента, и двухтомник, и том прозы. Сына Бориса он с детства заливал русской поэзией, в том числе брюсовскими стихами («Тень несозданных латаний...», «Чтоб меня не увидел никто...», «Я жрец Изиды светлокудрой...», «Ассаргадон»), и воспитание этой пробы сказалось и в том, что позже сын в поисках самого себя предпринял опыт брюсовского свойства: дописывал иные стихи Пушкина, отыскивая у него те вещи, где стояли цензурные пропуски, и убеждал сестру Олю, что по-другому в тексте быть не могло, поскольку законы поэтической формы точны, как математические.

Как известно, Брюсов некогда написал вариации «Медного всадника» и завершил на свой лад «Египетские ночи», за что схлопотал инвективу Маяковского «В.Я.Брюсову на память» (1913-й, автору 20 лет):

Разбоя след затерян прочно
во тьме египетских ночей.

Надо сказать, ББ — назовем его так в разговоре о БП — выбрал в этом споре Маяковского, первый том которого пронизал насквозь его самые ранние стихи, да и БП обожал футуристического апаша в общем-то почти на равных с рационально-волевым вождем символизма. БП и сам достаточно жестко руководил своим институтом. У него был богатейший опыт работы и в поле, и за письменным столом, и в недрах геолого-минералогических учреждений на руководящих должностях.

Мало того. Отец БП — дед ББ — Пётр Афанасьевич Рыжий имел возможность передать сыну лидерские навыки по наследству, поскольку в зрелые годы возглавлял райком КПСС в Кургане и во время праздничных демонстраций стоял на трибуне на той же площади, куда выходили окна его квартиры.

В длинном пальто итальянском.
В чёрной английской кепке.
В пиджаке марки «Herman».
В брюках модели «Dublin».
Стою над твоей могилой,
Депутат сталинского блока
Партийных и беспартийных
Пётр Афанасьевич Рыжий —
Борис Борисович Рыжий,
Не пьяный, но и не трезвый,
Ни в кого не влюблённый,
Но и никем не любимый.

Да здравствуют жизнь и скука.
Будь проклято счастье это.
Да будет походка внука
Легче поступи деда.

Дед начинал комсомольским вожаком в Харькове. Его женой стала Аня Шапиро, дочь представителя французской фирмы на Украине по продаже сельхозтехники,

выпускница школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) по специальности электрик. Отсюда «я — еврей». Может быть, сегодня стоит отдельно отметить место ее рождения: Мариуполь.

Мать Ани Шапиро — Ханна Ароновна, в девичестве Лекус, родилась в Эстонии, но этот факт — слабое основание для отнесения ее к славному племени прибалтов. Некоторые исследователи сюда примешивают почему-то и греков. Это вряд ли, хотя... на юге России все есть. Смесь кровей у нашего героя была и без того вполне гремучая. Это довольно жестокая химия:

Во мне в молчании великом, особенно — когда зальёт шары, за благородным ликом хохол жида по морде бьёт.

Борис, когда вырос и созрел, был изумлен стихами Тараса Шевченко и читал в старых журналах украинские, болгарские и польские стихи на кириллице, тем более что БП прекрасно помнил рідну мову и «Заповіт» Кобзаря мог прочесть наизусть в любое время суток.

Близкие предки Осипа Мандельштама, как известно, тоже вышли с тех лифляндских берегов. Но имеет, разумеется, исключительную причину тот факт, что Борис испытывал особое отношение к шедевру Иннокентия Анненского «Старые эстонки (Из стихов кошмарной совести)».

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!

Исторически достоверна гипотеза о том, что дед и бабушка БП стали жертвой тифа во время гражданской смуты 1920-х годов. Однажды Пётр, зайдя в заводской цех, где не было света, включил рубильник на электрощите. В это время Аня занималась починкой оголенной проводки. Девушка упала с большой высоты, ее увезли в больницу, она долго не приходила в сознание, и у нее отнялись ноги. Петр стал навещать ее. Возможно, именно так началось родовое чувство вины.

Постепенно больная пошла на поправку, стала ходить и в итоге стала женой Петра. Фамилию она оставила свою.

Фамилия Рыжий получилась так. Жили себе на Украине люди по фамилии Рудый: от прозвища Рудый. Был и запорожский сотник Рудый, был и Рудый — чумак, на свой салтык дальнобойщик: «...протяжной извозчик на волах; в былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль <...> *Весь в дегтю, в смоле, как чумак*» («Толковый словарь» Вл. Даля).

Превращение Рудых в Рыжих произошло то ли в прошлых веках, когда кто-то из Рудых записывался в русскую армию и писарь модернизировал устаревшую кличку, то ли Революция (напишем с большой буквы, как у Блока) все перевернула, и русскоязычный Харьков из Рудых сделал Рыжих.

БП, уроженец села Кошкуль Омской области, закончил Свердловский горный институт. Его трудовая биография на редкость целостна — с геофизической линии он не сходил ни вправо, ни влево, шел по прямой. В 1981-м его назначили главным геофизиком Уральского производственного геологического объединения. Директорское кресло в Институте геофизики он занял в феврале 1988-го. Параллельно с 1989-го руководил лабораторией.

В 1999 году БП по болезни снял свою кандидатуру с выборов на должность директора, оставаясь на лаборатории, а в 2004-м стал главным научным сотрудником своего института. Доктором геолого-минералогических наук он к той поре был уже давно, а тут пришло и международное признание: его выбрали в Нью-Йоркскую

академию наук и Международную академию минеральных ресурсов. Некое латиноамериканское издание избрало его «Лицом планеты» и затребовало фотографию. В те дни он претерпел инсульт, рот его был несколько перекошен, БП сурово пошутил: им нужно такое лицо планеты?

Нет, он не был фанатичным бессребреником, но когда Академия наук выделила ему землю для дачи, он сперва задумал там отстроить коттедж для молодых — Бориса с женой Ириной Князевой, но в итоге передал участок в Горный институт. Тем более что он там читал лекции, будучи профессором. У него уже был небольшой кусок земли под Екатеринбургом, где стояло строение под названием *вигвам*: БП соорудил его из гнутых тонких водопроводных труб, покрыв толем и сделав потолок из пластика. Печка-буржуйка, отсутствие водопровода. Это был семейный *сад*, так он и именовался — сад. Так называют дачные участки в тех краях.

Во саду-ли-в огороде понемногу созревало некоторое количество фруктов и овощей. Происходили умеренные семейные пиры. БП был отчаянным охотником, дичи к столу хватало. Рыбалка его интересовала не очень, но пострелять ему было в охотку.

Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучёла расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.
Что, повторюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.

Стихи написаны так, словно это сын потерял отца, а не наоборот.

Время от времени БП записывал свои мысли и наблюдения на разрозненных листах бумаги, но они не собраны и не сведены воедино. Не исключено, что в отрочестве—юности у него были и стихи, но они утеряны. Ровно наоборот он поступил с наследием сына — собрал все до последней буковки, систематизировал, поместил в белые картонные папки. Маргарита Михайловна, вдова БП, нашла в водительском удостоверении мужа клочок бумаги с моим именем и домашним телефоном, оставленными его рукой. Я видел эту запись. Почерк обычный, не каллиграфический, так пишут многие.

Иногда он звонил мне после мая 2001-го, после ухода Бориса. Когда я пообещал ему выслать журнал «Арион» с моей публикацией о Борисе, он попросил оформить бандероль — с доставкой, по причине перенесенного инфаркта. Я так и сделал.

Артём, сын Бориса, в детстве однажды спросил маму: вот Москва великий город, а чем знаменит наш Екатеринбург? Ирина ответила: тем, что у нас убили царя, дали миру Ельцина и снесли дом инженера Ипатьева.

Храм-на-Крови стоит непосредственно на месте снесенного дома. Отзвук русско-византийского зодчества, он виден отовсюду, поскольку Вознесенская горка, названная по небесно-голубой Вознесенской церкви, доминирует над городом и будет, пожалуй, повыше двух других горок — Московской и Обсерваторской.

Говорят, Уральская гряда может ожить. Она сейсмически активна, разлом проходит возле екатеринбургского цирка. Вознесенская горка была вулканом.

В подножье храма поставлена крупная скульптурная композиция из нескольких фигур: августейшая семья, кучно идущая на расстрел. Одна из царевен очень напоминает Зою Космодемьянскую. Ассоциация неслучайна: тут все переплетено, и бегущая

слева от храма в прямой к нему близости Пролетарская улица прежде называлась Офицерской. Это Литературный квартал Екатеринбурга. Замыкается он Камерным театром и сразу же, если идти со стороны храма, после Литературной эстрады за домом № 16, презентует ряд исторических литературных домов, сохранивших первоначальный архитектурный облик образца XIX столетия. В некогда жилом доме В.И.Иванова №10 (архитектор И.К.Янковский, 1812-й, восстановлен в 1986-м) расположен Объединенный музей писателей Урала «Литературная жизнь Урала XX века». В доме № 6 родился (1841) писатель-демократ Ф.М.Решетников — дом построен по проекту архитектора М.П.Малахова. Особь статья — Д.Н.Мамин-Сибиряк, одно время квартировавший на Офицерской у казначеи Ново-Тихвинского женского монастыря Х.И.Черепановой, у него есть свой отдельный музей на улице Пушкина. А улица Пролетарская пересекается с Первомайской, и на точке их пересечения, в небольшом сквере, на серой гранитной плите стоит полированно-бронзовый Пушкин — рослый, босой и прикрывающийся, повидимому, простыней от груди до земли: Пущина встречает в Михайловском. Скульптор Г.А.Геворкян. Лик поэта обращен к небесам и вместе с тем в сторону улицы своего имени. Кстати, на улице Пушкина несколько неожиданно сидит в чугунном кресле изобретатель радио А.С.Попов, уроженец Урала. Отдельно уважил Екатеринбург П.А.Бажова: и музеем на улице Чапаева, и бюстом на плотине Городского пруда. С ним соседствует и бюст Мамина-Сибиряка.

Надо отметить и большое количество зданий в стиле конструктивизма, в частности гостиница «Исеть» или Главпочтамт. Свердловск называли «вторая столица конструктивизма» (после Москвы).

У подножья Вознесенской горки — сквер на набережной Городского пруда. Здесь-то и стоит эта пара — князь Пётр и княгиня Феврония Муромские. У него колечко в поднятой правой руке, на их сомкнутых руках голубок восседает, за их спинами — парусная ладья в виде птицы. Святость брака. При Борисе этого благолепия еще не было — зато был на этой же стороне Городского пруда «Космос», нынешний ККТ (киноконцертный театр), а тогда ресторация центровой мафии, реальных пацанов с испортаченными пальцами и золотыми цепями на бычьих шеях.

Первой экономической стычкой — полуразбойной разборкой — на Урале конечно же можно счесть конфликт Горного начальника в Сибирской губернии Василия Татищева, отца-основателя города, с кланом промышленников Демидовых касательно добычи огнеупорного камня и запуска железоделательного предприятия — казенных заводов, разорению и отъему коих способствовали Демидовы, обвинив Татищева перед троном во всех смертных грехах. «Оболгание» Татищева Демидовыми привело к розыску и суду, но истину установил эмиссар Петра I генерал-майор Вильгельм де Геннин. На Плотинке сейчас стоит парный памятник Татищеву и де Геннину.

Существует екатеринбургская окраина — Елизавет. Место было названо в честь дочери царя Петра. Ирина Князева выросла в поселке Елизавет. В юном возрасте — 21 марта 1992 года — Борис написал свою «Елизавет»:

Копьём разбивши пруда круп,
вонзилась рыжая река.
Завод сухой клешнёю рук
доил седые облака.
Слюной яичного желтка
на сосны вылился восток.
Я б строил башни из песка
там, где бушует водосток.

Ну, это, разумеется, урок Маяковского, его знаменитого дебюта:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана.
Я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Налицо вызывающее ученичество, манифестарное по сути: я иду от Маяковского.

Евгений Рейн сказал о Рыжем: «Слова простые, а корни глубокие». Лучше всех об этом знают мать Бориса Маргарита Михайловна и его сестры — Елена и Ольга.

С Маргаритой Михайловной и Еленой мы два дня проговорили в Челябинске. Дело было в офисе еженедельника «Футбол—хоккей Южного Урала», издаваемого Еленой с мужем Игорем Золотаревым. На потолке — неясные следы повреждения от взрывной волны недавнего метеорита, соседняя комната практически разрушена по той же причине. Маргарита Михайловна являлась на разговор с королевской точностью, как уговаривались. Миниатюрная и седенькая, с бледно-голубыми глазами. Говорит на редкость хорошо, то есть внятно и точно, с учетом интересов собеседника: слышит — отвечает. Это было сверх моих ожиданий.

Родители были февральскими: Маргарита Михайловна родилась 6 февраля 1936-го, Борис Петрович — 27 февраля 1938-го. Втайне она стеснялась этой разницы в два года и, упомянув о ней, бегло и непонятно улыбнулась.

Как оказалось, Борис в некоторой степени москвич: Маргарита Михайловна родилась в столице нашей Родины, на Красной Пресне. Родители были из пришлых москвичей: из деревни Скрипово на Орловщине, где почти все носили фамилию Пашковы. Но мать ее отца Михаила Ивановича Евдокия Митрофановна в девичестве была Раевской, и ее отец, по разговорам, был незаконнорожденным от человека из какого-то более высокого сословия, нежели крестьянское.

Те Раевские были из Прибалтики или Белоруссии. У мамы было четыре класса образования, они с мужем, моим отцом, работали на одном заводе. В 1936-м отец, Михаил Иванович Пашков, погиб, сорвавшись с подножки набитого трамвая. Маме было двадцать семь лет. У нее уже были мы— старшая сестра Женя шести лет и я, мне было одиннадцать месяцев. Его положили на Ваганьковском кладбище, могила затерялась.

Мне было два года, когда мама отвезла меня к бабушке в деревню Скрипово. Знаете, как у Некрасова — Неелово, Горелово, Неурожайка тож. Бабушка была счастлива принять меня, отец был ее единственным сыном, и она говорила, что я очень похожа на него. Бабушка меня кормила с ложечки. Бабушка была знатной портнихой, обшивала всю деревню. Набожная была бабушка, ходила в церковь, соблюдала посты, отмечала все церковные праздники. Родилась она в 1880-м, а умерла в 1953-м — как Сталин.

Дед еще был жив, кем был — не помню, но ходил не в лаптях, а в сапогах. У него было присловье: «вот черт, вот черт», а также он всех называл дураками, женщин тоже, и самого себя тоже.

Когда началась война, мама привезла в Скрипово мою сестру Женю, вернуться в Москву не успела, через неделю пришли немцы. Началась сеча за деревню, ее захватывали то наши, то фрицы. Как в Гражданскую войну— то красные, то белые. Деревня переходила из рук в руки.

Немцы застрелили троих мужчин, за что — непонятно, потому что они не могли

быть партизанами: леса вокруг не было, топили хворостом. Молодых почти не было, младший брат мамы погиб недалеко от деревни. С нами жили два сына погибшего.

Дом в деревне Скрипово был большим, наполовину каменным, наполовину деревянным. Немцы устроили у нас свой штаб. Сожрали всех кур. Мы жили в деревянной половине дома, а когда деревню захватывали немцы, прятались во дворе— в каменном погребе, где в мирное время были бочки — с медом, с огурцами, капустой. Дедушка брал чугунок, наполнял его на огороде мерзлой картошкой и варил ее. Когда хотелось пить, сгребали снег с земли. Колодец был далеко, за водой немцы гоняли деда. Он заболел, залез на печку, заснул и не проснулся, похоронили мы его за домом.

Даже конница Буденного залетала к нам. Было очень много убитых лошадей, мы ели конину, а всех коров поели немцы. У нас осталась корова Жданка. Когда немцы стали ее забирать, мама уцепилась за хвост, и один немец выстрелил вверх. На следующий день нам сказали прийти за этим хвостом и заодно за головой и шкурой. Мы все это привезли к себе на санках.

Немцы сожгли наш дом. Потом нас поселили в чужом доме, комнат там не было, одно помещение с печкой, и там набилось пятьдесят человек.

Сорок третий год, все мы — бабушка, мама, я с сестрой Женей — живем в чужом большом доме, спим на соломе, обовшивели, у меня фурункулы пошли по телу. Староста вел себя нехорошо. Недалеко был хутор, там жил мужчина, немцы его нашли — староста подсказал, что там живет мужик с ребенком. Они в погребе сидели. Его застрелили. Жена с ребенком, раздетые, побежали в нашу деревню. Часовой-немец ее остановил, привел к нам, к бабушке. Мы их обогрели, приютили.

Этот староста — из местных — был мародер. Он багром вылавливал трупы, плывущие по реке, — снимал одежду, даже портянками не брезговал.

27 июля немцы собрали население в толпу. Ходили с оружием по дворам, выгоняя всех из дому. Нам ничего не сказали, куда отправляют. Погнали строем. Кто-то ехал на телегах. По бокам шли немцы. Пешком прошли до польской границы. То мама, то бабушка несли меня на руках. Боялись отстать. С нами шел сосед старый-престарый, на нем суконная свита с высоким воротником, подпоясанная тонкой веревкой, шапка деревенская, лапти. Он плакал. Говорил: когда я в Первую мировую попал в плен, немцы на мне пахали.

Орловско-Курскую дугу — это совсем рядом с нашими местами — наши уже прорвали, и наши самолеты бомбили немцев, но старались не бомбить колонну. Мы прятались от бомб по кустам на обочинах. Пока дошли до Польши, ели что попало, набрасывались на гурты свеклы и ели, пока немцы не видели. С тех пор полюбила белую свеклу. От того времени осталось только чувство страха и голода. Немцы погрузили нас в товарные вагоны и сказали: счастливого пути в Германию.

В Германии, это был Лейпциг, нас выдворили из вагона, пришли бауэры — помещики — отбирать рабочую силу. Кого-то разобрали, остальных устроили в отдельном месте — в трудовом лагере. Нас в баню погнали, облили какой-то дрянью, чтобы вшей не было. Присвоили номера. Потом выдали одежду — мы обносились. Никто не менял никакого белья, однажды мне дали пальто. Одежду снимали с тех, кто погиб. Жили мы за колючей проволокой, через нее никого не пропускали. Это был не концлагерь — просто огражденная территория, трудовой лагерь, по-немецки «арбайтлагер», полицейские охраняли.

Мама работала на каком-то заводе, она и в Москве работала на военном заводе. Мне было семь лет, прожила там до девяти лет. Кормили нас так — выдавали хлеб, маргарин, суп из шпината, шпинат очень полезный. Нас учили немного немецкому языку. Кроме «руссиш швайн», «бауэр» и «муттер» — ничего больше не запомнила.

Я была маленькой, чтобы работать, сестра Женя — подросток, ей тринадцать лет — тоже не работала. Двоюродные братья — младший еще малолетка, а старший работал сварщиком. Внутри барака — женщины и дети, старик только один.

Да, это был город Лейпциг, недалеко Дрезден. Уже открыли второй фронт, падали фосфорные бомбы. Мы работали на огороде, пололи, убирали урожай. Вдоль дорог росли

фруктовые деревья — груши, яблони, мы подбирали падалицы. За нами следила немка с плеткой в руке, в черной форме. Однажды она отлучилась, мы бросились к деревьям, она выследила нас и выстроила в строй и давай стегать плеткой. Женя загородила меня: лучше меня два раза, а ее не бейте. Обеим попало. Боялись ее очень.

Уже в конце войны наши приближались. Неподалеку был концлагерь для военнопленных, мы называли их «полосатики» из-за их одежды. Бельгийцы, французы. Мы еще были за проволокой. К ним приходили посылки, через Красный крест, они у своей ограды продукты вываливали на землю, нам махали — идите берите. Мне нравились большие макароны с дырочками. Женщины перебрасывали черед проволоку одеяла, дети шли, брали продукты, заворачивали в одеяла. Я была трусливая, перелезла, идет полицейский, я — обратно, порвала платье, вернулась пустой, мама расстроилась.

Бабушка была подсобной рабочей на кухне, приносила кусочки хлеба, суп в банке, подкармливала меня, а надо было Женю, ей шло уже к шестнадцати, она росла.

Под самый конец войны немцы накормили военнопленных в концлагере, закрыли окна одеялами, облили бензином и подожгли. Один спасся, мы его спрятали.

Поговаривали, что нас туда поселят и тоже сожгут.

Начались бомбежки, шли постоянно. Бабушка сидела в бараке, молилась, но бомба однажды попала в барак. Полицейские в бараки не заходили, вокруг ходили. Проволоку потом убрали. Мы сфотографировались — когда убрали проволоку, сохранилась фотография Жени, там написано: «Лейпциг, 1945».

В Лейпциг вошли американцы, в апреле. Стали приходить письма, в одном письме сообщалось, что мамин отец умер в дороге, от аппендицита. Всем хотелось — домой, домой. Нас там агитировали ехать в Бельгию, во Францию, в Канаду, в Америку. Оставайтесь, мол. Но выступали советские генералы: дорогие соотечественники, скоро мы вас отправим домой.

Когда кончилась война, мы оставались на американской стороне, советская зона была восточнее, на другом берегу Эльбы. Фильм «Встреча на Эльбе» я потом пять раз смотрела. Нас поселили в какой-то дом, типа канцелярии: столы, бумага, цветные карандаши, а мы — ни читать, ни рисовать, ни писать. Мы развлекались, наряжались — шапочки из картона утыкали красивыми английскими булавками. В день капитуляции бабушка пошла в церковь, хотя там другая вера, помолиться в честь победы. А в том доме была лестница отполированная, мы — дети — ехали по перилам с пятого этажа. Я пошла одна покататься, перевалилась через перила, вниз головой упала в подвал, прямо в бочку. Какой-то мужчина меня нашел, на руки взял: где твоя квартира?

Меня поместили в американскую больницу. Маму положили со мной. Зашили мне голову. Лекарств было мало, что ли, запомнился лишь красный стрептоцид. Рана нагноилась, стало расти мясо, прижигали ляписом. Мама переживала — всех отправят, а мы останемся. Я встала, не могу наступить на ногу, нога ушиблена. Делали компрессы, а нога не заживала. Позвали какую-то бабку, тоже из лагеря, — заговаривать могла. В окно поздно вечером влезла эта знахарка. Вправила ногу — это был вывих.

Стали отправлять. На автобусах через Эльбу. Впервые негров увидела, не испугалась. Но русские девушки с флажками, регулировщицы, с презрением на нас смотрели. Мол, предатели. Будто бы мы сами приехали сюда. Многие потом сидели. Двоюродных братьев не приняли в суворовское училище. Но в паспорте мамы не было указано про плен.

Нас посадили на высокие платформы, груженные железными трубами. Был ноябрь. Ехали на трубах, просыпались — все в инее. По дороге на эшелон нападали бандиты, переодетые в советскую военную форму. Думали, что везем богатства. А нам выдали на всю дорогу по буханке хлеба. Мы ссорились из-за горбушки, нам казалось, что она больше. На остановках немцы побирались, мы им подавали хлеб.

Приехали в Брянск, оттуда к себе в деревню. Женя в дороге простыла, очень заболела. У Жени кровь из горла шла. Скоротечная чахотка, то есть туберкулез. Староста не дал лошадь, чтобы съездить за врачом. Женя умерла.

Ни игрушек, ни санок у нас не было, на ящиках из-под снарядов катались с горок. Мы играли пулеметной лентой. Ребята глушили рыбу, взрывая капсулы снарядов, — там река Ока.

Мама написала родному брату в Курганскую область, тот прислал гонца — своего помощника, и мы поехали к дяде. Заехали в Москву. Маму выписали из ведомственной квартиры, ничего из вещей нет, мебель разошлась по чужим рукам, мама видела ее у соседей. На завод ее назад не взяли. Поехали дальше в Курганскую область — в поселок Юргамыш. Нас там приняли хорошо. Дядя был директор домостроительного завода, строил будки для железной дороги и построил себе дом. Все в нем устроились. У дяди жена, дочка, теща, но все было хорошо, он стал как отец.

Там я пошла в первый класс, мне десять лет, переросток. Говорила очень быстро, писать не умела. Дядя посоветовал маме, чтобы она нашла мне учительницу, чтобы я освоила второй класс. Летом училась. Таблицу умножения не могла запомнить. Двоюродная сестра диктовала диктант, ставила двойку. Мне дали справку, что я закончила второй класс и переведена в третий.

К концу третьего класса все освоила, получила похвальную грамоту. Будущий муж Борис появился в шестом классе. С шестого мы вместе. Петр Афанасьевич брил голову наголо и сына Бориса брил. У него уши торчали. Борис увидел, придя в класс: самая красивая девчонка.

Родители меня назвали Маргаритой, бабушка была возмущена: нет ни одной святой по имени Маргарита. В «Трех мушкетерах» я нашла колодец святой Маргариты.

Материнские испытания не прошли бесследно и для него. Ее детство было известно ему с его детства и, как некое общее детство, вошло в стихи, в данном случае с точной датировкой (курсив мой):

Поздно, поздно! Вот по небу прожектора
загуляли, гуляет народ.
Это в клубе ночном, это фишка, игра.
Словно год 43-й идёт.

Будто я от тебя под бомбёжкой пойду —
снег с землёю взлетят позади,
и, убитый, я в серую грязь упаду...
Ты меня разбуди, разбуди.

Часть вторая

Это были времена, когда свердловский губернатор Эдуард Россель вознамерился создать Уральскую республику. Это было вершиной той вольницы, волны которой омыли детство Бориса. Сейчас дорогу, ведущую в аэропорт Кольцово, в народе называют *Россельбан*. По которому можно добраться на Нижнеисетское кладбище.

Времена были такие, что впору заводить серию «Смерть замечательных людей».

Так вот. Вторчермет («Вторчик») — это Завод вторичного черного металла, попросту большой пункт приема металлолома, идущего на переплав. По его имени называют весь район, официально Чкаловский. Рядом расположены мясокомбинат («Мясик») и жиркомбинат («Жирик»). РТИ — Завод резиновых технических изделий, где изготавливают, например, шины. Мясокомбинат источает запах невыносимого свойства, к которому надо было привыкнуть, и люди привыкли. Это были люди неприхотливые — по преимуществу бывшие зэки, в огромном количестве принимаемые без всяких препон, с пропиской на Вторчике. Помимо общаг в районе существовали и обычные квартиры, заселенные разнообразным обществом — от работяг до интеллигенции и даже начальства небольшого, но взаимополезного калибра: директор

фабрики одежды, директор школы ДОСААФ, начальник городского ОВИРа. Дома — в основном типовые пятиэтажки, натуральные хрущобы грязно-желтого цвета, мало отличимые друг от друга. Дома стоят тесно, образуя лабиринт, интересный для пацанов с их прятками и побегами. Царил взрослый уголовный элемент безотносительно к новым временам — Вторчермет построили давно и надолго, заведомо рассчитывая на непритязательную рабочую силу, и эта окраина десятилетиями славилась в соответствии с необходимыми и неизбежными для окраины качествами.

Семья Рыжих оказалась в районе по недоразумению, а точнее — по спешке и безамбициозности Бориса Петровича. Когда его призвали из Челябинска в Свердловск на должность главного геофизика Уральского производственного геологического объединения, он около года жил в отрыве от семьи, ему это надоело, жилье для обмена нашел по-быстрому и почти не глядя, потому что думал, что вскорости все это улучшится и устаканится. В 1981-м они въехали в дом на улице Титова, 44, кв. 30. Было просторно — четыре комнаты-комнатушки, всем нашлось место — и родителям, и бабе Дусе, и детям — Оле и Боре. Лена осталась жить и учиться в Челябинске, в Политехе.

Маргарита Михайловна устроилась на работу по специальности — в санэпидемстанции, Боря пошел в школу №106. Тогда уже было разделение школ на мажорные и простые, но по большей части все дети ходили гуртом и вперемешку в ту или иную школу, однако 106-я все-таки отличалась от других определенной лихостью подрастающего поколения и крутизной преподавательского состава. По крайней мере директриса Алевтина Ивановна Зыкова — по кличке Алифа — хотела быть грозой и все для этого делала. На подходе к туалету, где пацаны курят, фиксируется и орет:

— Я иду!!!

Сигареты летят в унитаз, штаны расстегиваются.

Ей дали еще и кличку Фюрер.

Двор был как двор, с детской площадкой, старушечьими скамеечками, с липами и тополями и кустом боярышника у крыльца подъезда. Дети занимались своими делами, подростки кучковались у подоконников лестничных пролетов. Летом бегали купаться на пруд — или болотце — Муху, это недалеко. Зимой Муха замерзала, катались на коньках, а вокруг — лес и возможность лыжных прогулок.

Борис хотел быть как все. Участвовал во всех дворовых и школьных проделках, более того — часто инициировал таковые.

> Быть, быть как все — желанье Пастернака —
> моей душой, которая чиста
> была, владело полностью, однако
> мне боком вышла чистая мечта.

Был у него друг Серёга Лузин с соседней улицы Сухоложской. В школу путь Бориса пролегал как раз мимо Серёгиного дома, №4, где они поутру соединялись на углу по направлению к 106-й. Это происходило восемь лет подряд.

В моде у них были телаги, то есть телогрейки. Телагу ему — еще небольшому и худенькому — достала через подругу из магазина «Рабочая одежда» на Уралмаше сестра Ольга, ушила ее по бокам и хлястику, пришила ворот от пальто.

> Выхожу в телаге, всюду флаги.
> Курят пацаны у гаража.
> И торчит из свернутой бумаги
> рукоятка финского ножа.

Травмы, раны, шрамы — с младенчества. В четыре года осколок банки, выпавшей из руки, оставил след на всю жизнь отчетливым рубцом во всю левую щеку.

Лет в одиннадцать, пробуя самодельный парашют в прыжке с дворового тополя, сломал плечо, а через полгода получил перелом запястья на тренировке по дзюдо. Ногу тоже ломал.

Раны украшают героя. Много позже Борис поведал Сергею Гандлевскому такую историю:

...в геологической партии на Северном Урале <...> они с напарником прослышали, что в ближайшем поселке по субботам танцы, и затеяли — как раз была суббота — бриться перед осколком зеркала, чтобы идти на танцплощадку. «Что это вы делаете?» — крикнули им работяги с проезжавшего грузовика. Друзья ответили. «Да вас же убьют», — захохотали в кузове. Мужики преувеличивали несильно. Убили только напарника, Бориса лишь полоснули по лицу...

Бокс в городе был в чести и очень нравился вторчерметовским пацанам. В первом выезде на соревнования Боря проиграл.

13 лет. Стою на ринге.
Загар бронёю на узбеке.
Я проиграю в поединке,
но выиграю в дискотеке.

Баба Дуся еще в Челябинске была ему и яслями, и детсадом, и ни в одно из этих учреждений он не ходил. Насыщенное народное питание, ею изготовляемое, делало внука полноценно здоровым без признаков акселератства. В итоге он достиг 175 сантиметров и на этом успокоился. Баба Дуся умерла в 1982 году. Боря закончил второй класс.

Серёга был первым и, пожалуй, единственным соавтором Бориса, кроме сестры Ольги. Вместе сочиняли фельетоны на потребу классных зубоскалов, на школьно-уличную тематику. Но у Лузина была другая семья, другие условия произрастания, другая дорога в результате. Они общались всю жизнь. Напоследок Борис обратится к нему:

На границе между сном и явью
я тебя представлю
в лучшем виде, погляжу немного
на тебя, Серёга.

Где мы были? С кем мы воевали?
Что мы потеряли?
Что найду я на твоей могиле,
кроме «жили-были»?

Наркомания еще не накрыла его сверстников, а вот те, кто родились в 1975—76-м, ушли в это дело повально. Обыкновенного курева было достаточно. Кстати, Рыжий-отец курил в основном «Беломор». Отчетливо желтыми были «курительные» пальцы правой руки Бориса: след сигарет «Прима». Это позже, в туалете учебного здания Горного института, студенты кайфовали от анаши.

Учитель русского языка и литературы, молодой парень в джинсах, Виталий Витальевич Савин поведал классу о ранее запретных вещах. О треугольнике Маяковский — Лиля — Осип Брик. Рыжий сказал дружку Ефимову:

— Ты будешь Ося!

— Это почему?

— Потому.

Дом №44 ничем не отличался от других домов по составу жильцов.

В том доме жили урки,
завод их принимал...

Я пыльные окурки
с друзьями собирал.

У Рыжих были соседи Лешие, два брата. Как-то Борис сказал Ольге: слушай, братья Лешие мужика убили.

— Боря, откуда ты знаешь?

— Об этом все знают. Убили мужика, зарыли его в землю.

Пришла весна, труп нашли, братьев посадили.

Потом «закрыли» (посадили) другого соседа, затем он «откинулся» (освободился), идет по лестнице навстречу Боре, глаза стеклянные, вынимает нож, присматривается: а, это ты, Борька...

Только справа соседа закроют, откинется слева:
если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.
А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева
в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,
если кто обижает, скажи.

Но жизнь вообще была разная до изумления, и она не замыкалась на Вторчермете.

В 1987 году, летом, Борис Петрович сказал жене:

— Хочешь, я тебе сделаю подарок?

Они втроем — родители и Борис — поехали в деревню Скрипово. Борису тринадцать лет. Приехали в Орел, в Болхове стояла геологическая экспедиция, Борис Петрович — его знали многие геологи страны — договорился, что их встретят. Их встретили на машине, довезли до Скрипово. Там был сад великолепный до небес. Набрали много яблок. А недавно случился Чернобыль, это рядом, почернели огурцы, помидоры, трава почернела, яблоки тоже, места опустели. На всю деревню был один дом, в котором жили старые муж и жена, да сын к ним приезжал из Калининграда сено косить. Хозяин дома спросил Маргариту Михайловну: кто ты такая? Такая-то. Старик вспомнил: ой, такие добрые люди были, а бабушка всю деревню обшивала. От вашего дома остались одни кирпичи. Остатки дома долго искали, без результата; в одной деревне нашли единственный дом с больным человеком в нем, а в другой — два дома; про какую-то деревню приезжим людям сообщили, что есть еще деревня, в которой живут *хамы*. Это как? Ходят в лаптях, грязные, моются в печке.

Свой эпистолярий Борис начал, по-видимому, с писем сестре Ольге. В 1990-м она уехала в Адыгею к мужу Магомеду. Борису пятнадцать лет, он пишет ей туда регулярно, даром что сумбурно. Сохранилось 19 писем. Письма он подписывал по-разному, а на конвертах в обратном адресе значились такие имена: Рыжий Жора, Рыжий Борис Борисович, Боря Ржавый, Рыжий Вилли, Боря Барбаросс. Был и такой отправитель: Йозер Арафат Визи-Ахат Рыжий, младший.

Датировать письма было не в его обыкновении, но штемпель на конверте дает представление о дате отправки. Таково письмо, проштемпелеванное 11059012, то есть 11 мая 1990 года. Правописание автора писем сохраняем неукоснительно.

Привет, Ольга!

Всё (он принципиально писал «ё»; позже он напишет: «Расставляю все точки над "ё"». — *И.Ф.*) пытаемся позвонить, да не получается, то заняты, то трубку бросают.

Сегодня проснулся в 14.30, и сразу мне начали звонить мои кореша. Когда все вызвонились, то я сел учить билеты, а сейчас почти выучил, решил тебе написать письмо.

Сегодня 9-ое мая — день победы над фашистской Германией, и весь двор «ента банда, чё во дворе стоит» ходит вся на рулях «все бухие». Половина джентльменов мирно сидят на скамейках у первого подъезда, и их тошнит. Остальные матерятся. И вот, когда я ходил отправлял тебе письмо, они на меня наехали, я сначала объяснял

им, что я «их друг» Боря, а потом надоело, и самому крутому и самому пьяному сунул прямо в харю. Тогда они меня признали, и предложили «бухнуть», но я сказал, что я пить не буду, а пойду лучше домой. Они сделали вид, что обиделись, и опять стали наезжать. Но я все-таки прошел домой.

Вчера с мамой из окна видели НЛО. Такая странная вещь. А папа нам с мамой мало верит. Вот как оно выглядело: (рисунок НЛО. — *И.Ф.*). Такой шар, от которого сзади расходятся лучи белого света. Когда он улетел, то эти лучи (ровный свет) остался (так. — *И.Ф.*) и дом напротив как бы был освещен.

Вот такие дела у нас творятся. Жизнь становится странной и полной разных неожиданных поворотов. Вот взять к примеру Ждахина (одноклассник. — *И.Ф.*), ведь мухи ни за что ни про что покусали <его>. Вот ведь какой поворот.

Ну ладно. У нас все хорошо, пытаемся разговор заказать. Папа пишет тебе письмо. Я когда проходил, пару строк из его письма заметил. Такие эти строки сентиментальные, что мне сразу жить расхотелось. Мама сейчас спит, а я тоже пишу тебе письмо.

Сейчас пойдем с кентами шляться по улицам. Потом салют будем смотреть на крыше какой-нибудь лачуги шестнадцатиэтажной.

Вот я пришел с салюта. Ездили на площадь. Было очень интересно. Был салют и фейерверг (так. — *И.Ф.*). Класс! Встретили баб из класса с парнями. Ну, думаем, шалавы, зря вы так гордо на нас смотрите. И я сразу каких-то баб в дали (так. — *И.Ф.*) засёк, подошёл, познакомились с ними и с нахальным видом прошли мимо них.

Я, Оля, тебя очень, очень люблю и Аську (дочка Ольги. — *И.Ф.*) тоже очень люблю, соскучился по всем вам очень.

Ну пока, Ольг. Люблю, целую.

Пиши.

Борисман.

В одном из писем он говорит: «Я тебя очень люблю, очень! Я письмо тебе пишу, как будто дневник веду...» (24 апреля 1990 года). Сообщает школьно-дворовые подробности и сюжеты. 28 мая пишет:

Пчелинцев (одноклассник. — *И.Ф.*) влюбился (взаимно).

Ах, Ленка, первая краса,
Пускай немного толстовата,
На оба глаза косовата...
Зато до пояса коса!

Правда, она не косит. Для рифмы.

На следующий день добавляет: семья Пчелинцевых получила пятикомнатную квартиру. Все оторопели — откуда такое счастье привалило? Боря с Серёгой решили: Пчелинцевы фиктивно прописали у себя нищих, а те взяли да поселились там по-настоящему — собирающая бутылки бабка, побирающийся в хлебном магазине дед и проч.

Рассказывается и об обмене «пластами» (пластинками). «Пластоманы» собирались около Дома офицеров. Борис обменял группу Kiss на Kix, этих исполнителей — на Black Angelos, купили с Серёгой пласт Scorpions, пустили в обращение ДДТ, Metallic Bunnys.

Литературу он учил в школе и прилично знал ее, особенно русскую. Но все любимое у него было вне школы — ну, не считая Ирины Князевой. Так, «Мастера и Маргариту» он получил из рук, вернее — из уст сестры Ольги. Это относится и к Бродскому.

Позже он скажет (интервью к 60-летию Бродского):

Мне было лет 13—14, мы пили чай с моей сестрой Олей, я говорил о Маяковском и восторгался фрагментом (от «Дождь обрыдал тротуары...» до «...слезы из глаз, да, из распахнутых глаз водосточных труб...») его поэмы («Облако в штанах». — *И.Ф.*). А Оля

прочитала мне «Ниоткуда с любовью...» и сказала, что это Бродский. Я, конечно, был потрясен.

Бродский, пожалуй, походил на сурового Мастера, но у Булгакова Бориса привлек как раз Понтий Пилат, не самый фанатичный приверженец художественной фантазии.

Были ли у Ирины соперницы? В стихах — всё по-другому. Мелькание девичьих имен имеет место, еще до Ирины:

Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серёга Жилин слез с забора и, сквернословя на чём свет, сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень. В лицо черёмуха дышала. И дольше века длился день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движенье иных, неведомых планет, они столкнулись волей бога: с забора Жилин слез Серёга, и ты приехала, мой свет.

Обратим внимание на «движенье иных, неведомых планет». Без них нет поэзии Бориса Рыжего.

Или — намного позже:

Вы, Нина, думаете, вы
нужны мне, что вы, я, увы,
люблю прелестницу Ирину,
а вы, увы, не таковы.

Нина существовала, но больше это имя — скажем так, Лермонтов, условный знак, маскарад.

Была ранняя, еще челябинская, вполне детская, до-первая любовь, ее имя — Юля. Это имя — не эту девочку — он перевел в другое время:

Ты в пионерский лагерь отъезжал,
тайком подругу Юлю целовал
всю смену. Было горько расставаться.
Но пионерский громыхал отряд:
«Нам никогда не будет шестьдесят,
а лишь четыре раза по пятнадцать!»

С Юлей срифмовалась Эля, девочка из 106-й, рано умершая, года через три после школы. По звуку и образу — одно лицо, отроческая звезда, ребяческая Лаура, Беатриче, Лиля (если уж по-маяковски). Такое ощущение, что Юля стала Элей по требованию жанра — элегии, их зарифмовал сам жанр. «Элегия Эле» (1994):

Как-то школьной осенью печальной,
от которой шёл мороз по коже,
наши взгляды встретились случайно —
ты была на ангела похожа.
.....
Ты была на ангела похожа,
как ты умерла на самом деле.
— Эля! — восклицаю я. — О Боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.

Это Юля, став Элей, безвременно ушла, ознаменовав уход детства, лучших лет, лучших чувств и упований.

Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?

Когда Борис Петрович сказал, что они переезжают в центр — на Московскую

горку, Борис ему заявил: я туда не поеду, меня там убьют, меня знают только здесь, на Вторчермете, я здесь в авторитете, а там я никто.

Не прошло и двух месяцев, его там избили и ограбили около Дворца спорта, когда он за полночь, после провожанья Ирины на Елизавет, возвращался домой. Сняли новый костюм, привезенный отцом из Германии. Со следами побоев сдавал вступительные экзамены в Горный институт, отделение геофизики и геоэкологии. С 1934 года вуз именовался Свердловским горным институтом (СГИ), а затем Уральским горным институтом, с 1993-го — Уральской государственной горно-геологической академией. В мае 2004 года получил высший статус — «Университет».

Часть третья

1991 год был самым событийным в жизни семьи. Мало того, что в конце года рухнул СССР — на пути к этой катастрофе Бориса Петровича постиг первый инфаркт, ББ кончил школу и женился. Все это увязалось в единый узел.

Рыжие разменяли вторчерметовскую квартиру так, что и там, на Московской горке — на улице Шейнкмана, 108 — жили по существу неразрывно: однокомнатная Ольги была бок о бок, дверь о дверь с трехкомнатной старших Рыжих, на той же лестничной площадке.

27 декабря 1991 года Борис женился на Ирине. Молодые поселились у родителей Бориса — надолго: на пять лет. Наутро после первой брачной ночи Борис вышел к родителям и заявил:

— Все равно мы у вас жить не будем.

Ошибся.

Готовить Ирине Маргарита Михайловна не разрешала. И то сказать, на третий день после свадьбы Ирина получила ожог и на год отстала от учебы.

26 октября 1996 года Борис, Ирина и Артём, родившийся в 1993-м, въехали в отдельную двухкомнатную квартиру на улице Куйбышева. Это жилье было выдано Борису Петровичу Академией наук вдобавок к ограниченным квадратам на улице Шейнкмана. Новое пристанище было уютно и просторно, с большим балконом.

Обживали, благоустраивали, украшали как могли. Он работал руками — тут пристукнуть, там пристегнуть — и у него получалось. Он принес домой дверную ручку, на которой было написано «Мой дом — моя крепость», даже две таких ручки, посадил их на двери и заперся в своей цитадели. Ирина говорит: моих подружек отшил, от своих дружков отошел. Впрочем, кое с кем — с поэтами в основном — встречался: у родителей. Те были и рады, молодежь освежала душу, да и Боря под присмотром.

На красных кирпичах балконной стены маркером золотого цвета с 1996 по 2001 год Борис нанес 44 стиха — по катрену на продолговатом кирпиче, принадлежащих Заболоцкому, Блоку, Вяземскому, Аполлону Григорьеву, Мандельштаму, Ахматовой и самому себе, вперемежку с классиками, и это было столь же дерзко, сколь наверняка удачно, поскольку четырехстопный ямб вообще больше, чем что-либо другое, роднит русских поэтов, делая их порой схожими чуть не до неразличимости.

В принципе — это единое стихотворение, центон, натуральные *стансы*. Каждая строфа, существуя отдельно, составляет часть целого. Если надо доказать единство русской поэзии, наглядней не бывает.

Свои настенные стансы Рыжий завершает катреном Гандлевского из стихотворения «Скрипит? А ты лоскут газеты...».

И стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликованье зла
Без зла — не потому, что добрый,
А потому, что жизнь прошла.

Заметим, что именно «Стансы» — одна из лучших вещей Гандлевского. «Стансы» открывают его первую книгу «Праздник», о которой позже Рыжий сказал «нетленный "Праздник"» — в отзыве на выход книги Гандлевского «Порядок слов». В почтении к мэтру сомневаться не приходится:

Впервые после многолетнего перерыва, открыв обычный литературный журнал, мы можем взять и прочитать шедевр, написанный не сто, даже не пять лет назад, а вот совсем недавно, и почувствовать такую близость вечности, какую ощущали, быть может, только тогда, когда читали в периодике «Поэму без героя», например, еще живой Анны Андреевны Ахматовой.

А без ощущения вечности жить можно только теоретически...

Могу добавить. В 2012 году, когда вышла книга Рыжего «В кварталах дальних и печальных...», ее *премьеру* отмечали в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко»[1]. Мы с Сергеем Гандлевским случайно оказались в первом ряду плечом к плечу, и первым делом, после приветственного рукопожатия, он сказал совершенно неожиданно:

— Не люблю я вашей Ахматовой...

Отчего бы? Неважно. Так жили поэты.

Ну а свои «Стансы», уже не центонные, а совсем собственные, Рыжий посвятил как раз женщине-поэту — Евгении Извариной.

Фонтан замёрз. Хрустальный куст,
сомнительно похожий на
сирень. Каких он символ чувств —
не ведаю. Моя вина.
Сломаем веточку — не хруст,
а звон услышим: «дин-дина».
.....
За мыслью — мысль. Строка — к строке.
Дописывай. И бог с тобой.
Нужна ль тоска, что вдалеке,
когда есть сказка под рукой.
Хрустальный куст. В твоей руке
так хрупок листик ледяной.

Красивовато, но ведь хорошо. Поначалу отдает Бродским (ироническая инверсия «каких он символ чувств», фирменное «дружок»). Но тонкое сплетение легкой мужской увлеченности с переходом в разряд дружбы — уже черта лирической психологии, которой сильны более поздние стихи Рыжего.

Ответ Извариной хорош тем, что почти куртуазен, но глубоко серьезен:

Говоришь как поёшь, пьёшь весёлый коньяк,
чуешь, каждый глоток — золотист?
«...Только сразу скажи,
если что-то не так:
я поставил на ухарский свист,
я на узкое облако глаз положил,
отряхнувшее с перьев росу.
Молдаванский коньяк только пену вскружил,
а слабо — удержать на весу?»
На двоих разливал,
за троих обещал,
только что эта муть в янтаре —
перед тягой подростка к опасным вещам,
боже праведный! — к честной игре?

[1] С марта 2010 года в этом театре идет спектакль «Рыжий».

Подросток, честная игра — сказано точно.

Судьба Рыжего — хоровод муз: в детстве — женское преобладание (бабушка, мать, сестры), потом — то же самое: череда благожелательниц, хлопотуний, заботниц, подруг.

Как ни странно, этот поэт не ограничивается монологизмом — вся его жизнь насыщена рядом диалогов, это система диалогов, выраженная в разговорах, письмах, посвящениях *etc*.

Жена Ирина иронически отпустила по поводу поэтского романа ее мужа с Еленой Тиновской:

— Кондукторша!..

Тиновская тогда на самом деле трудилась на общественном транспорте в должности кондуктора, а до того — торговала на вещевом рынке. И что? Потом они стали близкими подругами.

Происходил обмен стихами. К Тиновской обращено это стихотворение (1999):

Мальчик-еврей принимает из книжек на веру
гостеприимство и русской души широту,
видит берёзы с осинами, ходит по скверу
и христианства на сердце лелеет мечту.
Следуя заданной логике, к буйству и пьянству
твёрдой рукою себя приучает, и тут —
видит берёзу с осиной в осеннем убранстве,
делает песню, и русские люди поют.
Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения — песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облак*о*.

Еврейство Рыжего было чем-то вроде желтой кофты Маяковского. Нате!

Но в этих стихах вызова нет. Мечта христианства странным образом сближается с буйством и пьянством — такова широта русской души. А сам этот мальчик отнюдь не исчезает, но очень напоминает подобного мальчика — в «Романсе» из поэмы Маяковского «Про это»:

Мальчик шёл, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо жёлт.
Даже снег желтел к Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шёл.
.....
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...
До чего ж
на меня похож!

Этот мальчик надолго — навсегда — задержался в стихах Рыжего.

Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны —
это я открываю глаза.

Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:

ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.

Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.

Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.

Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.

Этого мальчика заметили и поэты старших поколений, прочитавшие Рыжего. Наталья Аришина (2004):

И я о мальчике. Он позднею весной
из дома вырвался и фору дал гулякам,
и, как предсказывал, свердловскою шпаной
и нервною Москвой обвально был оплакан.
Он, явный умница и ярый книголюб,
мобильник истязал длиннотой Луговского
и там, где был его дискуссионный клуб —
на кладбище — искал единственного слова.
Махнул в такую даль, что страшно тот полёт
представить наяву. И представлять не надо,
как из последних сил он крылышком взмахнёт
над полусгнившей изгородью ада.

Жизнеописание предполагает хронологическую последовательность. Однако иные свидетельства жизни нашего героя, как водится, появились постфактум, после его ухода. Обращение к таким свидетельствам обеспечено привязкой к времени, к тому, что было в тот или иной период жизни поэта.

Эссе Евгении Изваринои «Там залегла твоя жизнь» написано в 2006 году — было время на трезвое обдумывание всей судьбы поэта. Изварина рассматривает «три истории», сведя под единым углом зрения столь непохожих Владимира Гандельсмана, Дениса Новикова и Бориса Рыжего. Каждому воздано по достоинству, всем сестрам по серьгам, найдены сходства и различия. За сходствами далеко ходить не надо. Все вьется вокруг потерянного рая детства-отрочества.

Поэтический посыл, язык и речь формируются и под воздействием атмосферы времени, того короткого отрезка истории, на который приходятся ранние годы поэта. В случае Бориса Рыжего они пришлись на самые последние, уже вырожденные и выморочные, советские годы, «перестройку» и — ранняя юность — на начало 1990-х. Время полной деморализации подавляющего большинства населения страны, как «верхов» так и «низов», время без уважения к прошлому и должного попечения о будущем. Из тех лет запомнился газетный заголовок: «Россияне в океане». Я бы добавила: в открытом море, но все еще, подобно пушкинским героям, в заколоченном пивном бочонке... <...>

Но в стихи о себе-ребенке Борис Рыжий эти «ветры перемен» сознательно не допускает. Они бушуют в других стихах, строго тому времени и посвященных. <...>

В основном же в стихах-воспоминаниях о детстве и отрочестве (если поэт родился в 1974 г., то это будет период примерно с 1980 по 1989 г.) Рыжий рисует именно годы «застойные», в его индивидуальном восприятии — спокойные, мирные, «проч-

ные». Солнце сияло, облака плыли, «комсомольские бурлили массы, / в гаражах курили пионеры», страна слепо, но беззлобно облизывала своих щенков (стихотворение «Воспоминание» о покупке мальчику пальто), дымили заводы, люди шли по утреннему гудку на работу, по вечернему — в пивную... <...> Какие бы мерзости ни творились, они сглажены ностальгической дымкой, оправданы не временем и обстоятельствами, а иной основой человеческих отношений, утрату которой и оплакивает автор. <...>

Сам он так и не сделал выбор в пользу «теневой» жизни, преступно-блатного сообщества (хотя в пользу соответствующей субкультуры выбор все-таки сделан) — за него распорядилась судьба, и герой лишь досадует по прошествии лет: «А что не я убийца — случайность, милый друг».

Могло, следовательно, все пойти по-другому, и тому есть свои предпосылки. В стихах явно прописан первый шаг по пути нравственной деградации — рождение циника... <...> Все та же преданность времени, месту и дворовому братству. Но с обязательным уточнением: «ты пил со мной, но ты не стал поэтом». Слегка варьируясь, эта сентенция повторяется у Рыжего не раз. Еще одно стихотворение заканчивается утверждением-убеждением:

Мы все лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.

Кроме громадного самомнения за этими словами — еще более космическое чувство отчужденности и одиночества, даже рядом с близкими сердцу людьми.

Нет, он не ошибался, ища женской дружбы. Женщины понимали его как никто. Однако социология во взгляде на поэзию все-таки как правило хромает. «Деморализацией» и прочими штуками нельзя объяснить такую нематериальную, такую воздушную вещь, как стих.

Каждый поэт — почти каждый, если он не выкидыш поэзии — локализован в своем времени-пространстве, да, он голос времени, да, он певец своей земли, но в жилах его пульсирует поток неблагополучия всего мироустройства, вселенское сиротство, поверх себя самого и быстротекущей действительности: то самое «космическое чувство отчужденности и одиночества». Рыжий всегда чувствовал «движенье иных, неведомых планет».

Жизнь — сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.

Овидий жил в золотом веке императора Августа. Ему было от этого легче? Анакреонтическое эпикурейство имело своей основой острое чувство бренности бытия. Memento mori, товарищ, помни о смерти.

Вот образчик его прямой социальной сатиры («Кино», 1997):

Вдруг вспомнятся восьмидесятые
с толпою у кинотеатра
«Заря», ребята волосатые
и оттепель в начале марта.

В стране чугун изрядно плавится
и проектируются танки.
Житуха-жизнь плывёт и нравится,
приходят девочки на танцы.

Привозят джинсы из Фмерики
и продают за ползарплаты
определившиеся в скверике
интеллигентные ребята.

А на балконе комсомолочка
стоит немножечко помята,
она летала, как Дюймовочка,
всю ночь в объятьях депутата.

Но всё равно, кино кончается,
и всё кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.

Подлинное измерение всему стихотворению дает последняя строка. Сын человеческий. О нем речь. Оглядка на Христа, пусть скороговоркой. Да и Георгий Иванов, с его горьким скепсисом, промелькнул, в том же ямбе, помнящем трехсот спартанцев:

Стоят рождественские ёлочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Прошу не усматривать в этих рассуждениях гендерного перекоса. Куда как суров в требованиях к стихам и людям честный, многоопытный Дмитрий Сухарев, и он движется в той же аналитической плоскости («Влажным взором», предисловие к книге Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных...»):

«А что такого особенного в его стихах?» — спросила девица с телеканала «Культура». Чем дольше думаешь, тем трудней ответить. В тот раз я ответил сразу, запись сохранилась, вот расшифровка:

По-видимому, *есть* нечто особенное, поскольку разные люди, которые считаются авторитетами в поэзии, говорят: да, Рыжий выделяется во всем поколении. Спросите хоть Кушнера, хоть Рейна, да и многих других — все говорят в один голос. Если попробовать объяснить... Могу попробовать.

Нужно закрыть глаза на второстепенное, хотя оно-то и лезет в глаза: на имидж, который он себе создавал, на его смерть, почему она случилась, зачем была нужна. Не многовато ли матерщины. Потом этот Свердловск, который живет в его поэзии. Почему он не похож на реальный Екатеринбург? Всякие такие вопросы — они интересны, но отвлекают от сути. Есть, по-моему, три главных вещи, которые ставят поэзию Бориса Рыжего на совершенно особое место.

Во-первых, он соединил концы. Понимаете, после того как рухнул Советский Союз (и даже до того), очень большую развели при помощи зарубежных доброхотов пропаганду, что у нас в советскую эпоху ничего хорошего не было. Ни музыки, ни литературы — ничего. Это вранье, но на многих оно повлияло. И возникла целая генерация молодых поэтов, которые даже не знали, какая великая была у нас поэзия. Не знали, не читали, не желали читать. Поверили лукавой схеме: «Серебряный век — эмигранты — Бродский».

Рыжий на вранье не купился, у него было замечательное знание предшественников, редкостно замечательное. Для него оставались значимыми и поэты Великой Отечественной (в первую очередь, Борис Слуцкий), и поэты тридцатых (больше других Владимир Луговской).

Лишая культуру контекста, обрекали ее на погибель. Рыжий убедительно восстановил контекст. Это первое.

Второе. Мне кажется очень важным, что Рыжий продлил ту линию русской поэзии, которую называют некрасовской. Я имею в виду поэзию милосердия, сострадания, когда страдание другого волнует поэта сильнее, чем собственное. Этого у нас почти ведь не бывает, поэтам свойственно испытывать жалость к себе. А тут...

Полвека назад Илья Эренбург задел тогдашнего читателя за живое, написав в «Литературной газете», что Некрасову прямо и непосредственно наследует никому

тогда не известный поэт-фронтовик Борис Слуцкий. В самом деле, Слуцкий, у которого фашисты убили близких, мог писать милосердные, исполненные живого сочувствия стихи даже о поверженном враге — о захваченном разведчиками «языке», об эшелоне с пленными итальянцами... Полузабытая тема сострадания была мощно реабилитирована.

Теперь Рыжий наследует в этом Слуцкому:

...но не божественные лики,
а лица урок, продавщиц
давали повод для музыки
моей, для шелеста страниц.

Урки, пропойцы, наркоманы и менты — они для него люди, они кочуют по его стихам, их можно любить, понимать, жалеть. Это огромная редкость.

И третье — Рыжий перечеркнул тусовки. Это первым отметил Дмитрий Быков, который сразу после смерти Рыжего опубликовал дельную статью о его творчестве. В отсутствие крупных имен у нас развелось изобилие амбициозных литературных кучек. Я имею в виду не кружки любителей и не литературные объединения, а именно кучкующихся квазипрофессионалов. Каждая такая кучка считает себя могучей, провозглашает гениев собственного розлива. Так вот, все это стало ненужным. Знаете: висят, пляшут в воздухе комариные стайки, а махнет крылами орел — и нету. Сами тусовки этого, может быть, еще не осознали, но дело сделано, и общая литературная ситуация неизбежно изменится.

Не стану отрекаться от сказанного тогда перед объективом, но есть ощущение недостаточности. Тогдашнее второстепенное уже не кажется таким. Выбор между реальным Екатеринбургом и «сказочным Свердловском» — не пустяк. Имидж — слишком вялое слово, чтобы выразить то, что Сергей Гандлевский назвал «душераздирающим и самоистребительным образом жизни».

Сухарев непримирим, верен вечным идеалам, но *влажный взор* — там, где надо: он любит этого поэта, восхищен им, равно знает и его песню, и ее соотношение с разными временами, пережитыми страной в обозримой истории.

Однако — нет, не безоблачным, не однотонным, не бело-голубым, не розовым был обратный горизонт истории отечества, Рыжий это ясно видел.

Давай, стучи, моя машинка,
неси, старуха, всякий вздор,
о нашем прошлом без запинки
не умолкая тараторь.

Колись давай, моя подруга,
тебе, пожалуй, сотня лет,
прошла через какие руки,
чей украшала кабинет?

Торговца, сыщика, чекиста?
Ведь очень даже может быть,
отнюдь не всё с тобою чисто
и страшных пятен не отмыть.

Покуда литеры стучали,
каретка сонная плыла,
в полупустом полуподвале
вершились тёмные дела.

Тень на стене чернее сажи
росла и уменьшалась вновь,
не перешагивая даже
через запёкшуюся кровь.

И шла по мраморному маршу
под освещеньем в тыщу ватт
заплаканная секретарша,
ломая горький шоколад.

Написано под Смелякова или под Евтушенко, когда Евтушенко писал под Смелякова. Хорошо, между тем, написано.

Через десять лет Бориса окликнул Евтушенко:

Мы дети выбросов, отбросов,
и, если кто-то станет бронзов,
кто знает, что за зеленца
разъест черты его лица?

Как страшно, Господи, как жалко,
что отравляющая свалка
идей прогнивших и вождей
воздействует на всех людей.

И всем давно на свете ясно,
что хуже и сибирской язвы,
когда безнравственный падёж
обрушился на молодёжь.

Нет больше Рыжего Бориса.
Мир обворован, как больница,
где нет у стольких государств
от безнадежности лекарств.

Отец готовил ему геофизическое будущее, но совершил огромную — для своих планов — педагогическую ошибку: внушил младенцу поэтический образ мира, состоящий из русских стихов, высоких идеалов, великих надежд. Колыбельной Бориса была русская поэзия. Эта музыка в мужском исполнении и стала истинным уроком ритмики. Потомок запорожского сотника переварил эту музыку в соответствии с данным ему временем, включив в арсенал своих боевых средств некоторые ноты из письма турецкому султану. Репинские хохочущие казачины неотъемлемо присутствовали в аудитории, какой бы она ни была — школьной, студенческой, рабочей, бандитской, екатеринбургской, питерской, роттердамской, московской, трансазиатской.

Он начал со смешных стишков, помним эту рифму: «толстовата — косовата». Многое было «для рифмы», модель становилась не совсем собой, наверняка обижалась, но аудитории именно это и надо было. Самые первые упражнения по сплетению слов в рифму Боря проделал еще в восьмилетнем возрасте под руководством сестры Оли — перед сном. Притом, что эпиграммы и прочие колючки регулярно сыпались на головы окружающих, — говорят, стихописание — уже как высокая болезнь — поразило его лет в четырнадцать. Еще раньше он и детективчики пописывал.

Но это было секретом. Дело шло медленно. Он довольно долго утаивал и чувства и мечты свои, остро сознавая, что мысль, извлеченная из-под его пера (карандаша), ложна по неумению ее хорошо изречь. Однокурсники поначалу были не в курсе. Он щеголял фотоаппаратом «Полароид», первым на факультете заимев таковой, и проявлял себя больше в проделках и дурачествах с лидерским уклоном. Такого типа:

На практике в городке Сухой Лог, рядом — поселок Знаменка, с целью знакомства с ребятами с других факультетов (геология и гидрогеология) Борисом была создана ДНД (Добровольная народная дружина). В задачу данной дружины входило: контроль за порядком в лагере (который сами же и нарушали), а в некоторых случаях и экспроприация спиртных напитков у злоупотребляющих лиц. Сформировали инициативную группу, которой были выданы красные повязки, и люди стали выходить в дозор. Таким образом был установлен контроль обстановки в лагере, а также дополнительный источник спиртосодержащей жидкости. Большинство компаний считало почетным угостить представителей ДНД несколькими рюмочками водки. За особые заслуги сотрудникам ДНД разрешалось какое-то время поносить «знаменитую» кожаную кепку Бориса.

Это свидетельство (письмо ко мне) Вадима Курочкина, однокурсника Бориса. О поэзии речи нет. О ней и не говорили в Сухом Логу. Но она там была.

Там, на левом берегу реки Пышма, есть вулкан девонского периода, высокий холм, голый — не заросший лесом, похожий на спину гигантского мамонта, полувылезшего из вечной мерзлоты. Имя этого места — *Дивий Камень*: старое название от первопроходцев-казаков, старое слово, означающее «удивительный, дивный», а в песнях и сказках — «лесной, дикий, дикорастущий», даже «девий», а также «неручной, недомашний». Всё вместе это и есть поэзия.

Здесь уместно напомнить название первой книги Мандельштама: «Камень».

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Из исторического далека, по законам долговременной оптики, Дивий Камень напоминает и могильный холм, а также поставленное природой надгробье.

В чьих карих, скажи мне, не дивные стлались просторы —
грядою могильной вставали Уральские горы?

Рыжий вопрошал и в двух вариантах этого стихотворения:

О чём молчат седые камни —
о боли нашей, может быть?
Дружок, их тяжесть так близка мне,
зачем я должен говорить,
а не молчать? Остынут губы,
потрескаются навсегда.
Каналы, грязь, заводы, трубы,
леса, пустыни, города —
не до стиха и не до прозы,
словарь земной до боли мал.
Я утром ранним с камня слёзы
ладонью хладной вытирал.

1995, июнь

О чём молчат седые камни?
Зачем к молчанию глуха
земля? Их тяжесть так близка мне.
А что касается стиха —
в стихе всего важней молчанье, —
верны ли рифмы, не верны.
Что слово? Только ожиданье
красноречивой тишины.
Стих отличается от прозы
не только тем, что сир и мал.
Я утром ранним с камня слёзы
ладонью тёплой вытирал.

<?>

В ту пору он исторг целый каскад *каменных* стихов, посвященных Питеру:

...дождинка, как будто слеза,
упала Эвтерпе на грудь.
Стыжусь, опуская глаза,
теплее, чем надо, взглянуть —

уж слишком открыт этот вид
для сердца, увижу — сгорю.
Последнее, впрочем, болит
так нежно, что я говорю:
«Так значит, когда мы вдвоём
с тобою, и осень вокруг —
и камень в обличье твоём
не может не плакать, мой друг».

(1995, Летний сад)

Дай я камнем замру —
на века, на века.
Дай стоять на ветру
и смотреть в облака.

(1995, Петербург)

А вот Урал с самого начала, в те же годы, был таким (строки из разных стихотворений в подбор):

На Урале дожди ядовиты.
Урал — мне страшно, жутко на Урале.
... глухой Урал к безумству и злословью.
Урал научил меня не понимать вещей
элементарных.

И тому подобное.

...В июле 1994-го на сухоложской базе геологической практики студентами руководил преподаватель Горного института Алексей Кузин (род. 1956) и ничего удивительного не было в том, что Кузин — сам поэт. К той поре они были, можно сказать, давними знакомцами: познакомились в начале февраля 1992-го. Кузин вел дневник. 21 февраля записано:

У него явно выраженное драматическое мироощущение, образное мышление, свободное владение поэтической формой (за исключением некоторой небрежности в рифмовке). Но он еще очень молод и неуправляем.

Это осталось навсегда: молод и неуправляем. Как видим, семнадцатилетний Борис становится своим в некоем кругу, среди стихотворцев, о чем чуть позже не оповещает однокашников по институту. Продолжается эта схема существования по двум параллельным линиям. Он уже участвует в поэтических вечерах, ходит в лит*о* (литературное объединение) «Горный родник», которым руководит опытный поэт Юрий Лобанцев. Эти два человека — Лобанцев и Кузин — вошли в его судьбу первыми советчиками, и надо отметить парадокс ситуации, ибо оба они — абсолютные традиционалисты, если не консерваторы, включая верность Маяковскому советской эпохи, а Борис к той поре прошел полосу любви и к раннему Маяковскому, и, скажем так, к Илье Кормильцеву, поэту «Наутилуса», с его специфическими текстами не без западнического привкуса. Песни Высоцкого тоже не назовешь каноном стихотворства, а они были на слуху и на устах уже новых поколений, в том числе генерации Рыжего. У Бориса были, похоже, попытки вот именно песни на известный ему одному мотив:

Если меня убьют на войне,
Надень, дорогая, чёрный платок.
В плечо моей маме рыдай по мне,
Брось на могилу алый цветок.

Если меня убьют на войне,
Назови моим именем сына, плачь,
Когда спросит тебя обо мне,
Катая по полу розовый мяч.

Если меня убьют,
Люди не вспомнят,
Друзья не поймут.

12.01.92

Он и подписывал поначалу, или согласился подписывать, в печати свои стихи на манер эстрадных звезд — Боря Рыжий.

Времена стояли тяжкие, преподаватель Кузин подрабатывал службой на вахте института в позднее время, Борис приходил к нему в вечерние часы. Писал много и показывал новое старшему товарищу, в июле 1992-го принес 40(!) стихотворений, написанных за март — июль, при этом от февральских своих стихов категорически отказался. Те стихи почти не сохранились, но Кузин записал впечатления от них и кое-какие строки. В стихотворении «В.В.Маяковскому», написанном 12 апреля, было сказано:

Он написал поэму «Плохо»
одним нажатием курка.

За два дня до этого написано «О моей смерти». В изложении Кузина оно выглядит так:

Я умер, когда осень и вечер весь день. Лету осиновый кол. Сигарета, кухня. Улица — лёгкие ветра. Хочется спать.

Образ «улица — лёгкие ветра» дорогого стоит. Накануне 14 апреля — дня гибели Маяковского — юноша тяжело думал об этом событии, о жизни и смерти.

Было еще и лито им. М.М.Пилипенко — покойного журналиста, поэта, барда — при молодежной газете «На смену!» под руководством Николая Мережникова. Туда ходили и Кузин, и Рыжий. У Бориса появились новые приятели — Игорь Воротников, Леонид Луговых, Алексей Верницкий, Вадим Синявин (стихов не писал — играл на кларнете и многих прочих инструментах).

Лито в Доме культуры автомобилистов — то место, куда пришел Лобанцев после «Горного родника». Там было многолюдно и бурно. Вообще надо сказать, начало 90-х в Екатеринбурге — взлет стихотворства, молодое кипение вокруг стихов и поэтов, поток вечеров, встреч, выступлений, изданий коллективных и индивидуальных (очень скромных, малым тиражом, обычно — за свой счет). Я пишу не трактат об уральской поэзии. Но рядом с Рыжим были другие.

Юрий Лобанцев был, что называется, крепким поэтом, сколачивая стихи продуманно и без внешних эффектов. Он писал стихи, как вел литобъединение, уча и наставляя:

Поэтов, присосавшихся к берёзам,
теперь обходит время стороной.

Он был знаком с тем же Евтушенко, не претендуя на привилегированную близость, почитал его и вообще элиту шестидесятнической эстрады, но стилистически тяготел к той условной «тихой лирике», вождем которой критика назначила Владимира Соколова. Это не противоречило любви к выступлениям перед живой публикой — сам выступал и воспитанников приводил на сцену. Он продолжал наставлять (стихотворение «Слово»):

...И кто-то,
разрывая круг,
назло наветам и запретам
такое слово скажет вдруг,
что вровень с Правдою
и Светом.

Позиция симпатичная, отсюда — интерес и любопытство к новым людям, среди которых Рыжий оказался самым ярким и многообещающим. Лобанцев поддерживал его всеми подручными средствами: прежде всего рекомендациями разного рода. Именно Лобанцев выдвинул его, обеспечив участие в различных столичных акциях. С первым фестивалем студенческой поэзии (1992) произошло то же самое, что и с его первым боксерским поединком на выезде: он занял призовое — второе (или третье) — место, зато в следующий раз (1997) выиграл состязание.

На Всероссийском совещании молодых поэтов (Москва, 1994), куда его послал тот же Лобанцев, Борис обрел не только успех, но дружбы и связи наперед. Такое не забывается. Лобанцев ушел — инсульт, перед этим долго и тяжело болел, Борис навещал его, рыдал — идя по больничным коридорам.

Ю.Л.

Жизнь художественна, смерть документальна
и математически верна,
конструктивна и монументальна,
зла, многоэтажна, холодна.

В ниспровержении авторитетов, в частности местных классиков, Рыжий не упражнялся. В узком кругу он мог съязвить по тому или иному адресу, но эпатажных манифестов или физических сбрасываний стариков с парохода современности не было. Опекавший его Кузин — человек, первым представивший его стихи на страницах «Российской газеты» (местной, не московской), сам писал стихи другие. Сравнить несложно. В 1995-м они вместе были на очередной практике — в той же соотнесенности: руководитель и студент — в Верхней Сысерти, и там Кузин узнал от Бориса, что неподалеку — в поселке Кытлым — «...однажды на границе участка работ он (Борис. — *И.Ф.*) нашел кирку с изящной тонкой ручкой. Он взялся за нее, но дерево рассыпалось в прах. А потом он увидел человеческий скелет. И убежал». Был скелет, не было скелета — неважно. Проще говоря, сработало воображение поэта.

Кузин так отреагировал на случившееся:

Б. Р., ты точно был неправ:
У мёртвых спрашивают имя.
А там, на приисках в Кытлыме,
Скелет среди камней и трав...
.....
Ты думал выскочить, но где там —
Он будет помнить сотни лет...
Давай в Кытлым поедем летом
И похороним тот скелет.
Но прежде весь Кытлым поднимем,
Поищем род его и след.
А нет — давай составим имя
Из наших двух: работы всей —
Поведать буквами прямыми:
«Здесь спит Борисов Алексей».

Стихи шероховатые, с элементом первозданного косноязычия, и что интересно: взрослый человек говорит со школяром на равных, более того — в двойном имени, им придуманном, Борисов — фамилия скромного человека Алексея...

На стихотворение Кузина последовал ответ в стихах «Север», с посвящением А. Кузину:

Он лежал под звездою алмазной
и глядел из-под хвои и сучьев —
безобразный, богатый, трёхглазый.
Ах, какой удивительный случай!
Я склонился — небритый и грязный —
с любопытством. Почти бурундучьим.
.....
Как мы любим навязывать мёртвым
наши мненья — всё в радость нам, глупым.
Он погиб незнакомым и гордым —
даже вздох свой считаю преступным,
уходя налегке бесконечным и тёмным
лесом — страшным, густым, неприступным.

Стихов подобного рода Рыжий больше не писал. Что имеется в виду? Это называется философская — или медитативная — лирика, в духе зрелого Заболоцкого. Борис прощупывал в себе эти возможности — и нашел их недостаточными для своей органики. «Смерть коня» Спиридона Дрожжина ему оказалась роднее, нежели «Лицо коня» Николая Заболоцкого. Будущее чтение философской литературы — от Ницше до Шестова — не изменит положение дел. Как слушание Баха не перенастроит его вторчерметовско-царскосельской лиры, далекой от, например, симфонизма Бродского.

А тогда, в 1995-м, Кузин вместе с И.Зубовым, И.Воротниковым, Л.Луговых и Рыжим организовал литературное движение «Горный родник». Оно просуществовало недолго и было некоторой — легкой по существу — игрой. Ничего значительного не случилось. Интересней другое — движение Рыжего исключительно наверх. Уже в 1993-м у него, начинающего по всем статьям, был авторский вечер на площадке ДК автомобилистов. Он выезжает в Москву, его обильно печатают на Урале.

С Олегом Дозморовым Бориса познакомил тот же Кузин, это было в 1996-м, в начале октября. «Иду красивый, двадцатидвухлетний», — мог бы сказать каждый из них — полных сверстников, и Борис, возможно, так и делал или так и думал, Олег был другим. Каким? В 2000 году Борис написал в предисловии к книжке собрата: «Олег Дозморов — один из любимых моих поэтов, мой, пожалуй, единственный друг, которому я могу пожелать вдумчивого читателя, но, увы, не громкой славы, он недостаточно решителен для этого». Эта книга — «Стихи» — Дозморова вышла уже без Бориса (2002), но путь до нее они проделали поистине совместно.

С самого начала эта дружба сопровождалась фонтаном строк.

«К Олегу Дозморову» (1997):

Владелец лучшего из баров,
боксёр, филолог и поэт,
здоровый, как рязанский боров,
но утончённый на предмет
стиха, прими сей панегирик —
элегик, батенька, идиллик.

Когда ты бил официантов,
я мыслил: разве можно так,
имея дюжину талантов,
иметь недюжинный кулак.
Из темперамента иль сдуру
хвататься вдруг за арматуру.

Они кричали, что — не надо.
Ты говорил, что — не воруй.

Как огнь, взметнувшийся из ада,
как вихрь, как ливень жесткоструй-
ный, бушевал ты, друг мой милый.
Как Л. Толстой перед могилой.

Потом ты сам налил мне пива,
орешков дал солёных мне.
Две-три строфы неторопливо
озвучил в грозной тишине.
И я сказал тебе на это:
вновь вижу бога и поэта.

...Как наше слово отзовётся,
дано ли нам предугадать?
Но, право, весело живётся.
И вот уж я иду опять
в сей бар, единственный на свете,
предаться дружеской беседе.

Поздний друг Бориса, голландский славист и прозаик Кейс Верхейл писал ему о том, что в его стихах постепенно обнаруживается эпик. Это почти так. У него были когда-то наивные попытки поэм — «Мы» (1992), «Звезда — Размышление» (1993), но он и сам их разогнал.

Я скажу тебе, что хотел,
но сперва накачу сто грамм.
Так я в юности разумел
вне учебников и программ:
Маяковский — вот это да,
с оговорками — Пастернак,
остальное белиберда.
По сей день разумею так.

Отыграла музыка вся.
Замолчали ребята все.
Сочинить поэму нельзя —
неприлично и вообще...

Однако со временем Рыжий все чаще пишет лирический нарратив, сюжетику, рассказ в стихах. Его Вторчермет — череда новелл, внешне бытовых, повседневно предметных, абсолютно вещественных. Онтологическая надстройка — борьба Добра и Зла — ненавязчиво сквозит в самом звуке, в ноте высокой горечи. В посвященном Олегу стихотворении он дает полуфантазийную конкретику частной жизни товарища на фоне общей жизнедеятельности города и мира.

Дозморов отвечает стихотворением «Аполлон» (1997):

Борису Рыжему, с любовью

Остановись прикурить на мосту,
на Боровицком.
Вечер, как бритвой, проводит черту
в сумраке мглистом.

Вот и закат два погона пришил
к храму, который,
красными взорван, недавно ожил,
ожил по новой.

Здесь, где трава изукрасила склон,
вывив полоски,

с водкой, гитарой гулял Аполлон,
но не Полонский.

В точно таком же, да только в другом —
жил против правил,
в дальних кварталах отыскивал дом.
(Шпили расплавил,

влил в себя бронзу, запойный закат.)
О, то и дело
в жизни случался как будто затакт.
Не надоело?

Жил он и умер, бедняга, и свет
словно растерян,
там, где родился великий поэт,
верный потерям.

О каком великом поэте в конце концов идет речь? Похоже, о друге любезном.

Попутно заметим это посвящение: «Борису Рыжему, с любовью». Тоже игра — на соответствующем посвящении «Рождественского романса» Бродского: «Евгению Рейну, с любовью». Потом будет и это посвящение Бориса: «Кейсу Верхейлу, с любовью». Многое в этих судьбах вилось вокруг Бродского, по следу его звездной славы, с утаенным распределением ролей.

Дозморов живет сейчас в Лондоне. Я написал ему. Он отозвался: «Я целиком поддерживаю этот проект и готов помочь Вам всеми силами».

Мы еще не раз вернемся к Олегу Дозморову.

Сюжеты взаимодействия поэтов, не обязательно равных по известности и дарованию, складываются зачастую причудливо. В 2004 году в Екатеринбурге Кузин выпустил книжку «Следы Бориса Рыжего», свод его дневниковых записей. Вряд ли будет преувеличением найти след Кузина — по праву рождения в городе Верхний Уфалей Челябинской области — в молодом шедевре Бориса (1997):

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

Здесь поставлен мучивший тогда Бориса вопрос: «Может, правда нам отсюда никуда не уезжать?».

Нет, уезжать не из страны — из родного города. Ни Штаты, куда его звал погостить Владимир Гандельсман, ни Прага с приглашающим Кирилом Кобриным не прельщали Бориса, да и финансы пели романсы. Кобрин до отъезда в Прагу жил в Нижнем Новгороде. В веселом месяце мае двухтысячного года он устроил фестиваль-конференцию на тему русской провинции. Туча участников мероприятия за три дня

пролилась слезами, счастливыми и пьяными вперемешку. Великая река, матушка Волга пополнилась патриотической влагой.

Его немедленно полюбили местные нижегородские бандиты и стали приглашать в сауны и казино. В сауне он потерял часть одежды, а в казино проиграл чудовищную сумму чужих денег. За стихи ему прощали все. Криминальные личности ошибочно считали, что он пишет про них и для них. Видимо, то же самое происходило с Есениным и Высоцким.

(*А.Голицын. Новые времена в Саратове, № 7(22), 21-27 февраля 2003 г.)*

Часть четвертая

...Витебский вокзал — самый старый, первый вокзал в России. Его построил на месте предыдущих зданий (деревянное 1837-го, каменное 1849 — 1852 годов) архитектор А.Бржозовский в 1904 году. Это модерн, ничего старческого в нем нет, а светлой красоты и суровой исторической достоверности — достаточно. Включая новейший горельеф на северном фасаде — идеальные русские солдатики, их трое, в теплушке возвращаются с фронта Первой мировой, с Георгием на груди. Но история — мать мифа. Или наоборот: миф — отец истории. Это необходимо диссонирует с Блоком.

Петроградское небо мутилось дождём,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
.....
Эта жалость — её заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — её застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

Писано *1 сентября 1914-го.* Сегодня как раз *8 сентября 2014-го*, столетний день окончания Галицийской битвы и сороковой день рождения Рыжего.

Кованые рисунки на балконах напоминают лиру — и вообще надо сказать, что в Питере лира на каждом шагу, по слову Ахматовой:

Здесь столько лир повешено на ветки,
Но и моей как будто место есть...

Речь о Царском Селе, куда и вела поначалу дорога от этого — первоначально Царскосельского — вокзала. На ступенях Царскосельского вокзала, как после атомной бомбежки, выжжена тень ахматовского — и не только — учителя Иннокентия Анненского, замертво упавшего там перед последним возвращением в Царское Село.

Каждый русский поэт, когда юн, входит в этот город с особым ощущением. Во времена Блока все знали: это блоковский город, у Есенина при первой встрече с Блоком, как известно, потек пот со лба. У Рыжего было так («Бледный всадник»):

Над Невою огонь горит —
бьёт копытами и храпит.
О, прощай, сероглазый рай,
Каменный град, прощай!
.....
Пусть деревья страшит огонь.
Для камней он — что рыжий конь.
Вскакивает на коня и мчит
бледный всадник. В ночи.

Напоминаю, Брюсов был любимым поэтом Бориса Петровича — и вот в стихах сына отзвук брюсовского стиха — его «Конь блед»:

Показался с поворота всадник огнеликий,
Конь летел стремительно и стал с огнём в глазах.
В воздухе ещё дрожали — отголоски, крики,
Но мгновенье было — трепет, взоры были — страх!

Другой размер, другая ритмика, у Рыжего — близкая к Бродскому, но ведь всадник — тот самый, а не плод незатейливой каламбуристики на рифме «медный — бледный» с намеком на пушкинского «Медного всадника». Рыжий начал по-своему осваивать цитадель камня, город, ставший общекультурной школой человека с Урала.

Витебский вокзал смотрит на здание Военно-медицинской академии (клиника военно-морской и общей терапии, а также клиника челюстно-лицевой хирургии). Военно-медицинская академия сменила (1940) Обуховскую больницу для бедных. Там был морг. Туда привезли писателя Гаршина, когда он простился с собой в лестничном пролете. Туда перенесли бездыханного Анненского с вокзальных ступеней. Туда же привезли из «Англетера» тело Есенина. Так заканчивается завоевание столиц.

Рыжего постоянно сравнивали с Есениным. Но он сам определил дистанцию между народным кумиром и собой:

Там вечером Есенина читали,
портвейн глушили, в домино играли.
А участковый милиционер
снимал фуражку и садился рядом
и пил вино, поскольку не был гадом.
Восьмидесятый год. СССР.

...У русской поэзии есть память об Андре Шенье, павшем на плахе. Молодой Пушкин назвал его Андреем, посвятив обширное стихотворение жертве революции (1825):

Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждёт палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует[1].
Вот плаха. Он взошёл. Он славу именует...
Плачь, муза, плачь!..

Борис Рыжий — не тот тип, он больше напоминает печально-разгульного шотландца — посетителя буйственных заведений Роберта Бёрнса с его веселыми нищими:

Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников.
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков.
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир.
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнущий мир.

[1] Пушкин дает здесь сноску: «На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга». Жаль Руше, он остался в тени.

Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она.

(Перевел Эдуард Багрицкий)

Здесь же неподалеку и певец канавы, луны и пьяного корабля, законченный безумец Артюр Рембо, о котором здорово написал в далекой бурной молодости учитель Рыжего Евгений Рейн:

Он бросится назад, в Марсель, но будет поздно.
Без франка за душой, в горячечном бреду.
Есть медь и олово — из них получат бронзу.
Есть время и стихи — они не предадут.
Ещё он будет бегло перелистан.
Его ещё не смогут прочитать.
Его провоют глотки футуристов
И разнесут на тысячи цитат.
Он встанет над судьбой стиха и, точно
Последний дождь, по крышам прохлестав,
Разанилиненный при трубах водосточных —
Цвет гениальности на выцветших листах.

Шенье погиб из-за препирательства с новыми временами, полными кровавой свирепости. Борис сам скоропалительно сжег свою животрепещущую жизнь, скорей всего это палач-генетика («Наследственность плюс родовая травма»). Ни в какую распрю с «оккупационным режимом» не вступал. Конечно же он мог бы написать нечто подобное тому, что говорится в пушкинском стихотворении:

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Но ничего подобного он не писал. Напротив, была поэма о ГКЧП, пропала. Пронзительно скучая по детству, он не стремился, не ломился назад. По слову Кушнера:

Времена не выбирают.
В них живут и умирают.

В этом ряду и другой — русский — шотландец: Лермонтов, потомок Томаса-стихотворца. По следам Пушкина, внутри своего обширного стихотворения давшего якобы-перевод из Шенье, он тоже поминал погибшего собрата («Из Андрея Шенье», 1830 или 1831 год, автору шестнадцать лет):

За дело общее, быть может, я паду
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Быть может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу стыдом сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец...

Но все они похожи, эти нестарые поэты, потому что на лире бряцали, пели кто о чем и смотрели на небеса.

Может быть, от века и до сих пор во главе этой мировой ватаги молодых стоит Гай Валерий Катулл, веронский повеса и смутьян.

Поводырь старичка Фалерна юный!
в чаши горечь мне влей, — повелевает
так Постумии глас, царицы пира,
пьяных ягод налившейся пьянее.
Вы ж отсюда, пожалуй, прочь катитесь,
воды, порчи вина, и вон к сварливым
убирайтесь — чистейший здесь Фионец!

Дерзкий переводчик — Максим Амелин — соперничает с Пушкиным, переложившим Катулла в 1832 году:

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струёй, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус.

Еще никто не заметил, что это — рифма, довольно модерновая: «Фалерна — велела»?..

Вернемся в Петербург.

В редакцию «Звезды» на второй этаж ведет видавший виды, с щербинами и выбоинами, темно-серый гранит — широкая и длинная лестница в два марша с разворотом. В огромной комнате, точнее сказать — в зале, мы сидели с Александром Леонтьевым за небольшим круглым столиком.

— Вы полагаете, Борис равен Лермонтову?

— Почему бы и нет?

Борис Рыжий («Царское Село»):

Поездку в Царское Село
осуществить до боли просто:
таксист везёт за девяносто,
в салоне тихо и тепло.
«...Поедем в Царское Село?..»

Это было не первое посвящение другу Александру. Они познакомились в Москве на совещании молодых поэтов в 1994-м. Леонтьев обитал сразу в двух городах: в Питере, где родился, и в Волгограде, куда его отвезли в детстве. Он предпочитал историческую родину — берега Невы. Где и бросил якорь.

Мгновенно сблизились, началась переписка. Борис явился в Питер уже в том же году. Он остановился в маленькой академической гостинице на улице Миллионной, в то время улице Халтурина. Там он пребывал каждый раз, его приезды оформлялись как научные командировки от аспирантуры, не без участия отца, разумеется. В каморке гостиничного номера клубился дым, потреблялись напитки, в основном вино (разное, недорогое) и пиво («Балтика-6», «Портер»), текли пространные речи о поэзии, читались стихи, назывались имена. Бывали в гостях, в компаниях собратьев читали стихи по кругу, импровизировали: строчку — Борис, строчку — Саша. Накопилась куча стихов-посвящений Бориса, претерпевших разные редакции. Ходили в Новую Голландию, на Пряжку — к Блоку, на Литераторские мостки, на кладбище Александро-Невской лавры, где лежат Боратынский, Вяземский, Жуковский. Появился в знакомствах первый иностранец — Ханс Боланд, переводчик, жил на канале Грибоедова, много лет преподавал голландский язык в университете, позже — переводил стихи Бориса.

Конечно же все эти годы блистало и имя Мандельштама, чье «Поедем в Царское Село!» напрямую обыгрывается в «Царском Селе» Рыжего.

Тот же Мандельштам — и в «Элегии» 1998 года:

...И вечно неуместный, как ребёнок,
самой природы вечный меньшевик,
я руку жал писателям, поэтам,
пил суррогат в посёлке приисковом,
кутил, учился в горном институте,
печатал вирши в периодике.
Четыре года занимался боксом,
а до того ещё четыре года —
авиа-моделированием.
Лечился. Пил. И заново лечился.

— Ты должен быть авиамоделистом —
мне говорил Сергей Петрович Комов.
— Ты должен стать боксёром — говорил
мне чемпион Европы А.Засухин.
И приглашал меня в аспирантуру
Иосиф Абрамович Шапиро.
А некто Алексей Арнольдыч Пурин
сказал: вы замечательный поэт.

Я жить хочу. Прощайте, самолёты.
Висите на гвозде, восьмиунцовки.
И крепко-крепко спите под землёй,
мои месторождения урана.
Стихи, прощайте. Ждёт меня тайга.
Два трогательных ангела над драгой.

Рыжий всегда писал многоуровнево, многосоставно — при всей внешней простоте. Здесь мы найдем не только мандельштамовского мохнатого деятеля:

Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик,

но и отзвук Михаила Кузмина, действительно гениально звучащего:

Венок над головой, открыты губы,
Два ангела напрасных за спиной.
Не поразит мой слух ни гром, ни трубы,
Ни тихий зов куда-то в край иной.

У Рыжего есть стишок «Два ангела» (1996):

...Мне нравятся детские сказки,
фонарики, горки, салазки,
значки, золотинки, хлопушки,
баранки, конфеты, игрушки.
...больные ангиной недели,
чтоб кто-то сидел на постели
и не отпускал мою руку
— навеки — на адскую муку.

Скорей всего это сказано о своих сестрах, а вот этих двух людей — Леонтьева да Пурина — в некоторой степени можно было бы и отнести к его двум питерским ангелам-покровителям, но какой уж там покровитель из Леонтьева — лишь на четыре года старше, ни имени, ни книг, но уже печатался в «Звезде», а в том журнале ведает поэзией как раз Пурин, Алексей Арнольдович. Виртуозный поэт, кстати.

Некоторые подробности этих отношений — в письме Алексея Пурина ко мне (сентябрь 2014-го):

В первый же день мы с Б.Р. повздорили (вероятно, он услышал покровительственные нотки в моем голосе; на следующий день нас помирил Саша). С этим смешным событием связан мой стишок, опубликованный позже, кажется, в «Октябре» с инициалами в посвящении, на что Б.Р. все же обиделся и сочинил стих-ние «Почти случайно пьесу Вашу...» <....>

Его бесило (конечно, это я узнал потом — из писем Б.Р. к А.Л.), что первая подборка была напечатана лишь через год (вообразите!), а вторая тоже тянулась, но так и не была опубликована в «Звезде»: в расширенном виде он отдал ее Ольге Юрьевне (Ермолаевой. — *И.Ф.*), когда и у нас все решилось в его пользу. Да и альманах «Урби» (наш) его напечатал.

К эпистолярным свидетельствам А.Пурина стоит добавить его же стиховое:

(Он меня недолюбливал — и поделом:
мне смешно, если дразнят гусей...
Но со смертью его всё на свете на слом
вдруг пошло с очевидностью всей.)

Да, Леонтьев привел Рыжего к Пурину. Надо сказать — и они сейчас говорят об этом, — что ошеломительности *открытия* оба не испытали, все было проще и скромней: появился парень с хорошими стихами, умеющий много и много обещающий. Нет, не гений, не чудо, не... Есенин, словом. Леонтьев говорит: он услышал в Рыжем интонацию. Интонация. Да, в этом дело. Поэт есть интонация.

...В этот день — 8 сентября 2014 года — в Челябинске открылась памятная доска Рыжему. А накануне в Нью-Йорке на пересечении 108 Street и 63 Drive появилась табличка с именем Sergei Dovlatov Way. Кстати, в Питере на улице Рубинштейна давно (с 2007 года) висит доска с профилем Довлатова — нос картошкой (довольно большой), по автошаржу.

Сближения нарастают. Некоторые — изумляют.

8 сентября 1914-го Александр Блок написал знаменитые стихи:

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

У дома Блока на берегу Пряжки стоят два высоких тополя, возможно, видевших поэта. Они заглядывают в ту комнату на четвертом этаже, где в стеклянном кубе лежит его посмертная маска, белая и маленькая, остроносая и отчужденная, нагляднее всего подтверждающая его европейское происхождение, антропологическую связь с Дантом и Гёте. Брутально-сиротским лицом Высоцкого торгуют уличные художники на Невском проспекте, а Блок на Офицерской улице жил отшельником, не окружал себя причиндалами декаданса и служения крылато-мраморной Музе — гипсовый бюст Аполлона он разбил перед смертью кочергой, вынув ее из белокафельного камина. Он спал в проходной комнатушке за прочной, высокой ширмой пушкинской эпохи, на зеленом сукне компактного стола в его кабинете горела керосиновая лампа. Дом стоит незыблемо, на верху подъезда написано «Лествица №3 кв. 14, 15, 16, 18, 21, 23».

Некоторые квартиры исчезли со временем. Жизнь идет, современность реальна, рядом с блоковской лествицей в подвальном помещении функционирует «Школа причёсок».

Сама жизнь работает на понижение, как делал это в стихах Рыжий. Постижение Блока шло через другого друга — Дозморова, ему и посвящено (1997):

Над головой облака Петербурга.
Вот эта улица, вот этот дом.
В пачке осталось четыре окурка —
видишь, мой друг, я большой эконом.

Что ж, закурю, подсчитаю устало:
сколько мы сделали, сколько нам лет?
Долго ещё нам идти вдоль канала,
жизни не хватит, вечности нет.

Помнишь ватагу московского хама,
читку стихов, ликованье жлобья?
Нет, нам нужнее «Прекрасная Дама»,
желчь петербургского дня.

Нет, мне нужней прикурить одиноко,
взором скользнуть по фабричной трубе,
белою ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!

Дозморов сказал в эссе «Премия "Мрамор"»:

Это благодаря тебе, мальчику со свердловской окраины, блоковская музыка победила все прочие поэтические шумы и стала главной мелодией в эфире русской поэзии прошлого столетия. Это благодаря тебе она закрыла какофонический век, который когда-то открыла с железным скрежетом. Это благодаря тебе я понял и полюбил Блока — лучшего поэта XX века. Это благодаря тебе я стал поэтом, во всяком случае, надеюсь, что стал им или скоро им стану.

На почве Якова Полонского — на его кавказской лирике — Рыжий с Дозморовым выстроили игру — не в солдатики, но в офицеры царской армии, с поручиком в центре, «в духе Дениса Давыдова». Поручик сменил лейтенанта фронтовой плеяды советских поэтов. «Памяти Полонского», 1998:

Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах, словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька. Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся, говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь! За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб. За трепетный пеон. За утончённую цезуру. За русский флаг. Однако, что за тон? За ту коломенскую дуру. За Жомини, но всё-таки успех на всех приёмах и мазурках. За статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы и Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального покоя примесь. За пакостей литературных — вне. Поручик Дозморов, держитесь!

То же самое — с Леонтьевым или Пуриным, но уже в пространствах всей отечественной поэзии от Державина и Батюшкова до самих себя. В стихи впущена эдакая изысканность, и на пишмашинке как нарочно ломается буква «х».

Ничего особенно нового в той офицерской игре не было — совсем недавно, в перестроечные времена, и сладостный тенор Александр Малинин (между прочим, изначально земляк-свердловчанин) источал шлягер о поручике Голицыне, воскресли и запелись старые (1920) стихи белогвардейского поручика Арсения Несмелова «Каждый хочет любить — и солдат, и моряк» в исполнении Валерия Леонтьева, и поручик Лермонтов навсегда был на виду и на слуху, и близкие предшественники в поэзии — недавно молодые Тимур Кибиров с Бахытом Кенжеевым или Львом

Рубинштейном, Сергей Гандлевский с Дмитрием Александровичем Приговым — обменивались посланиями в духе приблизительно XIX века.

Стихотворство 1970 — 90-х купалось в возможности поговорить на языке предков из не слишком отдаленного прошлого — стилизаций седых времен на струнах Средневековья не было: этим занимались поэты шестидесятых, в частности питерец Виктор Соснора на материале «Слова о полку Игореве».

В девяностых Т.Кибиров написал книгу «Памяти Державина», а М.Амелин занялся наследием графа Хвостова.

Тому же Дозморову сказано:

Перед смертью вспомню это,
как стояли два поэта
у открытого окна:
утро, молодость, усталость.
И с рассветом просыпалась
вся огромная страна.

Два поэта, эти или те, — не два ли тополя на берегу Пряжки? Поэты ходят парами.

Раньше, до новых времен, в шестидесятых — семидесятых, Александра Кушнера критика сводила с Олегом Чухонцевым по принципу «интеллектуальной поэзии» (и такая была!), и Кушнер не напрасно посвятил Чухонцеву одну из лучших своих вещей — «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки...». В середине девяностых Кушнер и Рейн были теми именами, к которым молодых авторов влекло неумолимо. Еще восемнадцатилетним Борис отправил стихи тому и другому (без последствий).

С Кушнером отношения, начавшиеся в 1995-м, складывались прекрасно, но в мае 2000 года получилось нехорошо. Рыжий явился в кушнеровский дом под градусом, ему — не понимая ситуации — хлебосольно предложили выпить водки, что он и сделал, а потом зарвался, стал фамильярничать (предложил хозяйке дома выйти за него замуж, это шутка), Кушнер по телефону вызвал поэта М.Окуня («Вы курируете Рыжего?»), Окунь и гостящий у него Дозморов приехали, Кушнер спешно проводил их из дому, дав денег на такси, даже с избытком, не зная конъюнктуры цен в таксомоторном бизнесе.

Были и извинения, и прогулки по Таврическому саду, и книги с автографом, и отзывы в печати, вполне комплиментарные. Были и стихи. Такие:

Столичный бард мне сухо говорил,
Что я стихи дурные сочинил,
А я ему почти не возражал,
И как я возразить мог в самом деле,
Учитывая то, что Слуцкий жал
Ему однажды руку в ЦДЛе.

Я пожимал плечами: нет так нет,
Он был, конечно, неплохой поэт,
Но я его ни разу не читал,
А Слуцкий на меня наводит скуку.
Но года не прошло с тех пор, и руку
Мне Александр Семеныч Кушнер жал.

Слуцкого младой автор ругнул просто так, из лихости. У него будет случай самооправдаться, ведя речь от лица специфического персонажа:

До пупа сорвав обноски,
с нар сползают фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра —

начинаются разборки
за понятья, за наколки.

Разрываю сальный ворот:
душу мне не береди.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди!

Кушнер ответил Рыжему глубокой симпатией старшего («Новые заметки на полях», — «Знамя», 2007, №10):

Борис Рыжий, живший стихами, разговор о них предпочитавший любому другому, в одном из последних своих писем (3 апреля 2001 года) писал мне: «Я сейчас читаю (впервые!) стихи Парнок. Просто потрясен ее поэзией. А то, что Мандельштам стибрил у нее "Налей мне, друг, лучистого, Искристого вина. Смотри, как гнётся истово Лакейская спина...", меня просто шокировало — так вот за что он ее не любил».

В своем ответном письме я эту тему не затронул: вот приедет в Петербург в конце мая (я был уверен, что он получит «Северную Пальмиру»: он ее и получил, но посмертно), тогда и поговорим. Мелодический, напевный характер его стихов, «выводивший их в люди», делавший их запоминающимися и такими привлекательными, был едва ли не решающей особенностью его поэтики. Вот почему он «потрясен» Софьей Парнок, вот почему он прогневался на Мандельштама («стибрил у неё»). <...> «Лёгкие мелодии» хороши, но в стихах большого поэта с ними происходит то же, что с фольклорным напевом в симфонической музыке композитора: они усложняются, «аранжируются», приобретают глубокий смысл. <...> В один из своих визитов ко мне вместе с Сашей Леонтьевым, поэтом, своим другом, когда, посидев за столом, мы перешли в другую комнату — покурить, Боря с блестящими, «прозрачными», как у Долохова, глазами, спросил меня — и было видно, как это для него важно («Как будто в руку вложена записка — и на неё немедленно ответь»): «Гений и злодейство действительно несовместны или это не так?» Вопрос был задан не случайно, имел под собой реальное основание, конкретный повод, о котором рассказать не могу. И я с полной ответственностью, понимая серьезность «детского» вопроса, ответил: «Несовместны». Он обрадовался этому ответу так, как будто сейчас, в эту минуту, произошло нечто, от чего зависело его отношение к жизни и мирозданию.

Все правильно. Рыжий действительно учился у Кушнера, вплоть до построчных совпадений. Сравним. Вот Рыжий:

Я ничего не понимал,
но брал на веру,
с земли окурки поднимал
и шёл по скверу.

И всё. Поэзии — привет.
Таким зигзагом,
кроме меня, писали Фет
да с Пастернаком.

А вот его образец, то есть Кушнер:

И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.

Известный, в сущности, наряд,
Чужая мета:
У Пастернака вроде взят.
А им — у Фета.

Парадоксально, но уралец Борис Рыжий нашел для самых душещипательных стихов — другой камень («Петербург», 1994):

Я уехал к чёрту в гости, только память и осталась.
Боже милый, что мне надо? Боже мой, такую малость —
так тихонечко скажи мне
страшной ночью два-три слова,
что в последний вечер жизни
я туда приеду снова.
Что, увидев пароходик, помашу ему рукою,
и гудок застынет долгий над осеннею Невою.
Вспомню жизнь свою глухую —
хороша, лишь счастья нету.
Камень хладный поцелую
и навеки в смерть уеду.

Вот вам и отзвук Фета:

Хочу нестись к тебе, лететь,
Как волны по равнине водной,
Поцеловать гранит холодный,
Поцеловать — и умереть!

С Рейном Рыжего свел все тот же Леонтьев. Это было в апрельской Москве 1997-го. Леонтьев позвонил Рейну: к вам, Евгений Борисович, хотят зайти молодые поэты с Урала. Мастер сказал («проорал»): пусть заходят. Это были Рыжий и Дозморов. Рейн встретил их в прихожей своей квартиры на улице Куусинена: ребята, у меня важное дело («работаю с автором»), поговорим потом как-нибудь. Принял их рукописи и надписал одну свою книжку, принесенную Дозморовым, — «Сапожок» — на двоих. Забавно, что со стихами Рейна познакомил Дозморова как раз Рыжий, в обмен на Слуцкого и Самойлова, открытых ему Олегом.

Действительно, потом они с Рейном разговаривали — и не раз.

Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.

В чёрную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.

Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.

Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Леонтьев А., Рыжий Б., Дозморов О.

Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.

Как одному: «другу», а двум другим
он «Сапожок» подписывал: «дорогим».

Как говорить о Бродском при нём нельзя.
Встал из-за столика: не провожать, друзья.

Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!

Рейн потом говорил о Рыжем много, с похвалами и горечью, устно и письменно. Однажды он назвал Рыжего «любимый ученик», невольно произведя некоторую

рокировку: раньше на этом месте был Бродский. Стихи о Рыжем у Рейна произошли постфактум, после 7 мая 2001 года: «Памяти Б. Р.».

Голландской ночью бестелесной,
за баром открывая бар,
у входа в новый, бестелесный,
но привлекательный угар,
я поглядел — ты был усталым
и, быстро выдернув банкнот,
решил отгородиться малым
от всех наитий и забот,
от будущего в светлом мраке,
от настоящего в пивной,
и слепо огненные знаки
ты принимал за южный зной.
И, смачивая галстук водкой,
поэт трагических забав
из полупамяти короткой
доказывал, что я не прав.
И вот в поспешности немилой,
заглядывая в окоём,
я плачу над твоей могилой
меж полной рифмой и рублём.

В сентябрьские дни 2014-го в Сети появилась петиция к властям Екатеринбурга, то бишь к мэру Ройзману и депутатам местной думы:

Улица, на которой вырос Борис, носит имя космонавта Германа Титова, но вокруг, по всему району, улицы носят имена негромкие, простые — Агрономическая, Военная, Умельцев, Далекая, Листопадная. <...>

Уважаемый мэр Екатеринбурга, уважаемые депутаты Екатеринбургской городской думы! Просим вас рассмотреть возможность переименования одной из улиц Вторчермета в честь вашего земляка и нашей общей гордости — поэта Бориса Рыжего.

Александр Леонтьев с некоторым опозданием наткнулся на этот текст, а когда подписался, выяснилось, что он стал ровно *тысячным* подписантом, закрыв необходимый список, — что и требовалось доказать. Символизм существует.

Вечером, когда нас с Пуриным и Леонтьевым занесло в одну полувеселую компанию, Леонтьев, стоя у обильного стола, дрогнувшим голосом прочел стих Рыжего:

Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
всё хорошо, как никогда.

Ни для чего и низачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.
Пусть станут черными леса.
Пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольет в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне —
белей черемухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.

Компания задумалась и загрустила.

Много ли у Рыжего стихотворений о Петербурге или тех, что с ним связаны так или иначе? В общем-то немало, если считать по годам: сорок два стихотворения (в числах могу ошибиться, что-то не заметив, что-то не найдя). По преимуществу эти стихотворения взаимонаброcочны, перетекают одно в другое. Стоит взглянуть в этом свете на такую вещь как «Музыкант и ангел»:

В старом скверике играет музыкант
бледнолицый, а на шее — чёрный бант.

На скамеечке я слушаю его –
в старом сквере больше нету никого,

только голуби слоняются у ног,
да парит голубоглазый ангелок.

И чем музыка печальней и страшней,
тем крылатый улыбается нежней.

Это определенно набросок, этюд, эскиз, невольная заготовка будущего стихотворения «Над саквояжем в чёрной арке...». И музыкант (саксофонист), и черный бант — те же. Только сквер заменен парком да ангелок не перелетел в другое стихотворение. Питерские стихи Рыжего, ограничься он ими, не дали бы русской поэзии нового, удивительного пополнения. На этом уровне, за исключением двух-трех-четырех вещей, умели писать относительно многие талантливые стихотворцы — легко и даже вдохновенно. Была ведь «ленинградская школа» и ее наследники.

За всем этим должно было последовать другое, абсолютно свое, что исподволь и произошло чуть позже. Был освоен инструментарий, выражающий прямое восхищение красотой бытия. Была найдена та нота, звучание которой гармонизировало контраст двух бургов, двух картин действительности. Без петербургского пласта не состоялась бы миссия певца окраины.

Часть пятая

Свою первую подборку в настоящем центральном журнале — в «Звезде» — он увидел, жадно листая № 9 за 1997 год. В январе он приезжал в Питер на научную конференцию, на которой не появился, зато общался с кем хотел, встречался с Леонтьевым, был на открытии художественной выставки поэта Владимира Уфлянда, пообщался с Кушнером, который читал ему наизусть его стихи о Царском Селе, гуляя по Таврическому саду. В апреле — Москва, Пушкинский студенческий фестиваль поэзии, проведенный в угнетающей роскоши, оплаченной непонятно кем: 150 000 руб. за номер в гостинице, 15 000 за 20 талонов на питание. Кузин записал в дневнике:

Борис на талоны пригласил в столовую Государственной академии нефти и газа пятерых бомжей. Бомжи посуду не убрали.

В октябре опять был в Питере, там-то и погладил обложку «Звезды» со своей публикацией.

Похоже, 1997-й стал годом обретения уверенного мастерства, непустопорожней плодовитости. У Бориса было обыкновение по-разному датировать стихи, запутывать временной след, однако в общем и целом он придерживался хронологической правды.

В стихах 97-го может затеряться вещь, которую надо отметить:

Живи, как Решетов в Перми,
цени уральские морозы,
что останавливают слёзы,
или сегодня же умри.

Давай, стрельнись, как пьяный мент —
из бронзы, мрамора и воска
на чёрной площади Свердловска
тебе поставят монумент.

Алексей Решетов. О нем речь. Славный был поэт, жил тихо, рано ушел. Борис услышал не только его «стишки», он внял этому модусу вивенди, этике вот такой — непоказной — жизни. Но сам-то думал о монументе.

Между тем, однако, Решетову не так давно как раз поставили памятник в Березниках, в том сквере, где он сиживал с бутылочкой пива.

Рыжий как в воду глядел, примеривая эту ситуацию на себя:

Когда в подъездах закрывают двери
и светофоры смотрят в небеса,
я перед сном гуляю в этом сквере,
с завидной регулярностью, по мере
возможности, по полтора часа.

Семь лет подряд хожу в одном и том же
пальто, почти не ведая стыда, —
не просто подвернувшийся прохожий
писатель, не прозаик, а хороший
поэт, и это важно, господа.

В одних и тех же брюках и ботинках,
один и тот же выдыхая дым.
Как портаки на западных пластинках,
я изучил все корни на тропинках.
Сквер будет назван именем моим.

Алексей Решетов думал о другом величии:

В эту ночь я стакан за стаканом,
о тебе, моя радость, скорбя,
пью за то, чтобы стать великаном,
чтоб один только шаг — до тебя,
чтобы ты на плечо мне взбежала
и, полна ослепительных дум,
у солёного глаза лежала
и волос моих слушала шум.

В 1997-м Борис окончил вуз (проучился шесть лет: со второго курса уходил в академический отпуск), поступил в аспирантуру и вовремя окончил ее — в 2000-м, трудоустроился младшим научным сотрудником в лаборатории региональной геофизики в институте Б.П. Рыжего. Собственно, он уже был *мнс* в пору аспирантуры.

Отец вел себя двойственно — тянул в геофизику, подталкивая в поэзию. Выезжая в Москву, Борис Петрович закупал целую партию книг, заказанных сыном. В 1996-м,

будучи в Пекине, разыскивал книгу китайской поэзии на китайском языке — Борис попросил: хотел увидеть, как все это выглядит в иероглифической графике.

Отец находил в нем геофизическую жилку, надеясь на его научную карьеру. Но сам Борис не видел себя на этом поприще. Ему ничего не стоило сделать что-нибудь ученое — обработать необходимый материал, составить таблицу и проч. Компьютером владел прекрасно (на «антибукеровские» деньги купил компьютер и вышел в Сеть), аспирантуры и помощи отца хватало на имитацию научной карьеры. Было написано 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России. Одна из работ подписана двумя именами — отцом и сыном Рыжими.

Кстати говоря, в интервью «Уральскому рабочему» после получения Антибукеровской премии Борис сообщил о том, что свой приз в денежном выражении он потратил на охоту на кабанов в компании Дозморова...

Но пребывание при науке его тяготило, было лишним, явно посторонним. Вставал вопрос: как и на что жить?

Он готов был перенять принцип Ходасевича «Поэт должен быть литератором». Это подтверждает и Сергей Гандлевский (предисловиие к книге Б.Рыжего «На холодном ветру», 2001):

Стихи Бориса Рыжего имеют прямое отношение к замечательной предельно исповедальной поэтической традиции, образцовый представитель которой, конечно же, Есенин. Хотя язык с трудом поворачивается называть это душераздирающее и самоистребительное занятие заурядным словом «традиция». Кажется, каждый слог такой поэзии сопротивляется литературе и хочет оставаться, прежде всего, жизнью. И, тем не менее, Борис Рыжий считал себя и был литератором, причем искушенным. В последнее свидание мы, в числе прочего, говорили о небезопасности лично для автора подобного рода деятельности. Я, хотя я и старше Бориса Рыжего на 20 с гаком лет, глаз ему не открывал. Он знал, с чем имеет дело.

Его охотно приняли в Союз российских писателей («демократический»); параллельно существовал Союз писателей России («патриотический»), от которого он ездил на столичные состязания; большой разницы между конкурирующими организациями Борис не видел, да ее, кажется, и не было в Екатеринбурге.

Потихоньку началась писательская жизнь. В 1998-м был выезд в Пермь совместно с Дозморовым. Стремительно возобновилось фестивальное (Москва, 1994) знакомство с местным бардом Григорием Данским, вместе выступали во всех смыслах, потом было всяческое общение, обмен стихами, небольшая размолвка, и появилось:

Ты полагаешь, Гриня, ты
мой друг единственный, — мечты!
Леонтьев, Дозморов и Лузин —
вот, Гриня, все мои кенты.

В итоге же от пермского эпизода осталось лирико-саркастическое стихотворение Рыжего «Поездка» (или «Путешествие»):

Изрядная река вплыла в окно вагона.
Щекою прислонясь к вагонному окну,
я думал, как ко мне фортуна благосклонна:
и заплачу за всех, и некий дар верну.

Кейс Верхейл свидетельствует (письмо ко мне от 30 ноября 2014 года):

Я помню, что отец, Борис Петрович, рассказывал мне не раз о такой фразе, произнесенной с негодованием его сыном по поводу социального зла в России девяностых годов: «Жутко видеть человека с лицом Иисуса Христа, роющегося в мусорном баке в поисках еды».

Денег членство в писательской организации не давало, не считая некоторых возможностей относительно поездок и других эпизодических подачек. Постоянно нависало над головой то, о чем он сказал еще в 1994-м:

О, великий, могучий,
Помоги прокормить мне жену и ребенка.

Надо было искать нечто другое — Борис пошел трудиться в журнал «Урал», главным редактором которого к той поре стал Николай Коляда, человек театра по преимуществу. Его порекомендовал Коляде Олег Дозморов. Разговор при приеме на работу был такой: будешь моим замом по поэзии, будешь делать что хочешь, полный карт-бланш. Это оказалось театральным жестом. Довольно скоро выяснилось, что режиссерско-диктаторские навыки редактора преобладают над его же демократическим вольнолюбием, а вкусы поэта не совпадают с пристрастиями редактора-актера. Драматургия субординации стара как мир.

Поначалу в «Урале» было интересно. Там он, не без участия Дозморова придумав рубрику «Антология шедевров поэзии Урала», завел и рубрику «Граф Хвостов» и успешно отлавливал авторов для нее, уморительных графоманов. Параллельно при журнале жил и работал клуб «Лебядкинъ». По слову Тиновской:

...это чисто шарага — молодежь, графоманы, слесари-водопроводчики. Я как раз относилась к этой категории и там получила первые уроки. Борис туда просто приходил, а вел все это Олег Дозморов, ему немного за это платили.

Поэт принес для публикации в журнале стихи Владимира Уфлянда, высокочтимого питерского поэта, которому гарантировал полнокровную, некастрированную публикацию. Что уж там не устроило Коляду — неформальная лексика, имя автора или заносчивость Рыжего — теперь не имеет значения: Коляда отшвырнул рукопись Уфлянда. Борис отреагировал по-своему: сперва расстроился до слез, напился, а потом плюнул и ушел. Впрочем, в письме к приятелю — М.Окуню (27.06.1999) он между делом пробрасывает: «Что нового? Из "Урала" уволили за пьянку... (и к лучшему!)».

Эта информация соответствует стилю поведения, который он избрал к той поре: в духе звездного мальчика, вхожего в любые двери, и на то были некоторые основания. Уже и на берегах Невы, в редакции журнала «Звезда», 3 июля 1998 года у него (плюс Леонтьев и еще кто-то) состоялся вечер.

Вынуть пьяненькую старушку из сугроба, задрать на улице курсантов танкового училища — все одно: искренно и на вынос. Это — видят другие, со стороны, и никуда не денешься, ты такой, тебя видят, тебе поставят монумент.

В любом случае — членом труппы Николая Коляды он не стал. Оставалось прежнее — свободное плавание, свои хлеба и прочие дары независимости. Проще говоря — безденежье.

...У барона мало денег —
нищета его удел.
Ждет тебя, прекрасный Дельвиг,
Департамент горных дел.

Издатель Г.Ф.Комаров, выпустив книжку «И всё такое...» (разговор о ней впереди), предлагал выйти новой книгой. Борис звонил ему, просил гонорар — хотя бы 300–400 зеленых. Безрезультатно. Он начал сотрудничать в «Книжном клубе», еженедельном приложении к газете «Уральский рабочий», редактором приложения была Ольга Славникова. Он мог писать о чем угодно как вольный эссеист. Его рубрика называлась «Актуальная поэзия с Борисом Рыжим». Некоторых участников уральского литпроцесса смутила его заметка о вечере поэзии в Доме кино, куда сам он не

явился. Укорениться в редакциях не получалось. Сговорился один раз в две недели писать для «Книжного обозрения» (3000 знаков) и сайта «Кронус» (20000 знаков). Дело не пошло.

В таких случаях он говорил:

— Поздняк метаться.

Стыдно было сидеть на шее отца, стыдно было быть отцом ребенка, вклад в воспитание которого на первых порах младенчества Артёма исчерпывался прогулками по Зелёной Роще. Это замечательный парк, с детскими и спортивными площадками, с тихими и чистыми аллеями и шелестом иных воспоминаний: там был некогда монастырь. Женский Ново-Тихвинский монастырь. А потом пустырь, а потом парк. В дневные часы по тем аллеям двигались со своими чадами молодые женщины. Молодой отец выглядел белой вороной. Знакомое амплуа.

По ночам в Зелёной Роще шалили-озорничали. Тоже знакомо.

Нет никакого сомнения, Борис был человеком домашним, и его домом был двухкомнатный уголок на ул. Куйбышева, которым он бесконечно дорожил. Привязанность к родителям, вообще — к семье Рыжих со всеми ее ответвлениями, укрепляла самостояние, каким бы зыбким оно ни было. Сыновей сестры Лены — Олежку и Серёжку — он держал в братьях. Олежку, который был младше на двенадцать лет, так и называл «мой брат близнец». Когда в феврале 2002 года Олега насмерть сбил автомобиль на челябинской улице, потрясенная Елена обнаружила пророчество в стихах Бориса (1995, февраль):

Урал — мне страшно, жутко на Урале.
На проводах — унылые вороны,
как ноты, не по ним ли там играли
марш — во дворе напротив — похоронный?
Так тихо шли, и маялись, и жили.
О, горе — и помочь не можешь горю.
Февраль, на небе звёзды, как чужие,
придёт весна — и я уеду к морю.

Пусть волосы мои растреплет ветер
той верною — единственной — рукою.
Пивные волны, кареглазый вечер.
Не уходи — родной — побудь со мною,
не отпускай — дружок — держи за плечи —
в глухой Урал к безумству и злословью.
О, боже, ты не дал мне жизни вечной,
дай сердце — описать её с любовью.

Сыну он читал всякие стихи, но больше рассказывал сказки. По крайней мере сказками казались Артёму стихи самого отца, потому что там все подробно и правдиво.

Так или иначе, оставалось время для досугов, хорошо описанных Еленой Тиновской в плане достоверной предметности:

И, помогая грузчикам-таджикам с утра грузить мешки с моим товаром в тяжёлую железную тележку, чтобы со склада вывезти на рынок, остановился дух перевести... Зубами он открыл бутылку пива и сразу половину выпил залпом и вдруг сказал: — А Нобелевских премий нам не видать как собственных ушей. Тут знаешь что... У них своя ментальность, они живут другой какой-то жизнью, и что за дело умным европейцам до наших дел, а нам до их забот? Когда я оказался в Роттердаме с Учителем — а он сильней, чем Бродский — ... Мой друг хотел мне что-то рассказать, но тут таджики повезли тележку, и вдруг она попала колесом в какую-то неровность тротуара и встала, словно вкопанная в землю. Таджики стали рваться и пыхтеть. Он пробурчал: — У чурок неполадки! Сейчас они, в натуре, надорвутся!!! Держи бутылку, помогу парням — ... Недаром он когда-то был спортсменом и чемпионом города по боксу — тележка постепенно подалась, продвинулась сначала юзом, боком, потом уж прямо... Я пошла

вослед, в одной руке табличка «ДЖИНСЫ-БРЮКИ», в другой бутылка пива и пакет. Я бормотала: — Бунин, Солженицын, Иосиф Бродский, Пастернак, а ты так молод... Глянул на меня сердито: — Иное время и другой расклад! — И вот полгода я живу в Европе. Приятнейшие люди — европейцы. Уж я их начинаю понимать, они меня, как могут, понимают, но, к сожаленью, я — всего лишь я... Вот если б он! Он самовольно умер. Важней всего, о чем он говорил, важней, чем нищий заповедник детства — стремительный полёт вперёд и вверх!!! Он бросил нас, и Нобелевских премий нам не видать как собственных ушей... лет сто. А он бы лет через пятнадцать мог получить, да, видно, не судьба.

Елена Тиновская теперь живет в Германии. Что их так разметало — по Лондонам и Ганноверам? Какой-то вулкан взорвался на Урале, далеко разбросав камни, уже потухшие или еще горящие. Видимо, долго спал.

Часть шестая

Здесь уже не раз вскользь говорилось об Антибукере, и мне положено дать волю личным воспоминаниям. Самопиар? Не думаю. Прошло много времени, я не распространялся на сей счет.

Евгений Евтушенко в очерке о Рыжем «Беззащитно бескожий» (антология «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии») назвал эту премию маргинальной. Это не так. Я знал Антибукер изнутри, поскольку пребывал почти весь срок существования премии (пять из шести лет) в поэтическом жюри. Эпатажное «Анти» было придумано элегантно-экстравагантным Виталием Третьяковым, главным редактором «Независимой газеты», как вызов Букеру, уже несколько лет гремевшему в литературном пространстве, постепенно теряя авторитет. Букер, премировавший только авторов романа, стоил 12 000 долларов — Антибукер прибавил к этой сумме один доллар и распространился на пять номинаций, включая нон-фикшн, критику, драматургию и поэзию. 12 001 доллар получал каждый из пяти победителей.

То была эпоха тотальной игры, автопародии, непрерывного перформанса во всех сферах, когда под шатровой церковью Вознесения в Коломенском фланировали персоны в париках и камзолах галантного века, а ряженые официанты ресторана «Серебряный век» походили на великих князей.

Субсидировал премию Б.А.Березовский, хозяин «Независимой». Он тогда был большой меценат — богатая и высокопарная премия «Триумф» тоже была его продуктом.

Поэтическая номинация называлась «Незнакомка», и это как нельзя лучше подошло Рыжему. Лауреатами «Незнакомки» последовательно становились — Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Максим Амелин, Борис Рыжий, Бахыт Кенжеев.

Википедия говорит о том, что премия за стихи в 1999-м *не присуждалась*, оговаривая факт поощрительного приза Борису Рыжему. Это не совсем так, потому что жюри все-таки присудило этот выигрыш Борису — за дебют. Да, ему выдали 2000 долларов. Не 12 001. Но такой расклад образовался в результате спора внутри жюри.

Дело было так.

В море публикаций 1999 года я обнаружил подборку Бориса Рыжего «From Sverdlovsk with love» («Знамя», №4). Это были восхитительные стихи. Пришел новый поэт.

Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, в Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.

Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили из мрамора и розы.

На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они споткнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.

Пусть Вторчермет гудит своей трубой.
Пластполимер пускай свистит протяжно.
А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.

Да, это риторика, слёзная героика, отчетливая рефлексия на советскую хрестоматию — разительная разница и неприкрытая связь с такими, например, стихами Николая Майорова, двадцатитрехлетним павшего на фронте в феврале 1942 года:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Скажу сразу. Никакой я не первооткрыватель Рыжего. Наверняка первей был Дмитрий Сухарев, сказавший уральцу, уроженцу Копейска Андрею Крамаренко:

— На Урале появился гениальный поэт.

— Нет тут гения.

— Есть!

Москве — и тем самым всей стране — Бориса Рыжего предъявила Ольга Ермолаева, долгие годы отвечающая в «Знамени» за поэзию. Ее молодые стихи в свое время поддержал Леонид Мартынов, она знает цену подобной поддержке. Ту подборку, о которой речь, напечатала она, перед этим отбив телеграмму автору: будет публикация. Все шло головокружительно быстро — он прислал стихи в журнал в декабре 1998-го, а в апреле увидел себя на его страницах.

Состав жюри того года: Максим Амелин, Павел Белицкий, Евгений Рейн, Виктория Шохина, Илья Фаликов. Я сделал предварительный набросок шорт-листа, который был оговорен по телефону, а потом мы собрались и решили то, что решили. Дебаты кончились дебютом. Мы сидели в узком пенале редакционной комнаты, густо дымя (мы с Рейном). Амелин и Белицкий продвигали Ольгу Сульчинскую, их поддержала Шохина (по телефону), но в один счастливый момент Паша Белицкий, поэт и сотрудник «Независимой газеты», перешел на нашу с Рейном сторону. Это совпало с появлением в нашем дыму Виталия Третьякова — он пришел на шум голосов. Шеф сказал: ну, раз так, то дадим поощрительную — и назвал цену. Я подсказал: за дебют. Рейн небрежно-скромно под конец признался:

— У Рыжего есть стихи обо мне.

Без ложной скромности признаться должен и я: кандидатуру Амелина годом раньше, в 1998-м, тоже выдвинул я, и он выиграл.

Максим Амелин:

Сойдёшь на нет, истаешь вот-вот, —
благой не приносящие плод
пускай не расклеятся почки,
поскольку ты — смоковница та,
которую проклял ещё до Христа
Овидий в раздвоенной строчке.

Изощренная ритмика Амелина звучит особо, но все равно не выводит его из клуба общих с Рыжим интересов, именно тогда распространенных в пространстве нового русского стихотворства. Борис написал в мае 1996-го «К Овидию»:

Овидий, я как ты, но чуточку сложней
судьба моя. Твоя и горше и страшней.
Волнения твои мне с детских лет знакомы.
Мой горловой Урал едва ль похож на Томы...

Это надо отметить — общий у Рыжего с Амелиным интерес ко второму ряду русской классики. На Дениса Давыдова или Николая Огарёва Рыжего у Амелина найдутся свои любимцы:

Александрийскою стопой неторопливой
особенно теперь не разбежишься, нет,
за Сумароковым с победною оливой
и славы с лаврами Хераскову вослед.

Таким образом, Амелин вошел — в соответствии с Положением премии — в жюри–99. Между Амелиным и Рыжим чуть позже полыхнул конфликт, Рыжий вывел соперника в карикатурном виде на страницах своего «Роттердамского дневника» (2000), но это ведь поэты, они так живут, и надменная улыбка украшает их уста при встрече и без встречи.

Вряд ли дело только в стилистических разногласиях. Дело пахнет соперничеством как таковым. Нашла коса на камень. Начал Амелин. Обиженный ответ — за Рыжим. По правилам премии диплом победителя должен был вручить предшествующий лауреат, то есть Амелин. Он отказался, это сделал Рейн. Борис произнес речь:

Владислав Ходасевич как-то заметил, что поэт должен слушать музыку времени, нравится она ему или нет. Это и есть ангельское пение, только в разные времена ангелы поют разными голосами. Это пение суть оправдание человеческой жизни, какой бы ни была эта жизнь с точки зрения судей, которые, как сказал великий философ Лев Шестов, для поэта всегда выполняют роль подсудимых. Поэт стоит не на стороне справедливости, а на стороне жалости — не сострадания, но высокого сожаления, объяснить которое, выразить можно только стихотворением. Именно поэтому, именно потому, что поэт несправедлив, нелогичен в своих привязанностях, верен музыке, слову (слово, кстати сказать, которое обыватель вряд ли считает достойным своих ушей, может быть действительно бранным — именно поэтому поэт «всюду неуместен, как ребенок»). Взрослые судьи не знают, что делать с этим ребенком, — гнать его за Урал или, наоборот, привозить с Урала? В деловой беседе с моим издателем Геннадием Комаровым, между прочим, я похвастался, что попал в короткий список Антибукера, на что мой собеседник, выдержав паузу, изрек: лучше попасть в короткий список Антибукера, чем на рудники Колымы. Я с ним полностью согласился. Я благодарю замечательного поэта и зав. отделом поэзии журнала «Знамя» Ольгу Ермолаеву, которая опубликовала мои стихи (к слову, эта подборка пролежала около года в одном уважаемом питерском журнале). Я искренне благодарен жюри премии Антибукер за то, что меня так или иначе прочли и оценили, в том числе и бесконечно уважаемые мною люди. Я благодарен Антибукеру вообще за финансовую и моральную поддержку, чего мне порою так не хватает. Спасибо!

(«Независимая газета», 25 января 2000 года)

На следующий год Антибукер достался Бахыту Кенжееву, и это не вызвало радости у Бориса. Он оказался зажат с двух сторон полноценными лауреатами. Чему радоваться? Он злился на обоих. Так жили поэты.

Значительней другое: недавнюю петицию о присвоении имени Рыжего улице на Вторчермете — см. выше — одним из первых подписал Максим Амелин.

Вручение премии происходило в шикарном ресторане «Серебряный век», шикарном тем более, что это — грандиозные бывшие бани. Белокаменные стены и овальные своды были многоцветно расписаны наядами и прочей обнаженкой квазиантичного образца. Вакханки били в тимпаны, камены парились.

Это называлось *литературный обед*. Собиралось ослепительное множество гостей, включая очень важных: чету Горбачевых в частности. Это при Михаиле Сергеевиче и Раисе Максимовне великая хулиганка Мария Розанова закончила свой тост дифирамбическим восклицанием:

— Заебукер!

Итак, 20 декабря 1999 года мы вынесли свое решение, а через день «Независимая газета» вышла с материалами, посвященными Антибукеру.

ВЧЕРА, 21 декабря, стали известны имена лауреатов независимой литературной премии Антибукер. По традиции объявление результатов приурочено ко дню рождения «Независимой газеты» (на сей раз — в девятую годовщину со дня рождения). По традиции же объявление имен лауреатов и пресс-конференция членов Антибукеровского жюри проходили в Парадном зале Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Пресс-конференцию открыл главный редактор «НГ», он же — председатель всех пяти жюри (без права голоса). Пятилетний юбилей премии, по словам Третьякова, будет отмечен 21 января будущего года если и не празднеством, то непременными торжествами.

...От поэтического жюри слово взял Илья Фаликов. Он поведал собравшимся, что единодушия в жюри не было. Но решение было принято такое: премию «Незнакомка» в этом году не присуждать, а выдать неполномасштабную поощрительную премию с формулировкой «За дебют» екатеринбургскому поэту Борису Рыжему.

Илья Фаликов вспомнил о «высоких традициях», важных для прежних лауреатов «Незнакомки»: если для Максима Амелина, к примеру, важен опыт Хвостова, то для Рыжего таким авторитетом является Денис Давыдов.

Далее идет мой материал, в будущей книге «Прозапростихи» (М.: Новый ключ, 2000) напечатанный под заголовком «...with love».

БОРИС РЫЖИЙ озаглавил свою подборку в «Знамени», № 4 при помощи латиницы: From Sverdlovsk with love. Думаю, это произошло не оттого, что он в свое время «за чтением зренье садил / да коверкал язык иностранным». Дело в последнем слове. Love, господа. Он нас любит. Можно ли все это сказать по-русски? Можно. Однако это несколько не в жанре. Не в том жанре. Кроме того, мы имеем дело с поэтом, который представляет поколение после Бродского («Ниоткуда с любовью...»). Он не из ниоткуда. У него есть место, которое по-русски им обозначено как «сказочный Свердловск». Таким образом, Sverdlovsk — место достаточно условное, принадлежащее географии сугубо поэтической.

Тем не менее там, в том месте, люди живут совершенно реально — жестоко и кровопролитно. И мы, которых поэт любит, не должны слишком обольщаться на свой счет: при ближайшем рассмотрении этот Рыжий (псевдоним?) больше, чем нас, любит тех, о ком он пишет. По существу, он приходит к нам с любовью к ним. Это те его кенты, которые теперь лежат на безымянном кладбище: «Они споткнулись с медью в черепах / как первые солдаты перестройки». Уголовная романтика чуть не ногой открыла дверь стиха, Робин Гуд запел, и его песня оказалась поминальным плачем. Мы слышим голос тех, кто грабит нас и убивает друг друга. Информация идет из первых рук. Отрабатывается пословица из Даля: «Рыжий да красный, человек опасный». Про

себя говорится: «Земная шваль — бандиты и поэты». Их музы-подружки тоже гибнут. «Эля, ты стала облаком / или ты им не стала?».

Лихому человеку с Урала 25 лет, и он закончил Горную академию по специальности «ядерная геофизика и геоэкология». Так что — маска? Неправдашний молодой волк? Попробуйте не поверить, когда вам говорят с неподдельным пафосом: «Чем оправдывается все это? / Тем, что завтра на смертный бой / выйдем трезвые до рассвета, / не вернется никто домой». Sverdlovsk пахнет если не Сталинградом, то Афганом или Чечнёй. Почти Багрицкий: «Нас водила молодость...»

Впрочем, Рыжий предпочитает других учителей: «Денис Давыдов. Батюшков смешной. / Некрасов желчный. Вяземский усталый». Заострив внимание на первом имени в этом ряду, вполне поймем следующую информацию: «И назло моим учителям / очень разухабистую песню / сочиню». Или — еще конкретнее: «Пойду в общагу ПТУ, / гусар, повеса из повес». На память приходит Ярослав Смеляков: «Раз вы Пушкина учитель, — / значит, вы учитель мой».

Кстати говоря, старшие современные поэты — в качестве учителей — отчетливо слышны у Рыжего, в частности Высоцкий, ранний Шкляревский.

На дне его лихих, скоростных, буйных стихов — интонация глубоко правдивой печали. В ее чистоте — его недемонстративный суд над собой. «Судья, вы забыли о смерти, / что смотрит вам через плечо», — напоминает он некоему оппоненту.

«Трансазиатский поэт», он адекватно самоопределяется: «Я мало-мало стал поэтом, / конечно, злым, конечно, бедным». Он все знает про себя, хотя: «Я сам не знаю то, что знает память». Его формулировки безошибочны. Придумав героя, он объясняется так: «Я придумал его, потому / что поэту не в кайф без героя».

Это дебют. Дебют по сути, а не по арифметике выступлений. Поэт говорит: я пришел.

Борис Рыжий — полнозвучное и убедительное сообщение о тех, кого мы еще не знаем. Авторский образ, им созданный, оправдан необходимостью в этом знании. Его дебютное мастерство покоряет. Стремительность, яркость и точность его стиха в результате дают надежду на то, что в реальной географии — в большой стране Россия — существует немало реальных градов и весей, еще не убивших своих поэтов. Территория стиха не убывает — постоянно расширяется. Между прочим, Борис Рыжий, помимо прочего, пишет еще и очерки о названиях и пространствах России (ошибка: очерков не было. — *И.Ф., 2014*).

Sverdlovsk — условность. Рыжий — возможно, кликуха. Борис Рыжий — поэт, и он настоящий.

Это был, очевидно, первый во всероссийской печати отклик на его возникновение.

Вскоре у Бориса вышла книжка «И всё такое...». К ее выходу мы с ним успели познакомиться, встретиться и поговорить — очно и по телефону. Его приход ко мне домой датирован надписью на этой книжке: «Илье Фаликову — с глубочайшим уважением. Б.Рыжий. 11. 2000». Он был русоволос и казался высоким.

Часть седьмая

В один из бурных дней Международного конгресса в Питере, в перерыве большого поэтического вечера, к Борису подошел Геннадий Комаров, издатель серии «Пушкинский фонд». Это был второй подарок судьбы на июньских берегах Невы тех дней: первым было знакомство с Сергеем Гандлевским.

Комаров пригласил Бориса издаться книжкой в его поэтической серии «Автограф». О большем и мечтать нельзя было, тем более что незадолго до того Борис уже кому-то из екатеринбургских собратьев розыгрышно привирал о таком варианте. Приглашение Комарова привело его в состояние растерянности. Он вдруг ощутил, что стихов — настоящих и больших — у него мало. Есть, конечно, но — мало. Наступили мучения отбора. Это всегда пересмотр всей своей жизни, а не только качества стихов.

Книжка вышла весной 2000 года и получилась тоненькой: 56 страничек.

Была ли она равна ему? Трудно сказать. Он мог быть по достоинству оценен

только теми, кто уже услышал и принял его. Но бесспорно одно — там не было ничего лишнего.

Вошел ли этой книгой в русскую поэзию новый большой поэт? Пожалуй, да. Но оставались вопросы. Он это чувствовал.

На книгу Рыжего «И всё такое...» отозвалась Евгения Изварина стихотворением, полным тяжелых предчувствий:

валяй вправляй эпохам раз над прахом
лежит земля само собою пухом
но чтоб ни сесть ни встать живи с размахом
а после ляг прочтут единым духом
переведут пойми что не воюют
где сны свинцовой пылью тяжелеют
да пусть хоть в бога душу размалюют
смешно надеяться что пожалеют

Борис давал повод к опасениям близких беспрерывно — в быту, в стихе. Еще до выхода книги думая о ее названии, он рассматривал и такое: «Арестант». За него боялись.

Книжкой своей он и обескуражен, и обрадован одновременно, однако ждет похвал, прессы, разговоров о себе (рецензию В.Шубинского в журнале «Новая русская книга» не принимает, отзыв М.Окуня в журнале «Питербook плюс» высоко ценит), раздаривает книжку широким жестом и с великодушно-звездными надписями типа: «Ирине Трубецкой с бесконечной нежностью от Бориса. Б.Рыжий 15.5.2000». На этом экземпляре дает — не без рисовки, но безусловно искренно — автокомментарий к некоторым стихотворениям:

«Над саквояжем в чёрном парке...» — *Сочинено с глубокого похмелья...*

«Что махновцы, вошли красиво...» — *Сочинено ради славы*

«В безответственные семнадцать...» — *Написано под влиянием Б.А. Слуцкого*

«Две сотни счётчик намотает...» — *Блок А.А.*

«Приобретут всеевропейский лоск...» — *Ради славы!*

«Когда менты мне репу расшибут...» — *Полное говно!*

«Не забухал, а первый раз напился...» — *На троечку!*

И так далее. Но кое-что ему нравилось все-таки.

«Включили новое кино...» — *Лучшее вообще!*

Александр Блок о некоторых своих стихах задним числом отзывался брезгливо: *декадентщина.* Он ясно сознавал губительность яда, пропитавшего эстетику (не говоря о другом) его времени. Вокзальная шлюха, по вдохновенному недоразумению ставшая Незнакомкой, завоевала массы. Ее товарки по работе на Невском проспекте представлялись Незнакомками. «Сочинено с глубокого похмелья». Кто бы мог подумать, что убийственная красота распада исподволь пронижет русского мальчика из уральской глубинки, завершив тот век, который она начала? Откуда мог знать Борис Петрович Рыжий, нараспев читая сыну латинскую медь Брюсова, что в сердце ребенка втекает струя страшной отравы? Мы недооцениваем могущества символизма.

Так или иначе, 1999 год стал поворотным.

В Москве и Питере никто толком не знал о послеантибукеровских метаниях Бориса.

В журнале «Арион» (2001, №4) я напечатал статью «Повседневность», где сведены четыре поэта — Лев Лосев, Бахыт Кенжеев, Вера Павлова и Борис Рыжий.

...Поколенческая арифметика, как и вообще все числовые действия применительно к поэзии — штука условная и совершенно ненадежная в качестве какой-то

точки отсчета (это не выпад против подсчетов А.Белого или М.Гаспарова: там другое). Тем не менее, пробежав по книжкам Лосева, Кенжеева и Павловой, могу сейчас напомнить забытый стих Луговского: «три поколенья культуры и три поколенья тоски». Современная поэзия протекает в параметрах трех поколений. Но явилось четвертое. Учитывая некоторую сакральность этого числа после мандельштамовской нумерации своей прозы, прибегну к попытке термина: *четвертое поколение.*

У Бориса Рыжего, в его мире, фигурально говоря, Есенин наконец-то ответил взаимностью Мандельштаму: антиподы сошлись. Естественная функция внуков-правнуков. Но Есенин (как, впрочем, и Мандельштам) Рыжего больше мифоповеденческий, нежели стиховой. По стиху, по складу речи («говор свердловский») Рыжий идет за Есениным лишь в романсе («Море»), и то это романс городской или блатной, а не есенинский. Автогерой Рыжего не от сохи и не от станка, его случай — заводской двор, Вторчермет и женская общага для интимных визитов. Здесь больше Смелякова, чем Есенина. Но, «придумав» своего героя, Рыжий действует в атмосфере не «Бродячей собаки», а «Стойла Пегаса», который Есенин закрыл как тему. Рыжий ее опять открыл.

Само по себе это не хорошо и не плохо. Он многое в самом себе называет актерством, и это нормально. Заводской двор его начальной поры у него стыкуется с абсолютно закрытой от двора жизнью: дом, в котором происходят разговоры с отцом, после которых он идет читать «какого-нибудь Кафку» и шпарить стихи «под Бродского», у которых находится как минимум одна поклонница. Персонаж внутренне дробится, но «к буйству и пьянству / твёрдой рукою себя приучает». Это похоже на трезвый выбор, но кажется стихийной неизбежностью, потому что Рыжий органичен.

Книжка Рыжего («И все такое...») небольшая, и по ней нетрудно пройти в поисках его поэтической ономастики. Действительно, кого он счел необходимым упомянуть в стихах? Слуцкий, Штейнберг, Денис Давыдов, Батюшков, Некрасов, Вяземский, Ариосто, Дант, Оден, Мандельштам, Кафка, Бродский... Плюс друзья поэты, не говоря о школьных и уличных кентах. Перечень имен достаточно репрезентативен. С их помощью он нацелен «писать с натуры», и у него — получается, поскольку ему дано врожденное чувство формы. Это чувство сочетается с природным даром лаконизма. Каждое стихотворение вовремя начато и вовремя закончено, порой — оборвано. Рыжему проще проглотить слова, чем нагородить лишнего.

Включили новое кино,
и началась иная пьянка,
но всё равно, но всё равно
то там, то здесь звучит «таганка».

Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя —
я твой навеки арестант
и всё такое, всё такое.

Такая песня о Родине. Он ее не называет, обращаясь к ней. Датировано 96-м годом: автору двадцать с небольшим. Но, вообще говоря, это редкий, если не единственный пример намека, или той недоговоренности, которая похожа на намек, у Рыжего: в целом это на редкость отчетливый мир. В нынешнем разливе лжесуггестивности Рыжий покоряет почти лобовой прямотой: я — такой, жизнь моя — такая, песня моя рождена вот тут и ее слушатели — вот эти люди. Он не стесняется хтонического патриотизма, извлекая из него свою поэтическую выгоду: Свердловск и вообще Урал в этих стихах озарены двуединым светом любви-ненависти. К заводскому двору подключены то лесопилка, то приисковый поселок, в пейзаж попадают лесовоз, трактор, драга и почему-то паровоз... «Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей / и обеими руками обнимал моих друзей...» Если допустить, что «Уфалей» — рассчитанный экзотизм, то вот это «обеими руками» — поэзия в чистом виде, без тени подделки: совершенное сочетание речевого жеста с движением души. Последующие пиитизмы («Можно лечь на синий воздух ...» и т. д.) остраняются без натуги, «говор свердловский» не воспроизводится, а производится на глазах: «"Приму" ехала курила вся свердловская шпана».

У него нет промахов в эпитетах. «Прожекторы ночного дискоклуба / гуляли по з е л ё н ы м облакам», «К р у г л о г о л о в ы е китайцы / тащили мимо барахло» *etc.* Это эпитеты не в плане мандельштамовской экспрессивности с установкой на неожиданность («к р у п н о з е р н и с т о г о покоя и добра») — обычные прилагательные, отвечающие натуре, с которой все это пишется. Забавно звучащее «в Париже з н о й н о м» — тоже правда, потому что Париж — он такой для «трансазиатского поэта». Между прочим, сам словарь Рыжего, при всем обилии уличной фени, в основе своей, как ни парадоксально, целомудрен. Барков не его учитель.

Обыкновенное дело для поэта — готовность к гибели. А все же она пугает. Потому что у Рыжего ею пронизаны все стихи. Он изначально заряжен на мгновенность, вспышечность, метеоритность судьбы. Ибо он ворвался в тот образ мира, где образ поэта состоит из отваги и бесшабашности. «Я читал ей о жизни поэта, / чётко к смерти поэта клоня». Хулиганский имморализм подпитан потерей детских ценностей, почерпнутых во многом из старого советского кино и вообще той жизни и того искусства, где мы побеждаем фашистов и Гагарин махнул рукой. Остались «сиротство, жалость, тоска».

Эта установка на мгновенность может опасно оправдаться в сугубо поэтическом плане: мало ли ярких дарований сгорело за одну секунду? Во многом Рыжий хорош тем, что присуще молодости, которая проходит. Но ему может пригодиться в дальнейшем то же самое, что сейчас его разносит: живая боль, ненависть к себе и даже жажда любви к себе. Важен и вектор самого движения: не урезание — для вящей оригинальности — стиховой площади литучебы, но та самая попытка сплава антиподов в единой любви к ним. Не исключено, что это общий вектор четвертого поколения. Мне кажется, частный интерес Рыжего к таким фигурам нынешнего беспамятства, как Слуцкий и Луговской, может дать свой результат.

Я далек от мысли отнести Рыжего к есенинской епархии. Все сложнее, как и давние взаимоотношения Есенина с Мандельштамом. Интересней другое. В «Записных книжках» Ахматовой читаем (запись от 18 февраля 1966 года): «Вчера по радио слышу стихи с музыкой. Очень архаично, славянизмы, высокий строй. Кто это? Державин? Батюшков? Нет, через минуту выясняется, что это просто Есенин. Это меня немного смутило. К Есенину я всегда относилась довольно прохладно. В чем же дело? — Неужели то, что мы сейчас слышим и читаем, настолько хуже, что Есенин кажется высоким поэтом? А то, что мы слышим и читаем, сделано часто щегольски, всегда умело, но с неизбежным привкусом какого-то маргаринно-сахаринного сюсюка. Это неизбежная часть программы».

В этом соль и в этом дело, в конце концов.

Ахматова судит о Есенине без учета музыки Свиридова (скорей всего это была его поэма «Памяти Сергея Есенина»), здесь другая гамма эмоций — от удивления до сердитости. Но больше всего поражает в семидесятипятилетнем человеке ген самообновления.

Весь мой этот разговор прошел на фоне Ахматовой неслучайно. Нет спора, первоимпульс и главный хранитель ахматовского мифа — она сама. Но речь несколько о другом. О личности. Эта личность явила бесподобный образец выживаемости поэта в экстремальных условиях без потери поэтической сущности. Та четверка поэтов, на которых мы тут бегло посмотрели, идет той же дорогой. Не след в след, но путь един.

Неизбежное дополнение

Я жил за границей, когда стряслась беда с Борисом Рыжим. Ко мне прилетела жена. Мы с Натальей сидели вдвоем в мансарде за скромно-праздничным столом, когда она сказала: «Приготовься к очень плохому. Я должна тебе это сказать. Повесился Борис Рыжий».

Борис звонил мне накануне моего отлета, когда мы с Рейном, заглянувшим ко мне, ушли гулять по Москве. Он повис в воздухе в момент моего взлета на Дюссельдорф. Нет конца моей вине, я в чем-то виноват, не знаю в чем, — может быть, в том, что я был причастен к его гибельному взлету, тогда похожему на успех: я говорю о премии Антибукер, которой его отметили в качестве поощрения, за дебют 99-го года. Сейчас незачем умалчивать: да, это я выдвинул его, найдя в «знаменской» подборке совершенно не известного мне автора нечто большее, чем стихописание, то самое, что нынче так страшно получило свою окончательную форму. Что-то меня связывало с ним помимо стихов. Может быть, родство натур, мною различаемое, ему неизвестное по разнице в возрасте. Может быть, провинциальное происхождение. В любом случае — в его стихах и над стихами дул свежий ветер с востока в сторону столицы, в сторону большой судьбы, ветер, воющий по ночам среди мрачно-серых кварталов огромного промышленно-бандитского города. Его появление на вручении премии вызвало переполох. Внешне он оказался эдаким хулиганизированным Блоком со шрамом на скуле. В ресторан «Серебряный век» он явился уже на взводе, музыкантам струнного квартета, играющим что-то классическое, бросил: «Сбацайте Моцарта!», шарахался без привязи под аляповато расписанными сводами бывшей бани, долго сидел за моим столиком, за столиком Рейна, успел задрать Максима Амелина, еще кого-то, на прощанье влепил в уста страстный поцелуй моей жене, что совершенно потрясло молодых ребят из «Независимой газеты», и, отдав ей свой наградной букет роз, исчез в ночи. Накануне получения награды он провел ночь у Гандлевского, никакого эпатажа, по-видимому, не явил, если судить по тому, что Гандлевский позже

очень тепло отметил его очередную публикацию в «Знамени». Он стал звонить мне из Екатеринбурга. Это были звонки по поводу и без повода. Поводом были, скажем, мои какие-то публикации. Для него было откровением то, что нынче стало попросту хорошо забытым старым. Я говорю о некоторых свойствах стиха и именах позавчерашней эпохи — Слуцкий, Луговской. Его звонки можно было бы счесть лестью и расчетом, но в трубке звучал живой, взволнованный голос юноши, ищущего старших. Ему недоставало живых, материализованных учителей, он честно говорил о полном незнании той эпохи, в которой задержался я. Потом он приехал в Москву, зашел ко мне, принес эквадорскую розу без шипов Наташе, и эта роза у нас осталась по сей день. К той поре уже вышла его книжка в «Пушкинском фонде», он надписал ее нам. Книжка получилась тоненькая, он был не уверен в ней и затем, уехав, звонил в жажде нашего впечатления о ней. Во время гостевания у меня он был трезв, говорил, что совсем завязал, но вчерашним по крайней мере пивком от него попахивало. Я надписал ему свою книжку «Прозапростихи», наутро он, еще будучи в Москве, позвонил: прочел за ночь. Между прочим, сетуя на свое екатеринбургское одиночество, он пылко и щедро хвалил своих нескольких тамошних друзей-поэтов, и, потом прочитав некоторых из них, я убедился в его правоте: там есть хорошие ребята. Как-то, в одном из телефонных разговоров, он просил совета относительно издания предлагаемой ему «Пушкинским фондом» новой книжки: надо ли издаваться? Бери, пока дают. Таков был мой совет. Я обращался к нему на «вы», дистанции не сокращал, а мог бы: что-то вроде сыновства он сам предлагал мне. О его книжке я отозвался по телефону скуповато-сдержанно, о чем тогда же пожалел, и произнес нечто маловразумительное насчет моего отклика на нее. В самом конце апреля я сдал в «Арион» статью о четырех современных поэтах, в том числе о нем. В начале мая, в один день, мы оба взлетели. Я — в Германию, он — туда, откуда нет возврата. Его последний звонок мог быть просьбой о совете, стал неразделенным прощаньем. Знаю, чему быть, того не миновать. Если в тебе заложена эта программа, она будет осуществлена. Знаю. ***И чем я виноват, чем виноват?***[1] Чем-то. Как всегда, говоря об ушедшем, больше говоришь о себе, чем о нем, прости меня, Боря.

Хочу подчеркнуть, постскриптум «Неизбежное дополнение» написан и напечатан тогда же — как незапланированный финал статьи «Повседневность».

Вернувшись из Европ, я сидел на Чистопрудном бульваре. Был чистый понедельник, начало Великого поста. На пруду еще стоял серый потресканный лед, в ресторане «Белый лебедь» позвякивала посуда в унисон ползущему трамваю. Набормотались стихи.

Понедельник. Чистые пруды.
Надо бы заканчивать труды
из числа молитвенных. Не стоит
требовать питья, просить еды
у звезды — не кормит и не поит.

В трещинах небесный потолок.
Гаснет — дым пространство заволок —
голос твой, а фактор отголоска
неправдоподобен и далёк,
как звонок из города Свердловска.

Воздух глух, на сердце много ран,
сердце — дар весны, его украли,
и кричит на пруд по вечерам
Белый лебедь — то ли ресторан,
то ли зона где-то на Урале.

Обзвонит трамвайное кольцо
спящих сов. На красное крыльцо
выйдет колокольная столица.
У неё землистое лицо.
Звон стоит, и спящему не спится.

Странничек с дремучей бородой
на скамейке дрыхнет день-деньской.
Он вчера вернулся из Парижей.
Спит, не дрогнув. Злой и молодой.
Это ты звонишь мне, Боря Рыжий?

[1] Арсений Тарковский.

Часть восьмая

В 2002 году 29 ноября я записал в дневнике:

Кейс Верхейл, человек из Амстердама, — славист, романист, ему 62, ровесник Бродского, с которым подружился, когда в 67-м стажировался тут в МГУ в аспирантуре, писал диссертацию по Ахматовой, заезжал в Питер. На Рыжего его вывел Кирилл Кобрин. В 2000-м зачем-то, сам не знает зачем, отправился в Екатеринбург, где познакомился с Борисом, и тот произвел на него впечатление, равное впечатлению от Бродского. Разило поэтом. Потом у них завязалась переписка. Сейчас готовит его книгу там у себя. По-русски говорит хорошо, все понимает, внешне — достаточно стройный джентльмен, седоватый, типичный профессор-европеец. У меня натоплено, он снял шарфик из-под рубашки, положил рядом с собой на тахте, раскраснелся, отвалился на подушку, которую принесла Наталья. Любит говорить сам, но и слушает охотно. Интересовался антибукеровским сюжетом и тем, как теперь воспринимает Москва Бориса.

Кирилл Кобрин в свое время, будучи во главе альманаха «Urbi», одним из первых в Питере — вместе с Пуриным — заметил и оценил Рыжего, напечатал его в альманахе и собственное впечатление о нем перенес чуть не на всю литобщественность в известных «Письмах в Кейптаун о русской поэзии»:

Столичной литературной публике очень понравился этот «новый Есенин». Рыжему дали поощрительный вариант одной из литературных премий за (действительно удачную) стихотворную подборку в «Знамени». О нем переговариваются в Интернете. Одного боюсь. Помнишь, Петя (адресат Кобрина. — *И.Ф.*), фотографию прилизанного пейзанина в смазных сапогах, в косоворотке, с гармошкой в руках? Подпись «Сергей Есенин в салоне Мережковских. 1915 год»? Был бы я знаком с Рыжим, сказал бы ему: «Избегай, Боря, смазных сапог! Опасайся косоворотки! Не дай Бог, Мережковские прибьют тальянку к твоим рукам!»

Стихи — опасная штука для русского человека, Петя. Борис Рыжий не смог отмахнуться от назойливой есенинщины...

Ничего подобного. Ни «нового Есенина», ни ажиотажа, ни даже сочувственного внимания явление Рыжего в Москве на первых порах не вызвало. Ровно наоборот — литтусовка не приняла парня не из нашего города. Его приняли за бухого бузотера-выскочку из глухой дыры. Молодые конкуренты негодовали, мастера осторожно присматривались. Считанные единицы больше почуяли, чем осознали: *пришел.*

Намного точнее Кобрин в общей характеристике Рыжего:

Рыжий — поэт именно легкий, попытавшийся сплавить традиционную напевность (которую он и принял за «одну только музыку», хотя это была даже не кузминская «музычка», — помнишь, Петя, «у нас не музыка, а только музычка, но в ней есть свой яд»?) с юношеской романтикой уркаганских пролетарских пригородов. Он попытался спеть свой родной Екатеринбург чуть ли не по-фетовски. Хронологически последние поэты, которые вошли в состав его крови, — советские романтики от Багрицкого до Луговского и Слуцкого. И Рейн, конечно. Ему надо было родиться совсем в другую эпоху, в четырнадцать лет зачитываться Брюсовым и выписывать единственный экземпляр «Весов» в своем губернском центре, в семнадцатом — ходить по улицам города с большим красным бантом, повоевать с белыми где-нибудь в Средней Азии, пожить в двадцать первом в «Диске», ходить к Гумилеву в студию, нюхать нэповский кокаин с Вагиновым. Дальше не знаю. Впрочем:

Боже мой, не бросай мою душу во зле, —
я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары...

Он будто и сны видел того самого юноши — из двадцатых, и сны эти прорывались иногда на бумагу:

Что махновцы, вошли красиво
В незатейливый город N.
По трактирам хлебали пиво
Да актёрок несли со сцен.

Чем оправдывалось всё это?
Тем оправдывалось, что есть
За душой полтора сонета,
Сумасшедшинка, искра, спесь.

Обыватели, эпигоны,
Марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
Револьверы из фанеры.
.....
Вы — стоящие на балконе
Жизни — умники, дураки.
Мы — восхода на алом фоне
Исчезающие полки.

Две последние строчки я так себе и представляю — как последний кадр «Неуловимых мстителей». Черные силуэты всадников на алом фоне огромного солнца.

Повторю за Кобриным: «Дальше не знаю. Впрочем...» Впрочем: Рыжий родился — когда надо. Его лирика совершенно соответствует времени своего звучания. Его ревромантизм мог появиться только в это время, и никакие другие эпохи с их красным бантом или нэповским кокаином не порождали поэтов, не имеющих никаких надежд на триумф неуловимых мстителей.

Это отражение отражения, верность эстетике предшественников, а не истории как таковой. В кинозале сидит зритель, который знает, что кино есть кино и что у кин*а* есть свои законы.

...Существует список «лучших русских поэтов», в двухтысячном году сделанный его рукой, со знаком плюс (+) или без оного:

+ Рейн
+ Гандлевский
+ Гандельсман
+ Денис Новиков
Иван Жданов
+ Кушнер
Пурин
Пригов
Кибиров
+ Ерёменко
+ Уфлянд
+ Лосев
+ Ерёмин
Елена Шварц
+ Кублановский
+ Чухонцев
Парщиков
+Леонтьев

Нестройный столбец, странноватый для Бориса. Похоже на воспроизведение какого-то разговора: словно с кем-то поговорил и резюмировал, сведя воедино свое и чье-то суждения. Кое-кто кажется здесь случайным, мотивированным лишь настроением и желанием вырваться из круга.

Юрий Казарин, первый биограф Рыжего, полагает, что Борис перечислил эти имена в размышлении, кого печатать у себя в журнале «Урал». Похоже на то. Ну, скажем, у Пригова он взял словцо «милицанер», но ведь не больше того. Или все проще. Зафиксировано тогдашнее статус-кво, плавающее мнение литобщественности. Тогда почему здесь нет, например, Веры Павловой, которую он высоко ценил и навещал в Москве? Ей дали в том году премию его любимого Аполлона Григорьева, не фунт изюма.

Но он все равно бился в кругу. Вкусы его бродили.

...До Рыжего — можно сказать, накануне Рыжего — шумней всех новых поэтов на Урале был Роман Тягунов. У него не было книг, и вообще он был неясно кто, по собственному слову:

Я — татарин. Мать моя казашка,
Сын мой не походит на меня.

Этнически он был действительно, кажется, татарин, но это — метафора. Типа мальчик-еврей. В его скуластом лице проглядывал потомок Кучума (в юности, впрочем, довольно смазливый), и сам язык его стихов носил след первоусвоения русской поэзии со спотыканьями и взлетами, помесью бормотанья и велеречивости, гуннского налета на европейскую цивилизацию:

В библиотеку имени меня
Записывают только сумасшедших.
Они горды своим несовершенством:
Читая снизу вверх и против шерсти,
Жгут мои книги, греясь у огня
Библиотеки имени меня.

Это звучало как нонсенс: «Жгут мои книги». Какие книги? Их не было. Но весь молодой Екатеринбург знал эти стихи и ходил в библиотеку, которой не было, как не было и самого Тягунова: он постоянно исчезал, неизвестно где жил (при том у него был дом, и подруга вроде жены была у него), неведомо чем жил, на что ел и пил, слугой каких господ был и каких господ водил за нос.

Именно он, сам не имея определенных социально-опознавательных знаков, занимался имиджмейкерством людей, торопящихся во власть и в бизнес.

Делал он это изумительно ловко. Вот был человек по фамилии Страхов, он дрался за губернаторство, Тягунов предложил ему предвыборный слоган: «Голосуй не за страх, а за совесть», Страхов опасливо отказался, Тягунов переправил свой продукт сопернику Страхова — сообразительному Росселю, и тот с удовольствием воспользовался впечатляющей фразой.

Он мистифицировал всех, с кем общался. Нередко — по инерции, без корысти, из любви к искусству. Однажды в ночи Тягунов принес приятелю, незадачливому поэту Z, десять фраков, якобы похищенных в проезжем театре, и якобы загнал их чуть позже бритоголовой братве бизнес-клуба «Глобус», обожающей решпект. Точно так же он припер ночью тому же Z несколько автомобильных шин, тоже якобы ворованных, и якобы пустил их в оборот по дешевке и по-быстрому на известной ему «точке». Было и ночное появление с большой партией якобы стыренной анаши, это уже окончательно пахло уголовщиной, но Роман справился: якобы спустил ее по демпинговой цене где-то в подворотне. По ходу этих дел он еще и увлекся возлюбленной Z.

В этих эпизодах неизвестно, действительно ли были фраки и шины ворованные, продал ли он фраки братве, была ли в пакетах анаша. Все было якобы. Тягунов любил пустить пыль в глаза, выглядеть крутым. Проверить было невозможно. Много позже он носил на лацкане орден «за Анголу», хотя ни к какой Анголе отношения не имел. Борис это зафиксировал:

Бритвочкой на зеркальце гашиш
отрезая, что-то говоришь,
весь под ноль
стриженный, что времени в обрез,
надо жить, и не снимает стресс
алкоголь.
.....
Чьи-то ледяные голоса.
В зеркальце блестят твои глаза
с синевой.
Орден за Анголу на груди,
ты ушёл, бери и выходи
за тобой.

Борис говорил в интервью «Областной газете» в декабре 1999 года:

Роман Тягунов — замечательный поэт, и «перед ним я ползаю на брюхе», как Бродский, который говорил, что «ползает на брюхе» перед Державиным. Я очень люблю Романа Тягунова.

Бывало, на вечерах поэзии Борис читал стихи Тягунова вместо своих или вместе со своими. Так было 10 сентября 1999 года на презентации альманаха «Дорогой огород», куда Борис не хотел идти, но пришел-таки: сам Роман отсутствовал, блуждая в неведомом пространстве.

Таков был Тягунов, так он относился к жизни и смерти, так возник проект «Мрамор». Свидетельствует Дозморов:

Премию «Мрамор» придумал Роман. Несколько его друзей-наркоманов работали в фирме, занимавшейся изготовлением надгробий из разных долговечных природных материалов, в том числе, если у заказчика или у родственников «клиента» был бюджет, из благородного белого мрамора. Образцы малых архитектурных форм, уже готовые заказы с выгравированными именами и датами, а также те, что были в работе, живописно лежали и стояли там и сям во дворе фирмы, терпеливо и молча ожидая владельцев. Территория фирмы в самом центре города выглядела как репетиция небольшого, но богатого сельского кладбища, что Василия Андреевича навело бы на определенные мысли, а может быть, и элегические позывы, если бы он побывал в Екатеринбурге не с будущим Александром Вторым Освободителем, а году так в 2000-м, когда разворачивались описываемые события, но даже думать об этом, конечно, безумие. Рому же этот вид навел на мысль о литературной премии в области поэзии.

Премировать победителя конкурса на лучшее стихотворение о вечности предполагалось прижизненным мраморным памятником в виде раскрытой книги с его, победителя, произведением, высеченным в камне. Имя премии было дано по названию генерального спонсора — ООО «Мрамор», памятники архитектурных форм. Но это, так сказать, только надводная часть проекта.

Подводной частью замысла было зарабатывание денег, и она-то и стала причиной закрытия премии и всего остального, хотя после пары объявлений в газетах нас завалили рукописями вожделеющие славы графоманы. Дима (Д.Рябоконь. — *И.Ф.*) подозревал Рому в перехватывании и присвоении средств, выделяемых владельцем «Мрамора» на раскрутку премии и оплату работы жюри. Мы с Борисом, хотя все было ясно как день, Диминых сомнений не рассеивали, а, напротив, всячески подогревали. Пару раз очень смешно и жестоко Диму разыграли. Но заигрывания с лысой так просто не проходят, факт.

Рома брал у «мраморщиков» деньги под премию, базару ноль. И, как выяснилось потом, после ужасной развязки, немалые. Осенью они стали требовать от Романа рекламной отдачи от премии в виде телеинтервью и статей в прессе, либо возврата вложенных средств. Одно интервью нам удалось организовать, потом дело застопорилось. Рома испугался не на шутку (фирма была с криминальным душком) и попытался повесить дела с владельцами «Мрамора» на меня. Звонит неприятный тип Антон, коммерческий директор фирмы, и, затягивая по-наркомански слова, сообщает, что Рома завтра уезжает в Тюмень работать в предвыборном штабе кандидата в губернаторы, и он, Антон, ждет от меня медиаплан на месяц. Про Тюмень Рома сочинил, чтобы сбежать от кредиторов, я это знал. Предупрежденный Димой, отвечаю, что давно, как и Рыжий, вышел из жюри премии и ничего делать не буду, поиграли и хватит, ищите Тягунова и справляйтесь у него. Про выход из жюри, кстати, — истинная правда. Через пять минут звонит Роман и обещает приехать с ржавой бритвой. Набираю тебя (обращение к Рыжему. — *И.Ф.*), смеясь, рассказываю историю, а по спине мурашки. Ты, как назло, нетрезвый в тот момент, отнесся ко всему серьезно, звонишь Роману, забиваешь с ним стрелку у Дворца спорта, это ровно посередине пути от тебя до него, и бежишь бить морду. Выглядел ты, наверное, угрожающе. Рома, по твоим словам, убежал в темноту как заяц, еще завидев тебя издали, и мы больше его никогда не видели. Через полтора месяца, рано утром 30 декабря 2000 года, Рому Тягунова нашли выброшенным (или выбросившимся) с пятого этажа дома по улице Челюскинцев, где был какой-то притон.

На похороны Тягунова Борис не пошел, плакал и писал стихи. «На смерть Р. Т.»:

Вышел месяц из тумана —
и на много лет
над могилою Романа
синий-синий свет.

Свет печальный, синий-синий,
лёгкий, неземной,
над Свердловском, над Россией,
даже надо мной.

Я свернул к тебе от скуки,
было по пути,
с папироской, руки в брюки,
говорю: прости.

Там, на ангельском допросе
всякий виноват,
за фитюли-папиросы
не сдавай ребят.

А не то, Роман, под звуки
золотой трубы
за спины закрутят руки
ангелы-жлобы.

В лица наши до рассвета
наведут огни,
отвезут туда, где это
делают они.

Так и мы уйдем с экрана, —
не молчи в ответ.
Над могилою Романа
только синий свет.

Не только. Есть еще и стихи. Они входят в состав синего света. Олег Дозморов:

Что-то не снятся ни Рома, ни Боря.
Я виноват перед вами, не спорю.
Думал, что умный, а вышел — дурак.
Круглый отличник, я удалён с поля
двоечниками, впустившими мрак

стихослагательства в кровь,
пацанами,
что поднимали стихами цунами,
что понимали друг друга не раз,
гнали волну, натолкнулись на камень
низеньких гор, тектонических масс.

Дивий Камень.

...В Екатеринбурге славился открытый дом, хозяин которого — Евгений Касимов — был поэт, редко печатавшийся. Борис опубликовал его стихотворение «Шарм-Эль-Шейх» в «Урале».

Касимов подрабатывал на радио, и у него в прямом эфире студии «Город» Борис в порядке беседы с Касимовым прочел двадцать стихотворений.

Под крышей касимовского дома перебывали все лучшие и нелучшие авторы Урала, а также гости города, исходно уральцы — Александр Ерёменко, Вячеслав Курицын, Виталий Кальпиди. Поток приходящих туда был неиссякаем и безостановочен. Безоблачно там не было, поскольку люди были разными и не всё любили одинаково. Бориса не выделяли, он был одним из.

Что он думал о себе, оставалось его личным делом. Там все много думали о себе. Кальпиди созидал некую «Уральскую школу», Курицын проводил в городе чтения имени себя, Ерёменко (собратья называли его «Ерёма») уже завоевал Москву, став избранником своего поколения — семидесятников.

Урал нельзя чисто географически счесть серединой или центром страны, но мистика Камня, Каменного пояса, существует несомненно. Ощущение порубежной доминанты не было только лишь декларацией. В этом смысле Урал 1990-х был символом стихотворства вне столиц. Были ведь и другие «школы»: Ташкентская, Владивостокская и проч. Местный колорит и некоторые особенности мышления, связанного с экзотизмом, не отменяли главного: в наших столицах и в наших губерниях была единая поэзия, трудно рождающаяся в новые времена. Имен было много, многие исчезли без следа.

Борис не уклонился от духа землячества — при всех сложностях отношений в позиции независимости и самоутверждения. На некоем фестивале бросив фразу «Ерёма — отстой, это прошлый век», стихи пишет такие («Чтение в детстве — романс»):

Окраина стройки советской,
фабричные красные трубы.
Играли в душе моей детской
Ерёменко медные трубы.

Ерёменко медные трубы
в душе моей детской звучали.
Навеки влюблённые, в клубе
мы с Ирою К. танцевали.

Мы с Ирою К. танцевали,
целуясь то в щёки, то в губы.
А душу мою разрывали
Ерёменко медные трубы.

И был я так молод, когда — то
надменно, то нежно, то грубо,
то жалобно, то виновато...
Ерёменко медные трубы!

Когда огонь, вода и медные трубы уже оказались навсегда позади, ему ответил Ерёменко («Борису Рыжему — на тот свет»):

Скажу тебе, здесь нечего ловить.
Одна вода — и не осталось рыжих.
Лишь этот ямб, простим его, когда
летит к тебе, не ведая стыда.
Как там у вас?
.....
Не слышу, Рыжий... Подойду поближе.

...Ольга Ермолаева и Ольга Славникова говорят о Лермонтове применительно к Рыжему. Были стихи-предпосылки (1997):

Ну вот, я засыпаю наконец,
уткнувшись в бок отцу, еще отец
читает: «выхожу я на дорогу».
Совсем один? Мне пять неполных лет.
Я просыпаюсь, папы рядом нет,
и тихо так, и тлеет понемногу

в окне звезда, деревья за окном,
как стражники, мой охраняют дом.
И некого бояться мне, но все же
совсем один. Как бедный тот поэт.
Как мой отец. Мне пять неполных лет.
И все мы друг на друга так похожи.

Мощная вспышка дарования и незавершенность пути ровно в том же возрасте, одна прижизненная книжка, а также рождение через — опять-таки ровно — 160 лет. При жизни Лермонтова было напечатано 42 стихотворения, ровно столько же названий — в книжке Рыжего «И всё такое...». Соблазн сравнения велик.

Сравнения хромают.

Не сравнивай — живущий несравним.
.....
Лермонтов — мучитель наш.

(Мандельштам)

В этом «мучитель» безусловно заложен и учитель.

Первое отличие Рыжего от Лермонтова — отсутствие любовной трагедии, попранной любви. Стих «Ты меня никогда не любила» — почти единственный намек на кошмар отвергнутого женщиной поэта. За намеком, может быть, и стоит некое признание, но больше это похоже на реплику в крупном разговоре двух любящих. Может быть, накануне разрыва. Это совсем не то, что сказал шестнадцатилетний Лермонтов в своем «Нищем»:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

У Рыжего схожее внутреннее событие проще и легче:

Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались на ходу, явилось мне виденье это, а через три-четыре дня — гусара, мальчика, поэта — ты, Лора, бросила меня.

Второе отличие — в этих стихах Лермонтова:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть.

О неразрывности отца и сына Рыжих говорить уже излишне. Но Борис чувствовал богооставленность, не потеряв отца. У Лермонтова совершенно по-другому:

И в небесах я вижу Бога.

Рыжий обожал слово *ангел*. На самом деле на месте ангела у него — облако:

Эля, ты стала облаком
Или ты им не стала?

У Лермонтова по небу полуночи летел ангел, и сомневаться в этом не приходится ни на минуту. Те ангелы, что у Рыжего пьют чай на кухне, — из другой оперы. Его ангелы — по преимуществу сказочные малыши с крылышками, воздушные девочки, персонажи питерского декора и даже жлобы. К небесному воинству не имеют никакого отношения. В начале — середине девяностых годов это было поветрием. От ангелов в стихах не было отбоя. А кто сказал, что Борис Рыжий не был дитятей своей поэтической эпохи?

Третье отличие состоит в том, что Борис был не слишком осведомлен в *чужих литературах*, в частности — в современной ему зарубежной поэзии. С ним не было того, о чем писал Борис Эйхенбаум в работе «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924):

Характерная для послепушкинской эпохи тяга к чужим литературам достигает у Лермонтова особенной силы: кроме Байрона мы имеем в его творчестве следы близкого знакомства с **Т. Муром, В. Скоттом, Гюго, Ламартином, Шатобрианом, А. де-Виньи, Мюссе, Барбье, Шиллером, Гейне, Мицкевичем** и т. д. Уже одно это *количество* связей свидетельствует о том, что перед нами — факт не простого «влияния», а общего тяготения к *чужим литературам* в поисках за поддержкой, за помощью. Этот факт исторически необходим, как необходимо было русским символистам искать опоры в поэзии Бодлера, Верлэна, Малларме, Новалиса, Э. По и т. д., хотя самое направление это было достаточно подготовлено русской поэзией и развивалось на основе своих собственных традиций (Вл. Соловьев, Тютчев, Фет, Полонский и т. д.).

Но это, увы, общая печаль нескольких поколений. Переводная поэзия, даже в лучшем случае, больше говорит о переводчике, чем об оригинале.

Дело, разумеется, не в подсчете отличий, а в самой структуре творчества. Борис Рыжий не писал, например, поэм (в том числе эротических), исторических баллад, альбомных мадригалов, беллетристической прозы, драм, древнерусских стилизаций в духе «Песни о купце Калашникове», непохожих на переводы переводов *etc.*

Нет, Борис Рыжий не Лермонтов, он другой.

С одной стороны — такой:

Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая через нас, со знаком качества на члене, идет купаться дядя Стас. У водоёма скинул кепку, махнул седеющей рукой: айда купаться, недотёпы, и — оп о сваю головой.

Он был водителем «камаза». Жена, обмякшая от слёз. И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колёс.

Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли и охуевали, чесали лысые башки. Такие вещи нас касались, такие песни про тюрьму на двух аккордах обрывались, что не расскажешь никому.

А если и кому расскажешь, так не поверят ни за что, и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом пальте, в чужом пальто. И, очарованный луною, окурок выплюнешь на снег и прочь отчалишь.

Будь собою, чужой, ненужный человек.

С другой стороны — такой:

Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку, марку нахожу, стекла осколок. ...Тебя нетронутой, живой, вполне реальной, весь полон музыкою той вполне печальной. И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.

И ты бледнеешь в темноте — мое созданье, то, кем я жил и кем я жив в эпохе дальней.

И всё печальнее мотив, и всё печальней.

Обе эти вещи (плюс еще одна) соединены под общим названием «Маленькие трагедии» (1999), что само по себе отсылает — к Пушкину. В некоторой мере — вызов солнцу русской поэзии. Однако именно так пролегал его тернистый маршрут, в последнее время особенно: от дяди Стаса — к мотиву, который все печальней.

...Дмитрию Рябоконю Рыжий посвятил романсовую балладу «Море», посвятил целиком, не в эпиграфе, а в самом содержании. Он написал другого. Другого, но родного.

В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатиэтажный, у дома тополь или клён стоит, ненужный и усталый, в пустое небо устремлён, стоит под тополем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконь.

Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушел, он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошел. Он захотел уехать к морю, оно — страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.

Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалося светло. И Дима тоже улыбался. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал.

Бежит и видит человека на золотом на берегу. А это я никак до моря доехать тоже не могу — уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.

Познакомились они в апреле 1992 года в редакции журнала «Урал». Пошли, несколько поэтов, в пивнушку у «Трактора» — так в городе называют конструктивистский Главпочтамт, который сверху, говорят, похож на трактор. Посидели — и все. Больше практически не виделись. Роман Тягунов на их горизонте появился позже — в 2000-м, когда шла эпопея «Мрамора».

Есть у Рябоконя вещица «Свояк»:

Тиран семьи и психопат, Валера,
На опохмелку просит четвертак.
Валера, забухав, не знает меры,
Валера, муж сестры моей, свояк.

Валера, это бывший мастер спорта,
В бассейне плавал он быстрее всех,
А нынче погибает в море спирта,
И вызывает невесёлый смех.

Вчера, нажравшись, он жену с ребенком
На улицу отправил босиком,
И не было управы на подонка,
Который размахался топором.

Из дома тащит всё, и пропивает,
И потерял уже последний стыд,
Лечиться и работать не желает,
И за сестру душа моя болит.

Рябоконь комментирует в письме ко мне:

Это мое стихотворение — было самое любимое у Бориса. См. стихотворение Б.Р. «Гриша-Поросёнок выходит во двор...» (2000).

Посмотрим:

Отцы пустынники и жёны непорочны...
А.П.

Гриша-Поросёнок выходит во двор,
в правой руке топор.
«Всех попишу, — начинает он
тихо, потом орёт: —
Падлы!» Развязно со всех сторон
обступает его народ.

Забирают топор, говорят «ну вот!»,
бьют коленом в живот.
Потом лежачего бьют.
И женщина хрипло кричит из окна:
они же его убьют.
А во дворе весна.

Белые яблони. Облака
синие. Ну, пока,
молодость, говорю, прощай.
Тусклой звездой освещай мой путь.
Всё, и помнить не обещай,
сниться не позабудь.

Не печалься и не грусти.
Если в чём виноват, прости.
Пусть вечно будет твоё лицо
освещено весной.
Плевать, если знаешь, что было со
мной, что будет со мной.

Да, связь этих стихотворений несомненна. Заметьте разницу исполнений. Рябоконь говорит в духе наива, Рыжий демонстрирует абсолютное владение стихом.

Часть девятая

Американский славист, родом из Одессы, Омри Ронен (1937 — 2012) в книге «Заглавия» (СПб.: ООО «Журнал "Звезда"», 2013), в очерке «Семидесятые» признавался:

Я люблю Слуцкого. Из книжек прошлого, а не позапрошлого века у меня в изголовье два поэта (Мандельштам и Слуцкий. — *И.Ф.*), их сочетание неожиданно, но я раскрываю их, отходя ко сну и все еще пробуждаясь поутру заново каждый день, потому что «Жизнь успела не все погасить недоимки» (Набоков. — *И.Ф.*), и меня утешает не злоба, а доброта дня.

Говоря о Слуцком, верном друге интеллигенции, этой «малой нации», важно и у него заметить некоторый перелом в 1970-е годы: XIX век и XX, русское и советское размежевываются все более драматически... <...> Пример исторической серьезности Слуцкого действительно не нашел продолжателей. Люмпен-интеллигентность (не как повествовательный прием, каковым она была в поэме «Москва — Петушки», а как отношение к миру), своеобразная «приблатненность», одинаково далекая от «хулиганства» Есенина и от революционного насильничества Маяковского, процвела в поэзии Высоцкого, Бродского и Лимонова. Пользуясь жестокой остр*о*той Тютчева о русской истории, можно назвать этот тон сочетанием панихиды и уголовщины.

Блестящему толкователю Мандельштама это не нравится. Но между названными поэтами, отнесенными Роненом к семидесятым, есть разница. Не будем о Бродском, два слова — о других.

Высоцкий честно ностальгировал по услышанной в детстве речи и не без восхищения пародировал ее, по-актерски рассчитывая эффект на хотя бы самый близкий круг милых собутыльников и смешливых собеседниц; Лимонов (подросток Савенко) всерьез говорил на этом языке, в общем-то работая напоказ, потому как из харьковских глубин стремился к известной литературной норме.

Борис Рыжий свободно владел им, ибо мыслил — натурально думал — на языке двора, улицы, поколения, когда писал о своих: дружках, подружках, соседях и ежедневных прохожих, намозоливших глаза, но никуда не уходящих. Тому порукой — синтаксическая свобода. Ничего не накручено. Слова стоят так, как им положено стоять в данном случае.

На этом языке говорят-думают тьмы и тьмы, без преувеличения. Сколько их в промзонах хотя бы?..

Почти прав Дмитрий Быков (очерк «Рыжий» из книги «Блуд труда», 2002):

Между тем реальность вот какова: Борис Рыжий был единственным современным русским поэтом, который составлял серьезную конкуренцию последним столпам отечественной словесности — Слуцкому, Самойлову, Кушнеру. О современниках не говорю — здесь у него, собственно говоря, соперников не было. Самовлюбленный, как всякий поэт, он был еще несколько испорчен ранним и дружным признанием, но с самого начала вел себя на редкость профессионально и кружить себе голову особо не давал. Он знал, с кем дружить и как себя подавать, знал, как и где печататься, — и в этом нет ничего зазорного, ибо в наши времена поэт обязан быть не только фабрикой по производству текстов, но еще и PR-отделом этой самой фабрики. Рыжий чрезвычайно точно ориентировался в литературной ситуации и прекрасно продолжал в жизни ту игру, которую с предельной серьезностью вел в литературе. Феноменально образованный, наделенный врожденной грамотностью, прочитавший всю мировую поэзию последних двух веков, профессорский сын, житель большого города — он отлично усвоил приблатненные манеры, обожал затевать потасовки, рассказывал страшные истории о своих шрамах и любил как бы нехотя, впроброс, упомянуть особо эффектные детали собственной биографии («год назад подшился», «жена — петеушница»). Насколько все это соответствует действительности, разбираться бессмысленно. Не в этом дело. Был выбран такой имидж, вполне соответствовавший желанию книжного мальчика вжиться в реальность, проникнуть в гущу, набрать крутизны. Книжность мальчика была очевидной и нескрываемой — именно потому, что Рыжий

с самого начала публиковал исключительно культурные стихи. Это был юноша не столько с екатеринбургских, сколько с гандлевских окраин («Повисло солнце над заводами, и стали чёрными берёзы. Я жил здесь, пользуясь свободами на страх, на совесть и на слёзы»). И на этом-то контрапункте, на противопоставлении и сопоположении музыкального, культурного стиха и предельно грубых реалий возник феномен поэзии Рыжего — то напряжение, которого столь разительно не хватает большинству его сверстников. Он ставил себе большую задачу — любой ценой это напряжение создать и зафиксировать, то есть натянуть струну; мальчикам и девочкам, культурно пишущим о культуре или приблатненно о блатоте, ничего подобного сроду не удавалось. Вот почему Рыжий, собственно, стоял в своем поколении один...

Все почти так. Почему почти? Потому, что Рыжему не надо было поддаваться «желанию книжного мальчика вжиться в реальность, проникнуть в гущу, набрать крутизны». Он произрос и обретался в той самой гуще, это не кратковременный выход космонавта в открытый космос, но постоянное пребывание в том безмерном и страшном пространстве.

Ольга Славникова утверждает, что для Рыжего чуть ли не больше всех значил Павел Васильев. По стиху — сходство с натяжкой. Васильев движется неторопливо, Рыжий летуч. Рядом с Рыжим разве что великолепные «Стихи в честь Натальи» (1934):

Лето пьёт в глазах её из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чёртова рогулька, волчья сыть.
Мы ещё Некрасова знавали,
Мы ещё «Калинушку» певали,
Мы ещё не начинали жить.

Это стихи не трансазиатского, а просто русского поэта.

У Рыжего нет густого сибирско-казачье-азиатского экзотизма и главное — суперменства богатырского склада. В быту — были попытки этого рода, может быть. Ведь Рыжий — не кабацкий забияка, не антинэпмановский скандалист есенинского толка. Он дрался кулаками за порогом кабака — на улице и в литературном кругу по преимуществу. Это извод литературщины, незамысловатая аргументация человека, доказывающего уважаемым коллегам, что он не такой, как они.

Алкоголь на данном спектакле неизбежен. Борис не держал алкогольного удара, резко меняясь от капли спиртного. Ирина говорит: другой человек, небо и земля. Когда трезв — спокойный, ласковый, домовитый, а пропустит за воротник — лихорадочная беготня по (полу)знакомым, поиски приключений, жалобы на все на свете, на жену в том числе, лишь бы налили...

Время от времени Борис завязывал. Бывало — на полгода, на восемь месяцев. В семье полагают: чаще не пил, чем пил. Так, летом — осенью 1998-го он не пил более трех месяцев, заодно амбулаторно лечил лицевой нерв: последствия детской травмы. Была у него и другая хвороба — отслоение сетчатки левого глаза. Этим глазом он не видел. Борис полагал, что это подарок от бокса, ибо нелады с глазом начались, когда он еще боксировал. Боль возникала чаще всего от мороза.

Совершенно ясно, что лирика соответствует прежде всего сама себе, миф поэта нередко стоит над реалиями, читатель считается прежде всего с тем, что написано, а не с тем, что было на самом деле. Нарколог А.П.Сидоров отмечен в его прозе («Роттердамский дневник») и получил посвящение одного из стихотворений («Синий свет в коридоре больничном...»). Есть и стихи «В наркологической больнице...», «В сырой наркологической тюрьме...». Это могло быть и развитием автомифа, не более того, но стихи есть стихи, от них не отвернуться.

Маргарита Михайловна:

Боря как-то привез Сережу Лузина к нам домой, сказал: мама, пусть у нас Серёжа поживет с неделю. Брали они в день по десять бутылок пива. Боря много курил. Ночью просыпаюсь: стук падающего тела. Иду в комнату Бори, смотрю, Лузин лежит на полу, что-то у него в кармане обозначилось, щупаю — в кармане наш кухонный нож. Боря на голое тело надевает дубленку. Надо, видите ли, с кем-то там разобраться. Тут-то я и закричала. Вы куда? Что это такое?! Вызвала нарколога. Боре сделали укол. Серёже надо было много уколов, он большой, еле уснул. Наутро сказала Лузину: давай прощаться, Боре надо тоже лечиться.

Все это происходило с человеком, абсолютно знающим цену вещей:

Да это ты! Небритый и худой.
Тут, в зеркале, с порезанной губой.
Издерганный, но все-таки прекрасный,
надменный и весёлый Б.Б.Р.,
безвкусицей что счёл бы, например,
порезать вены бритвой безопасной.

...Ольга Рыжая — жена поэта Валерия Сосновского. Она теперь носит фамилию мужа. Мы разговаривали у нее дома. О чем?

Лет в десять, вернувшись из пионерлагеря, Боря сказал: там была девочка похожая на тебя. О самом пионерлагере, где были дети элиты, отозвался: ужас.

Девочки начали звонить ему рано. Он отвечал отрешенно: что? кино? какое кино?

Еще в первом классе он получил письмо такого содержания: Боря, я тебя люблю, давай вместе жить. Это было реминисценцией октябрятских правил: «Вместе жить, весело дружить». О девчонках он высказывался скорей отрицательно.

Ирина была первой девочкой, которую он привел домой. Дружки обиделись: нас на бабу променял. Поругался со многими, в том числе с Лузиным. С которым был не разлей вода. Вместе бузили. К родителям пришел однажды школьный физрук, пожаловался на то, что школьные шалопаи в его доме залепили замок пластилином.

К нему приходили кучей одноклассники, в жмурки играли, музыку слушали. У него там был магнитофон, проигрыватель. Другие родители такие компании и на порог не пускали. Но как-то он вышел из комнаты и заплакал: идиоты!

В мае девяносто первого мы переехали на Московскую горку. Боря с Ириной поступали в Горный. Отец нанял репетиторов по математике для обоих. Они готовились, когда папа лежал в кардиоцентре после инфаркта. Борис провожал Ирину в Елизавет, а оттуда шел пешком через весь город. По вечерам было прохладно, он отдавал свой свитер Ирине. Когда его в один из таких вечеров избили и ограбили, он пришел домой босиком. Распухшее лицо, кровоподтеки. Обошелся без врачей.

Он шутил без улыбки. Как и папа. Например, папа в детстве, когда мы неумеренно поглощали ириски, всерьез нам сообщил, что Америка закупает советские ириски, чтобы детям зубы выдирать.

Я помогала ему с первого класса. В каком-то там классе он никак не мог понять, что такое Икс или Игрек. А в десятом строчила ему сочинения. Про того же Есенина написала большой опус, на три тетрадных листа, а он его ужал в два раза при переписке, я сильно обиделась и выразила протест, а он говорит: я мог бы написать в сто раз лучше, чем ты. Учитель спросил: кто пишет? Сестра. Она филолог? А я закончила Горный. Потом выучилась на психолога.

Лень-матушка. Утром вставал с трудом, особенно после смерти бабушки. Ему было неохота заниматься, а мама поддавливала на меня. Даже уже в институте мама наседала на меня: начерти ты ему. Я говорила: не буду. Вообще-то, я его отговаривала от Горного. Но он обожал папу. У него была клюшка с надписью «Урал». Он говорил: люблю эту клюшку, потому что папа работает в Уралгеологии.

Но он был очень аккуратен. Комнатки у нас были маленькие, своя комната у Бори появилась после смерти бабушки. В комнате чистота и образцовый порядок. К технике относился очень хорошо и сам умел делать какие-то вещи. Помню, я хотела калькулятор выбросить, а он его починил. Году в восемьдесят восьмом сам сделал

устройство цветомузыки. Лузин говорит, что он умел играть на гитаре, но я этого не видела.

У них в классе была история с зоологом. Седьмой класс. Взяли там на работу алкаша из зоопарка, где он был директором и однажды экзотических животных погубил, не распаковав прибывшие в зоопарк контейнеры. Он сначала всем понравился. На уроке, показывая скелет человека, поломал его и пообещал: пойдем на кладбище, найдем новый скелет. А потом являлся в школу под мухой, матерился на уроках, вызывал к доске девушек — заставлял рассказывать про оплодотворение птиц. Вызвал Бориса к грязной доске: стирай, Рыжий, с доски. Боря взял тряпку — и фуганул ее в лицо зоологу. Но когда этого урода стали выгонять с работы и директорша уговаривала Бориса: напиши, что он тебе руки выламывал, Борис отказался.

Не ходил на физкультуру, отказывался дежурить в столовой, мыть посуду, убирать со столов: не буду, плохо пахнет. Он был и против уроков ритмики, потому что там высоких девочек ставили с низенькими мальчиками — издевательство.

Директорша выбрасывала его портфель — ты здесь не учишься. Это когда его собирались перевести в другую школу. Он объявил голодовку — просто не ел. Думаю, помимо прочего — не хотел расставаться с Ириной. Железобетонный парень. Но когда во дворе утопили щенят — плакал, принес уцелевшего щенка домой, а щенок умер. В восемьдесят четвертом у нас кот Кузя умирал, Боря сидел рядом.

На озере Иткуль была турбаза. Хорошая, красивая — острова, смешанный лес, много берез. Боря сказал: научусь плавать, — и за день сделал это. Мы с ним однажды целый день вдвоем на лодке проплавали, нас потеряли.

В Челябинске у нас на Свободе замок открывался чем угодно — заготовкой, копейкой. Я иногда у соседей копейку одалживала в случае потери ключей. А какое-то время квартира совсем не запиралась, замок вообще сломался.

...Алексей Кузин появился как из-под земли, волшебным образом. Ольга просто позвонила ему, на всякий случай. Он оказался поблизости от дома Сосновских как по заказу. Расположение звезд, не иначе.

Однако была середина дня, без звезд, но с солнцем. Мы летели в сторону Нижнеисетского кладбища. В кузинской машине остро пахло бензином. Россельбан радовал глаз отличным покрытием и яркой лесной зеленью с обеих сторон.

Могилу нашли не сразу. Кладбище огромное. Выехали на нужную аллею, асфальтную, похожую на обыкновенную неширокую дорогу. Вот она — рослая сосна, на которой достаточно высоко помещен дощатый квадрат с надписью «Борис Рыжий». Последний адрес Бориса — его имя.

Надо идти по тропе немного вниз. Борис и баба Дуся лежат рядом. Светло-серые плиты гранита, памятники с фотографиями и датами. Чисто и пусто. Наши свежие цветы вместо чьих-то прежних. Ольга на скамейке, взгляд неподвижный, быстрая слеза.

Подымешь голову — в синем колодце неба над соснами серебристой птицей летит самолет, оставляя белый инверсионный след, по которому катится отстающий от самолета искусственный гром, похожий на гнев небес. Это ненадолго.

Как сказал Яков Полонский:

Ни единой тучки
На лазурном небе!
Ни единой мысли
О насущном хлебе!

Однако природа — вещь аварийная. Над могилами опущенным шлагбаумом низко навис тонкий, но прочный ствол поломанного тополя с клоками сухой листвы, перечеркивая вид на небо. Кузин сбегал к машине за ножовкой, сталь и древесина вступили в пронзительный спор, кузинский локоть мелькал, сталь победила, небо открылось. Отпиленный кусок дерева Кузин с Сосновским отнесли от могил.

Я не слышал шума сосен. Или его не было.

К могиле Бориса Петровича надо идти вверх по той же тропе, к адресной сосне,

и, перейдя через дорогу, увидишь на всхолмье железную ограду и памятник со знакомым именем. Лицо отца на фотографии исполнено печальной озадаченности. Он умер в июне 2004 года. Последний — шестой — инфаркт. А в сущности — с горя. За год до смерти он окрестился.

Кузин перемахнул через ограду, навел на граните порядок, убрав с могилы кучу налетевшей листвы, еще не засохшей. Деятельный человек Кузин.

Надо ли говорить в таких случаях? Вряд ли. 10 мая 2001 года, в день похорон Бориса, выпал снег, было холодно и многолюдно, говорились слова, люди не понимали, что происходит.

Мы и сейчас не понимаем. Садимся в машину молча, проезжаем кладбищенский храм священномученика Аркадия, пахнет бензином, летим по Челябинскому тракту. Слева синеют Уктусские горы, предгорье Урала. На все про все ушли два-три часа и мгновенная жизнь отпрыска этих синих гор.

А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем. Боюсь, что вот накаркаю — дурак. Но следую за вдохновеньем. У коней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной. Вот наша жизнь, которая была невероятной и чудесной. Свердловск, набитый ласковым ворьём и туповатыми ментами. Гнилая Пермь. Исетский водоём. Нижнеисетское с цветами.

...На рубеже веков С.И.Чупринин готовил книгу «Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник». Среди его помощников была Наталья Смирнова, писательница из Екатеринбурга, доцент филфака Уральского госуниверситета. Персоналию Рыжего делала она. Они встретились неизбежно. Это произошло 9 марта 2000 года. Их отношения не ограничились писательством. Она была старше, по-человечески опытней и — восхищена им.

Много живых. Да, вокруг этой гибели много живых. Процитирую лишь часть того, что уже стало достоянием читающей публики (сайт журнала «Новый мир»).

Понятно, что Борин Вторчик (Вторчермет. — *И.Ф.*) условный, а попросту — народная жизнь. Кто-то отвернется, а кто-то дрогнет. Рыжий упрекал: «Ты же это видела, знаешь, почему не пишешь?» А как? Убьешься на них смотреть, не то что переводить их в тексты. Еще думала — они ТАК не изводятся, как он из-за них. Они крученые и битые. И не могут формулировать. Просто пьют, а это проще. Невероятно тяжелая тема, не побоюсь этого слова, народ. Пудовая просто. Рыжему по плечу, потому что он герой, да и люди эти были абсолютно его. Он легко их воспроизводил, мог переливаться их оттенками, точно в нем никаких стихов нет. Мимесис такой.

Однажды мы разыграли мою подругу. Пришли в гости, я сказала — Ир, это мой двоюродный брат из Качканара. На буровых работает повахтенно. Спросила его предварительно: «Ты про буровые что-нибудь знаешь?» Он возмутился: «Все знаю». Сели, и он про эти буровые минут двадцать заливал очень убедительно. Хозяйка заскучала и подала глянцевый журнал: «Вот возьми, мальчик. Посмотри на голых девочек». Боря засмеялся: «Да видел я голых девочек!» — «Где это?» — спросила она и тоже засмеялась.

Я начала отматывать: Ир, мы пошутили. Это известный поэт.

Она вдруг сорвалась со стула, постучала в дверь закрытой комнаты и крикнула: «Коленька, спаси меня, тут пришел поэт и хочет читать стихи». Он и вправду хотел, но как она догадалась? Дверь никто не открыл, хозяйка вернулась и прочла назидание — не надо писать стихов, их теперь никто не читает. Стихи выпьют из тебя кровь. Береги себя, парень, в общем.

... Он не пошел на похороны Романа Тягунова. Родители уговорили. И потом был поэтический вечер — тоже не пошел. Не любил объединяться с местными поэтами, да и понятно, о чем все будут говорить после такой смерти. Им ведь запросто придет в голову вопрос, кто следующий. Меня позвали, я сходила, потом что-то пересказала. Один из поэтов на вечере заявил, что деньги на книгу стихов ему дала взрослая дочь. Борька аж подпрыгнул: «Он так сказал? Как он мог! Это же позор!»

Я не понимала, в чем тут позор. Боря возмущался: чего тут непонятного? Позвонила Дозморову, он иногда объяснял «систему координат» там, где она у них была общей.

— Конечно, позор, — согласился Олег. — Поэт — профессия мужская. Побираться нельзя.

Но однажды, устав путаться и сверяться с Дозморовым, я спросила Рыжего: «Как ты думаешь, я вообще правильно тебя понимаю?» Он думал секунды три: «Да».

Похоже, стихотворение «Не покидай меня, когда...» она относит к себе:

Урки, работяги, совок больше не интересны. Хватит, Боря, повторяешься. Ищи другое. Он ненавидел советчиков, изводился, соглашался с ними. Отчаивался, что мало пишет. Возражал себе, что Гандлевский пишет восемь стихотворений в год, зато каких. Читал «Не покидай меня, когда...» Заглядывал в лицо — это ведь уже по-другому? Не так, как раньше? Потом упрекал: «Ах да. Ты же стихами мало интересуешься».

Надо признать, очерк Натальи Смирновой — качественная проза. Борис написан живо и пристально. Наверное, он был прав, сказав: «Да».

...О весеннем Нижнем Новгороде двухтысячного года стихов у него не осталось или не появилось вовсе. Он тогда был целиком настроен на Роттердамский фестиваль, думал круглосуточно о близком выезде в Голландию.

На фестиваль Poetry International его рекомендовал Саша Леонтьев, годом раньше представлявший Россию в Роттердаме: таковы правила той эстафеты. Борис зажегся. В спешном порядке пробовал освежить некоторое знание English'а, но и прежние штудии не дали желанного результата. Пара строф Уистена Хью Одена, запомненных, когда он пробовал его переводить, не спасала положение. Память у него была специфической, сугубо стиховой, наполненной морем стихов чужих, верней — родных, русских стихов от Батюшкова до... А кстати, знал ли он, что батюшковская «Тень друга» написана в удивительном 1814 году, ознаменованном русским покорением Парижа и рождением Лермонтова? Мог знать. Но языка международного общения — не знал. Слабо знал. На свой лад — свойство только-поэта.

В Роттердаме дама, ведущая выступление Бориса, спросила у него: какова ваша жизненная цель?

— Я хочу быть лучшим русским поэтом.

На этом выступлении он прочел 14 стихотворений за 10 минут 36 секунд. Зачем так скоро? Его не понимали.

Отбарабанил положенное количество стихотворений, аплодировали. Пьяный, я хорошо читаю. Кроме своих, прочитал «У статуи Родена мы пили спирт-сырец — художник, два чекиста и я, полумертвец...» (Луговской. — *И.Ф.*). Проканало, никто ничего не понял, даже Рейн. Пошел в бар, взял пива и сел за столик.

«Роттердамский дневник» первоначально назывался «...не может быть и речи о памятнике в полный рост...» при почти параллельной публикации в четвертых номерах голландского журнала «The Flag» и «Знамени» за 2003 год.

Он издавна хотел написать аналог джойсовского «Портрета художника в юности»: о себе в своем городе. Получилось нечто пряное по фактуре и внешне размытое по композиции. Больше по законам стиха, нежели по правилам прозы. Проза Гандлевского (повесть «Трепанация черепа») и Набоков со стихами и прозой, пропитавший прозу Гандлевского, всегда привлекали Рыжего, и это сказалось на «Дневнике». Туманец импресьона покрывает довольно отчетливую — двухслойную — конструкцию: основная линия (пребывание на фестивале) сопровождается боковым нырянием в память, связанную с Екатеринбургом, точнее — со Свердловском: он так чаще всего называет свой город. Ну а там — детство, отец, семья, сестра Оля, жена Ирина, сын Артём, студенческая практика в Кытлыме, забубенные дружки: в основном целая

повесть о Диме Рябоконе, каковой опять, как и в стихотворении «Море», отделен от самого себя полетом авторской фантазии. Это такая уловка Рыжего: называть персонажа своим именем, говоря о нем вещи, не имеющие к нему отношения, — таков у него и некий Саша Верников, со всеми чертами реального литератора А.Верникова, нарочно вывернутого в сторону вымысла. При этом он говорит, что реальность ему дороже вымысла.

Подобным образом он и в стихах играет с самыми близкими именами:

Одной рукой, к примеру, Иру
обняв, другою обнимал,
к примеру, Олю и взлетал
над всею чепухою мира.

Для убедительности в данном случае сюда привязана блоковская «мировая чепуха».

Это тот прием, которым он говорит прототипам: ребята, я вру, не обижайтесь, так надо. Нынешняя патентованная глупость о поэзии как частном деле им, естественно, не разделялась, но работал он зачастую на тех, кого знал в лицо. Это смахивает на «Петербургские зимы» Георгия Иванова, но у Иванова всё всерьез, а Рыжий явно веселится. Грустно веселится.

Причины грусти очевидны. Самая горькая — разлад в семье. Артём говорит: папа, если ты не уйдешь от нас, я подарю тебе белую лошадку с голубой гривой.

Что касается самого фестиваля, Рыжий не впадает в детали, не делает обобщений, круг его общения, им описанный, весьма узок — африканский поэт Карл-Пьер, тайваньская поэтесса Шао Ю, а в основном — Евгений Рейн.

...Саша Леонтьев мне как-то передал слова Рейна о том, что настоящий поэт должен стать немного сумасшедшим. Я и говорю Рейну: а ведь, Евгений Борисович, как ни крути, а настоящий поэт должен научиться быть чуточку сумасшедшим. Борька, да ты и так сумасшедший, — смягчился Рейн, — тебе же сейчас читать, ты не смотри, что они улыбаются, эти люди всё замечают, всё, и не видать тебе больше Европы как своих ушей. Те же слова я слышал от Ольги Юрьевны Ермолаевой на одном помпезном московском мероприятии. Вот вам улыбаются, руку жмут, — сказала Ольга Юрьевна, — а вы не тайте, Борис Борисович, не тайте. И Олег Дозморов как-то отчитывал меня в этом роде: я не понимаю, почему ты так уверен в том, что никто тебе не может сделать подлость? А жена, когда я повадился прогуливаться по ночам, просто руками разводила: с чего ты решил, что тебя не убьют?

В очередной раз нырнув в прошлое, он дает эпизоды пребывания в дурке, то есть в психбольнице:

Да один Петруха чего стоил со своими анекдотами, типа Пушкин с Лермонтом делят шкуру неубитого медведя, а к ним подходит Ломонос и говорит: эта шуба моя. Взял и унес. Смеялся над его анекдотами только я, за что и был Петрухою любим. Кроме того, я давал ему сигареты и закрепил за ним право съедать мой завтрак, обед и ужин — я лежал в палате с цыганом Вано, нам хватало гостинцев с воли. Вано хороший человек, мы созваниваемся с ним до сих пор, встречаемся, выпиваем, за жизнь разговариваем. А Петруха умер, однажды не проснулся, когда все проснулись, и все. Ему было лет пятьдесят, худой и беззубый. Жаловался нам с Вано, когда его обижали. Старался не плакать, когда ставили уколы. Держался как мог. Натурально под мышкой унес санитар его маленькое татуированное тело. У Александра Кушнера есть такое стихотворение: «Всё нам Байрон, Гёте, мы как дети, знать хотим, что думал Теккерей. Плачет бог, читая на том свете жизнь незамечательных людей...». Далее у Кушнера бог поправляет очки и с состраданьем смотрит на дядю Пашу, который что-то мастерит, приговаривая: «этого-того». Этакий бог-педагог, немец наполовину. А на деле-то что получится? Вот придете, Александр Семенович, дай вам Бог здоровья, к Нему с поклоном, а по правую Его руку дядя Паша сидит (хотя Вы, наверно, выдумали этого дядю Пашу), а по левую — мой Петруха. Много чего придется пересмотреть, о многом всерьез поразмыслить.

В легкомысленном Роттердаме он обзаводится минутной подругой.

А ю риали грет рашен поэт? — спросила меня моя подруга. Нет, — говорю, — не грет, а так себе, поэт как поэт, самый обычный. Как тебе, — спрашивает, — Голландия? Вери гуд, — говорю, — только скучно здесь. А в России не скучно? — спрашивает она. Это, — говорю, — смотря где, Россия очень большая страна, вери, — говорю, — биг кантри, ю андестенд ми, май датч леди? Проснулся посреди ночи, девушка лежала рядом и была очень красива. От счастия влюблённому не спится. — Подумал я. — Идут часы. Купцу седому снится в червонном небе вычерченный кран, склоняющийся медленно над трюмом, мерещится изгнанникам угрюмым в цвет юности окрашенный туман. Это Набоков. Кто с водкой дружен, тому секс не нужен. Это нарколог Сидоров. Тихо оделся и вышел в ночь.

В той ночи его тут же уносит к себе, в детство:

Когда я был маленьким, отец укладывал меня спать. Он читал мне Лермонтова, Блока и Есенина про жеребенка. Иногда детские стихи Луговского. Еще Брюсова про тень каких-то там латаний на эмалевой стене. Чьи стихи я читаю сыну? Лосева: «Всё, что бы от нас не скрывали...» и где «эй, дэвушка, слушай, красивый такой, такой молодой». Гандлевского: «Осенний снег упал в траву...» и про тирольскую шляпенку. «Рынок Андреевский» Рейна. «Концерт для скрипки и гобоя» Слуцкого. Много Иванова и одно, про пароходик, Ходасевича. Державинский «Волшебный фонарь» читаю плохо, с мэканьем и порою пытаюсь пересказать забытое прозой. Сын очень похож на своего прадеда, который умер за десять лет до моего появления на свет. Вряд ли дед читал что-либо отцу перед сном, он был председателем райкома партии где-то в Курганской области и, на случай ночных гостей, спал с пистолетом под подушкой. Теперь пистолет (ТТ) теоретически принадлежит отцу, а фактически мне. И боюсь, и надеюсь, что я последний владелец этого чуда.

Ну, во-первых, такой должности «председатель райкома» не существовало — были секретари, а во-вторых, обнаруживается существование пистолета деда Петра Афанасьевича: на предмет партийной бдительности вообще и возможной самообороны или самоубийства, если за ним придут ночные гости из органов.

Так или иначе, эта проза — все равно лирика. Исповедальная тональность преобладает, хотя и с перебоями. «Роттердамский дневник» не дописан. Текст оборван на том месте, откуда начал бы говорить философ, а поэт утихает:

Тем не менее Голландия скучна, они, голландцы, добывают электроэнергию посредством ветровых мельниц. Это, конечно, экологично, но, черт меня дери, как скучно! Это, — говорит мне мой переводчик, словацкая девушка Ева, — очень экологично! А мне, — говорю, — плевать, Ева, на экологию, у меня других забот полно. Ты, — говорит Ева, — как я думаю, волнуешься сейчас, как и каждый русский, что у вас новый президент? Вот уж, Ева, — говорю, — что меня не волнует, так это. О, — улыбается Ева, думая, что попала в точку, — ты расстроен событиями в Чечне? Нет, — говорю по-английски, — мне просто всё обрыдло. Ева сделала большие глаза и посоветовала мне идти в свой номер, а там лежать и читать Библию до тех пор, пока не полегчает. Библия... Что Библия? — подумал я. Эта безусловно Книга книг помогает поддерживать душевное равновесие тем, кто его уже достиг. От депрессняка, скотского настроения и дикого похмелья Библия не спасает.

Изможденного Бориса, вернувшегося из Роттердама, в Москве встретил Борис Петрович и увез домой. На залечивание ран ушло определенное время.

Роттердамский фестиваль стал вторым после Антибукера испытанием, из которого он, может быть, так и не вышел. Спустя приличное время, если у него спрашивали о делах, он отвечал:

— Из Голландии вернулся!

С Высшей инстанцией он обращался запросто, если не фамильярно. Мечта христианства — она мечта.

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта...
(Блок)

Еще, как на заре туманной юности, говорилось так (2000):

Ещё неделя света и покоя,
и ты уйдёшь, вся в белом, в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою,
пойдёшь со мною

мимо цветов, решёток, в платье строгом,
вперёд, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я — с Богом.

А в «Разговоре с Богом» (2001) уж не найти трепета, одна горечь, безнадёга с гранулой сарказма:

— Господи, это я мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
— Это мои друзья.
На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки.
— Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью назови, ад посули посмертно, но не лишай любви високосной весной, слышь меня, основной!
— Кто эти мудочёсы?
— Это — со мной!

В эти два последних года он съехал с инерции смерти как темы, он увидел ее воочию. Это как полная луна, вылезшая из-за черных туч. Существует лунатизм гибели. Символисты были правы? Ахматова в детстве-отрочестве была лунатичкой. Прошло.

Сесть на корточки возле двери в коридоре
и башку обхватить:
выход или не выход уехать на море,
на работу забить?
.....
В магазине прикупим консервов и хлеба
и бутылку вина.
Не спасёт тебя больше ни звёздное небо,
ни морская волна.

Да когда он был у моря-то? В 1989-м, после восьмого класса, в Болгарии, с родителями, на Солнечном берегу. Были они там недели две, плавал он не очень хорошо, да и опасно там было — народу много, во взбаламученное море не тянуло. Мало видел, больше воображал. Но запоминал навсегда. Ничего не сказал о том море. Разве что о Балтийском, но Финский залив — часть городского ландшафта.

Это странно: такой нестарый поэт был поэтом памяти. Масса того, что он писал, возникало оттуда, где было лучше, чем сейчас. Область счастья, а не память. Значит, не память, а нечто другое.

Я сам не знаю то, что знает память.
Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь.

Часть десятая

Из уходящего века он выходил с некоторым оптимизмом, или это было видимостью и минутой:

По-моему, в проживаемый нами отрезок времени с поэзией нашей все обстоит самым наилучшим образом. Эпигоны Иосифа Бродского после смерти своего кумира куда-то и сами запропастились со своими текстами. Правда, посмотрите вокруг, их почти не стало — куда делись, непонятно. (С другой стороны, стали по неведомым причинам появляться эпигоны Ходасевича, но это ребята безобидные в основе своей и ненавязчивые, как и подобает эпигонам Ходасевича.) Кроме того, изящная наша словесность избавилась от чистой воды проходимцев, рифмоплетов, потому как дело это по большому счету стало безденежным и бесславным. Есть, конечно, жулики, мыслящие глобально и выстраивающие колоссальные литературные пирамиды, но как бы они ни старались, все во благо опять-таки поэзии — эти господа оттягивают на себя графоманов, которые в былые времена атаковали серьезные издания. Редакторы в связи с этим стали менее нервозны, и с ними приятно общаться. С критикой, конечно, плоховато, но в России всегда так было, было и хуже.

Что еще? Исчезла так называемая партийность. Мы научились любить хорошие стихи в любом случае, даже если они сочинены дурным, как нам по тем или иным соображениям кажется, человеком, и перестали замечать какие-нибудь нескладные вирши, которые раньше наизусть знали потому только, что автор их пер против режима и вообще. Я, воспитанный в семье, где «Евтушенко» было ругательным словом, недавно собственноручно откопал у этого поэта хорошее стихотворение. До Вознесенского пока просто руки не дошли — может, и найду чего интересное. А вот о Высоцком я что-то последнее время совсем и не вспоминаю... Короче говоря, Шопенгауэр был все-таки прав, говоря о том, что лучшее, что может сделать государство для искусства, так это лишить его всяческого внимания. Тут, конечно, само собой напрашивается вопрос: а на какие, собственно, деньги жить сочинителю? Но ведь поэзия — роскошь, не так ли? А не средство к существованию. Поэт, думается, должен где-то служить, охранять объект какой-нибудь строительный, торговать или, например, заниматься разбоем, почему бы и нет? К последнему, понятно, настойчиво не призываю... Еще что? Да, проблема читателя, якобы читателя сегодня нет. Неправда, у меня есть вещественные доказательства, которые при необходимости могу показать. Вот буквально вчера получил письмо от чудака из Краснотурьинска, писано в стихах: «Я Рыжего сегодня почитал / и, каждую его запомнив фразу, / мне захотелось двинуть на вокзал, / чтоб с ним в Свердловске водки выпить сразу!» Хорошо, что не приехал, а то я вот уж ПОЧТИ год как подшился. Не пью то есть, любезный мой сосед! А если без дураков, поэзию нашу читают и в России, и за ее пределами. Не поголовно все, как это было, когда я пошел в первый класс, а те, кто может позволить себе эту опять-таки роскошь. Ведь поэзия — роскошь, я настаиваю на этом. Или я не прав? А слава, что слава... Слава — это для теноров, как могла бы сказать Ахматова. Я так думаю.

(«Независимая газета». «Кулиса» № 16 от 8 декабря 2000 г.)

Весна 2001 года была классической весной: «О, март-апрель! Какие слёзы...» (Д.Самойлов). Хотелось думать — на земле все будет хорошо хотя бы этой весной. Бесспорно — после всепланетных дискуссий о сроках наступления нового миллениума — пришло второе тысячелетие, уже второе в истории России. Сестра Лена в апреле звонила ему, он громко смеялся, когда она рассказала, что неподалеку от ее редакции пару недель работало бюро ритуальных услуг с соответствующей вывеской, резко сменившись на магазин детских игрушек под названием «Ангел». За день до ухода Рыжий откликнулся на предложение провести осенью в Москве свой поэтический вечер, прислав по электронной почте письмо в оргкомитет Московского фестиваля поэтов.

С первых писем к сестре Ольге Борис испытывал неутоляемую потребность в эпистолярном жанре. С Ларисой Миллер они никогда не виделись. 12 марта Борис отправил первое письмо Ларисе Миллер. Предыстория их переписки такова:

У Рыжего нет лишних слов. Он не болтлив. Говорит «по делу». Его картинки точны, стихи предметны, «все можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть». Так я писала в эссе «Чаепитие ангелов», в котором цитировала стихи поэта. Вскоре после публикации этого эссе в американском журнале «Вестник» (№ 5, 27.02.2001) редактор журнала Валерий Прайс переслал мне электронное послание Бориса Рыжего...

Борис писал:

Уважаемая Лариса Миллер, благодарю Вас за те слова, которые Вы сказали о моем стихотворении «Я вышел из кино...». Я очень тронут. <...>
Обнимаю.
Всей душой Ваш Борис Рыжий.

Любопытно это «Обнимаю». Миллер уклонилась от ответных объятий, но тепло разговора нарастает. Что сказано о Борисе Рыжем в «Чаепитии ангелов»? Вот начало той статьи Ларисы Миллер:

«Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева!» (Владимир Соколов). Желание вполне понятное, но трудно выполнимое. Выскочить из слов — задача столь же непосильная, как и воплотиться в слово. Жизнь — борьба. А жизнь поэта — еще и борьба *за* слово, *со* словом и *против* него. <...>

Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит —
четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый.

Однако целый мир переменился вдруг,
а я всё тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.

Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома добреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду — прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

Свершилось! Строчки забыли, что они слова, и стали снегом, бородачом, лопатой, розовым трамваем, бегущим не по бумаге, а по воздуху. Ничего бумажного нет в этих стихах. Все можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть.

В эпистолах довольно осуждающе называется Бахыт Кенжеев (за многописание), возникает имя Владимира Гандельсмана. Они договариваются на том, что Гандельсман «очень хороший поэт». Борис подсылает ей стихотворение Гандельсмана, о котором она отзывается сдержанно. В это время пришла новая плохая весть.

Получила сообщение о смерти Виктора Кривулина. Печально. Он совсем не старый. Правда, весьма больной человек, насколько мне известно.

Борис разделяет ее печаль, хотя и признается, что кривулинское творчество ему мало знакомо. В общем и целом разговор выходит за рамки диалога людей, говорящих исключительно о себе. Это не исключает обмена своими произведениями, Миллер посылает ему свою заметку о поэзии «Пронеслася стая чувств», которая была опубликована в «Независимой газете» прошлым летом, и указывает на публикацию своего эссе в «Вопросах литературы» (2001, №1).

Дорогая Лариса, спасибо, заметку из «НГ» я читал, а вот «Вопли» до меня, конечно, не доходят, я читаю только то, что есть в Интернете, в «Журнальном зале».

Статья очень интересная. Мне близок Ваш взгляд на происходящее. В одном Вы только, кажется, ошиблись. Новиков (Денис Новиков. — *И.Ф.*), при всем уважении и любви к его стихам, делает что-то подобное, он сильно зависит от контекста, настолько ровно, насколько циники от лириков, только в данном случае все наоборот. Не от контекста должен зависеть поэт, а от «музыки времени». Я сейчас вспоминаю слова любимой мной Софии Парнок: мы последнее поколение, понимающее стихописательство как духовный подвиг. Или что-то вроде того. Как бы вернуть это понимание. А что касается «информационного повода», поэзия никогда им не была и не будет. И слава Богу.

Относительно Кривулина. Я знал его так себе и плохо понимаю, почему мне пришло это сообщение. Но больно. Он был человеком, который ставил искусство выше жизни. Подобных ему почти уже не осталось, увы.

Она вновь хвалит книгу «И всё такое...», перечисляя конкретно те вещи, которые ее зацепили:

Борис, решила назвать те стихи из Вашей книги, которые меня особенно зацепили. Может, Вам это ни к чему, но мне хочется: «Над саквояжем в чёрной арке», «Две сотни счётчик намотает», «На окошке на фоне заката», «Когда менты мне репу расшибут», «В обширном здании вокзала», «Осень», «Мы целовались тут пять лет назад», «Мне не хватает нежности в стихах», «Много было всего», «Почти элегия», «Россия — старое кино», «У памяти на самой кромке»(!), «Я вышел из кино».

Потом она добавила к этому списку «Отполированный тюрьмою», «Расклад», «Я на крыше паровоза». С его стороны последовало интересное признание:

А ведь я, коль речь зашла обо мне, до этой книги написал целую гору «метафизических» стихотворений, в которых слова ровным счетом ничего не значили. И знаете, кто меня спас? Некрасов! «Председатель казенной палаты...» Я вдруг понял, что это вполне реальный председатель, и после этого год не писал. Надо же, думал, настоящий председатель, как он может быть поэзией? Но с годами понимаешь, что если не опишешь свое время, то кто это за тебя сделает. Конечно, можно и соврать для «поэтичности», но это будет унижением опять-таки времени, единственного, что мы имеем, памяти.

14 апреля он сообщает ей сдержанно, без подробностей:

Дорогая Лариса, я немного болен, лежу в больнице. Забежал домой минут на тридцать[1].

До 30 апреля, когда переписка оборвалась, он познакомил ее с последними своими стихами: «Я подарил тебе на счастье...», «Свети, слеза моя, свети...», «И посмертное честное слово...», «Рубашка в клеточку, в полоску брючки...», «Свернул трамвай на улицу Титова...», «Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом...», «Гриша-Поросёнок выходит во двор...».

Особо оговаривается стих про трамвай, который ей особенно понравился, и он соглашается: «Мне тоже нравится «Свернул трамвай на улицу Титова», такой перепев Набокова...»

---

[1] По поводу этой информации сестра Бориса Ольга мне пишет: «В апреле 2001 года Боря нигде не лежал. Он закодировался у главного нарколога Екб, мне кажется, чтобы успокоить родителей.

В дурке он не лежал, однажды недолго лежал в токсикологии после того, как выпил упаковку элениума. <...> Боря любил мистифицировать. Так, Гандлевский в своем слове на Борину смерть рассказал "правду" о его шраме. Письмо Ларисе Миллер о "тридцати минутах" — подобная мистификация. Боря лежал в токсикологии очень серьезно, дня три, сутки прикованный к батарее, и ни о каких посещениях дома речи быть не могло. В 2001 году он точно нигде не лежал, просто закодировался культурно. Может быть, он хотел усугубить впечатление, чтобы избежать судьбы. В нашей семье это было принято».

Свернул трамвай на улицу Титова,
разбрызгивая по небу сирень.
И облака — и я с тобою снова —
летят над головою, добрый день!
День добрый, это наша остановка,
знакомый по бессоннице пейзаж.
Кондуктор, на руке татуировка
не «твой навеки», а «бессменно Ваш».
С окурком «Примы» я на первом плане,
хотя меня давно в помине нет.
Мне восемнадцать лет, в моём кармане
отвёртка, зажигалка и кастет.
То за руку здороваясь, то просто
кивая подвернувшейся шпане,
с короткой стрижкой, небольшого роста,
как верно вспоминают обо мне,
перехожу по лужам переулок:
что, Муза, тушь растёрла по щекам?
Я для тебя забрал цветы у чурок,
и никому тебя я не отдам.
Я мир швырну к ногам твоим, ребенок,
и мы с тобой простимся навсегда,
красавица, когда крупье-подонок
кивнёт амбалам в троечках, когда,
весь выигрыш поставивший на слово,
я проиграю, и в последний раз
свернёт трамвай на улицу Титова,
где ты стоишь и слёзы льёшь из глаз.

«Перепев Набокова» — указатель на набоковский «Трамвай»:

Вот он летит, огнями ночь пробив,
крылатые рассыпав перезвоны,
и гром колес, как песнопений взрыв,
а стёкла — озарённые иконы.

Он горячо реагирует на ее новые стихи: «без дураков гениальны». Последняя фраза их переписки принадлежит Ларисе Миллер — 30 апреля 2001 года:

Боря, очень рада Вашей реакции. Спасибо. А то, что Вы сейчас не пишите — это, как говорил Тарковский, «перед стихами».

Стихов уже не случилось. Ей пришлось публикацию «Чаепития ангелов» на родине — в №9 «Нового мира» за 2001 год — посвятить «Памяти Бориса Рыжего».

Переписка с Кейсом Верхейлом завязалась под занавес 2000 года. Ее начал — 5.10.2000 — Кейс.

Мой друг! Я внимательно и с энтузиазмом прочел Ваш сборник. Первое впечатление о Вашей поэзии, прочитанной в «Знамени» (подборка «Горный инженер» в №3 за 2000 год. — *И.Ф.*), подтвердилось, но открыл я и новые грани. Оригинальность Вашего таланта бросается в глаза (и тем более, в уши), и поэтому казалось бы, что Вам грозит опасность впасть в «манеру». Но такого я пока никак не заметил.

Это было точное наблюдение, на которое Борис отреагировал тотчас:

Я понимаю, что пора пользоваться более нейтральной лексикой, что нельзя паразитировать на однажды найденном герое и интонации, но мне бы хотелось естественно подойти к другому.

Кейс просит Бориса не стремиться к «нейтральности», а относительно новой подборки в «Знамени» («Горнист» в №9 за 2000-й) говорит:

Несмотря на все прежние впечатления, я опять потрясен. Вы умеете взмахом Ваших стихов переместить читателя и в ад, и в небо. Это очень редкий дар.

Борис признается:

Я столь трепетно отношусь к Вам, Вашему творчеству, тем людям и событиям, другом и участником которых Вы являетесь, что, боюсь, так хочу нравиться Вам, что боюсь показаться фальшивым и надуманным.

За упомянутыми «людьми и событиями» стоял прежде всего Бродский. В письмах идет речь о Гандлевском, Кенжееве, Лосеве, но главное состояло в том, что через Верхейла, скорее всего, Борис реально ощущал символическую передачу эстафеты непосредственно из руки Бродского — ему. Думаю, нечто подобное было и в общении с Рейном.

Кейсу Бродский посвятил стихотворение «Голландия есть плоская страна...». Борис хвалит в превосходных тонах воспоминания Верхейла о Бродском. Страх фальши и надуманности имел почву. Когда — очень скоро — они по предложению Кейса перешли на «ты» и Борис посвятил ему стихотворение «Где обрывается память...», в какую-то минуту Борис, на мой взгляд, слукавил. Верхейл предположил:

К.Кобрин мне послал твои ответы на анкету о Бродском, где ты ставишь его в один ряд с А.А. (Блоком, по-видимому) и Ник. Алексеевичем. Если это Клюев, я очередной раз готов тебя расцеловать, п. что Кл. один из моих самых любимых (И.Б. тоже к нему относился с полным восхищением, мы с ним на эту тему говорили не раз).

Борис восклицает: «Да, конечно, это Клюев! Конечно!» Можно сказать, *подпел*, из лучших побуждений, и не исключено, что в ту секунду сам себе поверил. Николаем Алексеевичем относительно поэзии в России называют только Некрасова, как Александром Сергеичем — ясно кого. Восклицание о Клюеве на клавиатуре Бориса возникло 12 марта, а 20 марта на той же клавиатуре было отстукано: «И знаете, кто меня спас? Некрасов!» — в письме к Ларисе Миллер. Усовестился, видать. Уточнил. Или знал, кому что говорить.

В это время Борис читал роман Верхейла «Вилла Бермонд», где сюжет о русском поэте Тютчеве и его семье переплетается с авторскими воспоминаниями нидерландского военного детства: роман вышел в русском переводе в 2000 году в издательстве журнала «Звезда».

Переписка закончилась на письме Бориса от 28.04.2001. Накануне они разговаривали по телефону. Содержание разговора отдалось в письме:

Кейс, я думаю, что дело не в поколениях (возвращаясь к Тютчеву), а в отношении человека к поэзии вообще. Для нас с тобой Тютчев (как и Овидий) жив, жив настолько, насколько он был жив на самом деле. Для других он мертвец, а мертвецов в России любят какой-то странной любовью — могут двух живых за одного мертвеца убить.

Оставалось девять дней.

В эссе «Оборвыш» Омри Ронен говорит:

Наконец, приходит время, когда жизнь переваливает за веху генетически определенного ей срока полноценной умственной деятельности, но продолжается оттого, что наши лекаря стали много лучше, чем сто шестьдесят лет назад, когда их пожурил поручик Тенгинского полка. Это возраст осеннего равнодушия...

Возраст осеннего равнодушия не зависит от количества прожитых лет.

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.

Не веди бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит,
— небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

А слава между тем нарастала. В 2000-м Свердловское телевидение сделало продолжительную передачу о Борисе Рыжем «Магический кристалл», режиссер Элеонора Корнилова. Борис в кругу старых друзей, на улицах, в подъездах. Читка стихов, разговоры, игра в снежки с детворой, модное длинное пальто. Проходы, крупный план, негасимая сигарета в правой руке, самоирония, «свердловский говор», скромный элемент актерства, прирожденный артист. Хорош собой, слегка утомлен, детская шея, ломкий голос, молод, улыбчив, исполнен сил, все впереди. Читая «В кварталах дальних и печальных...», он произносит по-старому: «дальн*ых*» и «клён» через «е», а не «ё». На руинах Дома пионеров посожалел: некуда будет прибить мемориальную доску, надо будет ставить памятник, а это народные деньги, опять народные деньги...

В Москве он становится не то чтобы своим, но знакомым и званым. Его зовут туда, куда он раньше лишь посматривал издалека, пристально и ревниво. Журнал поэзии «Арион» был таким местом. С его главным редактором Алексеем Алехиным Рыжего свел Роттердам, хотя они пересекались и прежде — в Питере на конгрессе, но тогда Рыжий для «Ариона» был никем, да и лихости не являл, поскольку был *зашит*. Иное дело — Голландия, мировой уровень, толпа звезд и соблазнов. Борис не понравился Алехину беспрерывным перформансом: швырялся гульденами, показательно ухлестывал за некоей китаянкой вдвое старше себя и проч. Тем не менее Алехин пригласил его в журнал со стихами. В Москве Борис вел себя по-другому. Тих, опрятен, пунктуален, охотно идет на предлагаемую правку, ни следа роттердамского разгула.

«Арион» напечатал Рыжего — в 2001-м, № 6, это была его последняя, им подготовленная публикация, а в № 2 следующего года Алехин писал о нем в своем журнале, отзываясь на книгу «На холодном ветру»:

Если отбросить частности, суть — привлекательная для одних, раздражающая или настораживающая других (порою и то и то одновременно) — в том, что он вернул

поэзии смелость говорить от первого лица, и заговорил о вещах самых простых и потому существенных.

Его последней строкой была «Я всех очень любил без дураков». Он оставил ее на листе бумаги, лежащем на столе около балкона: написал стоя, уже уходя. Жизнь его кончилась, и все, что было потом, — уже другая книга.

Последний год Бориса — волна высокой лирики, обращенной к жене. В стихах Ирине — абсолютная определенность адреса.

Озирались сонные трамваи,
и вода по мордам их текла.
Что еще, Иринушка, не знаю,
но, наверно, музыка была.

Последний день Бориса. Если написать конспективный дневник от его лица, это будет выглядеть так.

6 мая 2001-го. Пошел ночевать к родителям, потому как Ирина утром уходила раньше, разбудить бы не смогла, а на завтра были намечены неотложные дела. Явочным порядком вечером явились трое — Е.Тиновская, А.Верников, юный Д.Тёткин. Который вел разговоры об «ужасе поэтического существования» и, ознакомившись с верстской новых стихов в «Знамени», говорил об их музыкальности. Надоело. Первым часов в восемь ушел Верников. Несколько раз заглядывала мама. Остальные ушли через час. Вышел провожать к лифту. Пошел домой, после десяти звонил Дозморов, поболтали около часа, посмеялись. Вернулся к родителям, долго говорили с отцом о том о сем. В частности, о покупке автомобиля. С матерью — об Артёме.

...У Бориса в марте—апреле была депрессия. Знакомый доктор дал ему новые антидепрессанты, он принимал таблетки почти до мая, кризис вроде бы кончился, но тут существует сложность: именно в это время, по выходе из депрессии, надо особенно следить за собой. Он все время сидел дома, чувствуя: что-то должно случиться, что-то должно случиться. Звал Ирину в Питер, все время думал о петербургской премии «Северная Пальмира», звонил Кушнеру, Верхейлу, его успокаивали: получишь ты эту премию непременно. Он жаловался матери: больше ни о чем не думаю.

С отцом говорили часов до трех, пока тот не принял феназепам. Борис попросил маму: если можешь, посиди со мной. Она посидела рядом с ним, он вроде бы уснул.

В эту ночь, под утро, он ушел. Петлей послужил пояс от спортивного кимоно, прикрепленный к балконной двери. И где он его нашел?..

Москва — Челябинск — Екатеринбург — Санкт-Петербург — Ялта — Москва

2014

Олжас Сулейменов

Независимость — это осознанная взаимозависимость

Политические науки пытаются выработать свою таблицу умножения, единую для всего мира, чтобы «дважды два» всюду (и на Аляске, и на Камчатке, и в Африке, и в Азии) было «четыре», а не «пять», не «пятьдесят». Чтобы минус где-то не выглядел плюсом и наоборот. Чтобы слова «свобода», «демократия», «независимость» в разных языках выражали общие для всего человечества понятия.

В Алматы, например, прошла международная конференция, собравшая руководителей сорока с лишним ООНовских и общественных организаций, таких как «Зеленый крест», «Римский клуб», «Мадридский клуб», «Конфедерации Университетов» и других, на которой обсуждалась важнейшая тема — «Новая парадигма устойчивого человеческого развития. G-global — формат глобального диалога».

В 1991-м, «зеркальном», году самораспустился СССР. Декларации о независимости приняли Верховные Советы всех «братских» республик, в том числе и Российской Федерации.

От кого зависела Россия? От республик Центральной Азии, Закавказья, Прибалтики? Да. Так же, как они все зависели от России.

Вот это состояние **взаимозависимости** мы тогда еще не разглядели и не поняли его значения.

В интервью западным газетам я тогда говорил, что считаю самороспуск СССР оправданным только в одном случае — если это приведет к образованию Евразийского Союза. Сначала — несколько государств СНГ, союз которых станет естественным продолжением Европейского Союза. А в скором времени мир увидит глобальный Евразийский Союз, от Атлантики до Тихого океана. Но проза жизни редактирует поэтические пророчества.

В 1979 году в Ташкенте состоялась очередная конференция Ассоциации писателей Азии и Африки. Я сделал основной доклад. Говорили не о проблемах поэтического ремесла, а о делах политического свойства. Зал заполняли писатели, но все они были участниками национально-освободительных движений. Некоторые из них — действующие или будущие главы новых государств. К тому времени я как член Ассоциации и заместитель председателя Советского комитета по связям со странами Азии и Африки побывал во многих странах Юга. В деколонизированных уже десять-двадцать лет тому назад и в борющихся, ждущих освобождения.

Увидел, что новым государствам независимость не принесла избавления от

Олжас Омарович Сулейменов — известный поэт, писатель-литературовед, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат.

нищеты, невежества, эпидемий, но добавила другие неожиданные трудности — трайбализм, коррупцию, деспотизм, межплеменные войны, взаимную ненависть.

Проанализировав эти явления, сделал свои выводы, которые и доложил конференции.

Ошибку идеологов и вождей увидел в том, что независимость была в их программах заявлена как конечная цель национально-освободительной борьбы: «от колониальной зависимости — к независимости».

Предложил расширить формулу Пути к Будущему новым пунктом: от **зависимости —** через период **независимости —** к эпохе осознанной **взаимозависимости**.

Состояние зависимости испытали все народы на Земле: зависимость бывает не только колониальная, но и национальная, социальная, экономическая, культурная, духовная и пр. Убежден, что период независимости деколонизированным странам надо было использовать целенаправленно для осознания своей взаимозависимости с соседями, ближайшими и дальними.

Таков естественный способ выживания и полноценной жизни человека в природе, в семье, в обществе; этноса — в кругу других этносов. Такой Путь выживания всего человечества выработала Эволюция. Нам это надо хотя бы теперь обязательно увидеть и **осознать** как главный вывод из истории вида Homo Sapiens.

Если бы марксисты дошли до такой универсальной формулы Пути, вероятно, они смогли бы развить теорию классовой борьбы в учение о классовой взаимозависимости, способствовавшей бы нереволюционному развитию обществ.

Со времени той конференции прошло тридцать пять лет. Много чего проявилось в мире хорошего и не очень. Как дела в Африке? Недавно попалась на глаза газетная информация о Зимбабве. Бывал там еще до освобождения. Помню впечатления — хорошие дороги, белостенные фермы, окруженные зелеными плантациями. Сытая, ухоженная страна. А сегодня Зимбабве — нищета, 97% безработных. Просто отчаянный приговор независимости как «конечной цели освободительной борьбы». Увы, подобную ошибку на первых порах повторили «вожди» и в некоторых постсоветских республиках. С похожими результатами.

Казахстан все 23 года продолжал дело, начатое в СССР — упорно (в школе, в вузе, в цехах, на полях, в литературе, газетах, на TV и в судах) воспитывалось осознание взаимозависимости национальностей в казахстанской нации, ее взаимозависимость с народами региона и планеты. «Нет исключительных этносов, религий, классов!» Так нам удалось все 23 года сохранять согласие в нашем доме и мир с соседями.

Мы вправе считать многонациональный Казахстан одной из успешных моделей многоэтничного, поликонфессионального мира. Таким он вступает в Евразийский Союз, в котором будет продолжать следовать своей парадигме устойчивого развития: это лучшее, что осталось в сегодняшней политике из сложного наследия СССР.

Убежден, что человечество преодолеет все нынешние трудности, если политические элиты будут в делах своих все больше руководствоваться выработанной сообща формулой Пути в Общее Будущее. Начиная с понимания того, что **осознанная взаимозависимость** — это и есть настоящая **независимость** государства, нации, человека.

Алматы, ноябрь 2014

Андрей Пустогаров

Предсказанный ад

Те, кто постарше, наверняка еще помнят статью В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», которую проходили на уроках литературы в старших классах средней школы. Сейчас цитировать Ленина и ссылаться на него не принято. Но все же давайте попробуем. «Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Но ... если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях».

На наших глазах разворачивается украинский кризис, который часто называют украинской революцией. Сравнив украинскую жизнь конца XX — начала XXI века, с характеристиками, которые Ленин дал последней трети XIX века мы заметим немало общего. «Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать... с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс...»

Заменим «патриархальная деревня» на «украинское общество», а «крестьянский» на «советский» и мы получим достаточно точную картину жизни постсоветской Украины.

«...века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на месте полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному "христианскому анархизму", как оценивают иногда "систему" его взглядов».

Тоже очень похоже на путаную идеологию украинского Майдана.

Что касается «зеркала», то, чтобы не сравнивать напрямую сорокалетнего Сергея Жадана со Львом Толстым, скажу так: вероятно, эти «горы ненависти, злобы и отчаянной решимости» ищут зеркало, которое бы их отразило.

На Украине таким зеркалом, не только отразившим, но и предсказавшим многое в украинском кризисе, оказался один из наиболее талантливых украинских писателей Сергей Жадан.

Причем определение «христианский анархизм» хорошо подходит для описания его взглядов. Достаточно вспомнить книгу Жадана «Anarchy in the ukr».

Если не сообщать читателю даты, то он вполне может решить, что Жадан написал нижеследующие строки не до, а во время или после соответствующих событий.

Вот он, Майдан:

...Я готов устраивать городские пожары,
чтоб она оценила мою отвагу.
Я готов блокировать власть городскую,
и в портвейн превращать озёрную воду...
Я готов устраивать на её улице забастовки,
чтобы ближе быть к её нежности и злости лютой...

(*«Женщина с чёрными как земля волосами...», 2011*)

Она хорошо держалась на исповедях, на допросах, в судах.
Она говорила: лучше винтовка в руках, чем кресты на вратах.
Когда она произносила слово *любовь*, я видел кровь у неё на зубах.

(*«Она смеялась во сне», 2013*)

А вот и батальоны, которые после расстрела на Майдане ведет «наша горечь и злость, наша боль»:

...на морозе вздымалась от ртов анаша,
и бойцы поближе жались к огню,
набивая привычно рожки калаша.
...сберегая захваченный груз, отбивая конвой,
сохраняя контроль над мостами через реку...
...есть кому воевать у пристрелянных трасс,
биться есть кому в наших свирепых рядах.
Пока духи и мертвые входят в наши ряды,
нас Спаситель любой не удержит, любой Аллах.
Всё проходит, сестра, вечны только следы
от шрапнели и пуль на наших чёрных телах.
И пусть м*е*сти науку изучит твой мальчуган,
пусть научится жить среди наших земель.
И, порывшись в своём рюкзаке, капитан
положил заводской ТТ на постель.

(*«Мы приехали ночью...», 2012*)

В боях на Донбассе, как известно, полегло много молодежи, отправившейся защищать «украинскую идею». Еще в 2003-м Жадан написал свой «Крестовый поход детей»:

...припоминаешь,
кто год назад в это время был еще жив,
кто уже знал, что болен,
кто догадывался о ждущей смерти.
Неотступные призраки мертвых в пять утра на ступеньках в подъезде,
неотступные лица телевизионных ведущих во сне,

смерть, как правило, приходит именно в такое тихое утро, разнося запах
мокрых овощей и йода.
...Не зная страха в своих бесконечных уличных приключениях,
не боясь заступить за межу,
за которой начинается большая дьявольская пустошь,
они просто шли в этой жизни, перемещаясь
от одной ярко освещённой витрины к другой.
Теперь ты видишь, во что превратились наши барабаны и наши флаги,
как зачищены наши небеса от всех неприкаянных духов,
что наполняли их;
поистрепались походная одежда и скаутские ботинки
и у твоего мальчика вытерлась на плече кожанка —
то ли от крыльев, то ли
от ремня автомата.
Но слышишь, как они откликаются
с той стороны, между четырьмя и пятью утра...
и в подъездах после них
остается запах йода,
то есть запах смерти...
в этих городах не могло
случиться по-другому, раз уж за дело
взялись негодяи и дезертиры,
бесы и оборотни, что прятались
в наших детских шкафчиках...
только патрульные вертолеты
бьют хвостами
по придорожному небу...

Ну и какая же гражданская война без беженцев с пожитками и дезертиров? «Дезертир» датирован 2007-м:

...я проходил через поля, где растет кукуруза несдавшейся Европы...
среди беженцев с пожитками, бродячих дезертиров, циркачей,
дербанивших склад***ы*** бундесвера...»

И дальше:

однажды среди осени,
когда в страну сквозь заводские трубы ворвутся бесы,
течение жизни снесёт меня прочь
от заводов и теплых жилищ,
с их дезертирским скарбом, детскими подушками,
игрушечными тележками.

Процитируем опять Ленина (заменив в уме «крестьянство» на «украинское общество»):

«...крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе... Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы».

Жадан, видимо, не обольщался относительно руководителей «украинской революции».

Вот из стихотворения «Ляшко» — это 2011 год:

Депутат без неприкосновенности, словно парусник без ветрил,
пока ты выпендриваешься перед избирателем, кто-то суёт в твой багажник тротил,
у страны серьёзный бюджет под серьёзный распил,
но попробуй-ка поделить это бабло на полтысячи рыл.

Или:

... помни, если система и открывает двери,
то только затем, чтоб тебе прищемить пальцы
(*«Адвокат трансвеститов», 2000*)

Но для того, чтобы отразить или предсказать, наверное, надо и самому оказаться в шкуре своих героев. Жадан был активным участником харьковского Майдана и даже пострадал при стычках за здание Харьковской администрации.

В ноябре же 2014 года на страницах украинских интернет-СМИ произошла полемика между Жаданом и критиком Александром Бойченко. Не буду останавливаться на ее политическом аспекте (замечу только, что позиция Бойченко вполне неорасистская, ну да кого этим удивишь на сегодняшней Украине? Жадан выступил против зачисления своих донбасских земляков в «питекантропы»). Сконцентрируюсь на литературной стороне. Бойченко считает, что это герои произведений Жадана выступают сейчас на стороне ДНР и ЛНР. Он даже упрекает Жадана, что «никто в нашей литературе не поднимает так последовательно и на такие метафорические высоты разнообразных лишенных исторической перспективы олигофренов».

Попробуем разобраться, на чьей же стороне воюют сейчас герои прозы Жадана. В 2011 году в «Дружбе народов» (№4) была опубликована моя заметка о вышедшем в 2010-м романе Сергея Жадана «Ворошиловград», который в прошлом году жюри украинской службы ВВС назвало лучшей книгой десятилетия. В предыдущих прозаических книгах Жадана читатель вместе с автором наблюдали за «хаотическим блужданием... то харьковских молодых алкоголиков начала 90-х ("Депеш Мод"), то капитанов украинского мелкого и среднего бизнеса нулевых ("Гимн демократической молодежи")... Похождения ...героев вызывали лишь желание, чтобы эти герои живыми и без тяжелых телесных повреждений выбрались из неприятностей, в которые сами себя загнали». Главный герой «Ворошиловграда» Герман делает попытки отыскать хоть какие-то ориентиры в этом видимом хаосе. Он задается вопросом: «Вся эта банковская сволочь, менты, бизнесмены, молодые адвокаты, перспективные политики, аналитики, собственники, блин, капиталисты — почему они ведут себя так, будто их прислали сюда на каникулы? Почему они всё за собой выжигают?» Герой вступает в борьбу за бизнес своего брата — бензоколонку, которую пытается «отжать» местная мафия. И приходит к следующему выводу: «Случилось так, что вы живете тут все вместе... Вы воюете друг с другом, не понимая главного — на самом деле вы не враги друг другу, вы воюете сами с собой. Вас стравливают, заставляют воевать, ослабляя и делая беззащитными». Финал у романа открытый — не ясно, победит или проиграет герой в своей борьбе. Позволю еще автоцитату: «Но задумаемся над вопросом — а что случится, если Герман одержит победу, и никто не будет мешать ему и его команде в их бензозаправочном бизнесе? Тогда выяснится, что ...бизнес этот ...является частью системы транснациональных корпораций. Ведь именно от таких корпо-

раций получает заправка Германа бензин и затем разливает его в баки проезжих дальнобойщиков, которые везут на Украину импортный товар, поставляемый такими же транснациональными корпорациями. (По данным статистики, Украина производит только 10% тех товаров, которые потребляет ее население.) То есть настоящая проблема — сохранить для себя и своих соотечественников возможность осмысленной жизни, не превратившись в клерков, послушно выполняющих исходящую сверху корпоративную волю... Иными словами, надо сохранить самостоятельность — экономическую, политическую etc — обеспечив своей стране развитие, а не превращение в источник сырья и дешевой рабочей силы».

Герою Жадана подобные мысли если и приходили в голову, то он ничего не сказал о них читателю. В целом борьба главного героя за бензоколонку вполне укладывалась в идеологию Майдана — прогоним банду Януковича, заживем, как в Европе. Герои Жадана оказались на Майдане, недовольные «отжатием» бензоколонки или закрытием торговли джинсами с лотка. При этом они не догадывались, что дело вовсе не в «преступной банде Януковича», а в процессе монополизации экономической жизни. Янукович-то как раз пытался не допустить в страну иностранные монополии, за что, похоже, и пострадал.

Заметка, которую я цитирую, называлась «ВорошиловгрАД, который всегда с тобой». (Напомню, Ворошиловград — советское название Луганска. Жадан родился и вырос в Ворошиловградской области). Действие романа происходит на границах ада, населенного погибшими в «лихие 90-е» друзьями молодости героя. Оттуда они порой приезжают на товарищеские футбольные матчи с местными газовиками. «И до ворошиловградского буддиста Жадана было известно, что нирвана и сансара (земная жизнь) тождественны. Но Жадан добавляет: ибо обе они — ад», — прокомментировал тогда я. Вот украинцы вместе с Жаданом и считали, что живут в форменном аду, устроенном «бандой Януковича». Настоящий ад, предсказанный Жаданом, начался, однако, позже, когда «ворвались бесы», а герои отправились бить из пушек по городам Донбасса.

Вернемся к Ленину: «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности...»

Да, все это отразил и Жадан. Отразил достаточно честно. Да еще и отправился вслед за героями, оказавшись, перефразируя Ахматову, со своими героями там, где его герои, к несчастью, были.

Пожелаем им сохранить здоровыми тело и душу.

Сергей Жадан

Спроси, что про всё это думает Творец

С украинского. Перевод Андрея Пустогарова

* * *

И женщина с чёрными, как земля, волосами —
она столько лет знакома со мною —
совсем не тревожась, живет себе с нами
меж утренним светом и вечернею тьмою.

Среди железа и деревьев с горячей листвою,
среди стен и птичьих гортанных криков,
среди подземных русел с подводной травою,
среди своих снов и своих фриков.

Она ходит на стадионы и на базары,
пряча в куртке своей телефон и флягу.
Я готов устраивать городские пожары,
чтоб она оценила мою отвагу.

Я готов блокировать власть городскую
и в портвейн превращать озерную воду,
чтоб она, вспоминая что я существую,
писала мне письма про жизнь и погоду.

Я готов устраивать на ее улице забастовки,
чтоб быть ближе к ее нежности и злости лютой,
чтобы слушать, как она врет неловко,
про то, с кем спит и кого она любит.

Я придумаю новые буквы и знаки препинания,
я убью поэтов всех устарелых,
чтоб она забыла прежние знания,
чтобы слушала тишину и во тьму смотрела.

Или в небо, зелёное после холодных буден.
И в дожде пусть потонут памяти бредни.
Пусть забудет про все,
и меня пусть забудет,
но меня пусть забудет последним.

* * *

Некоторые лучше выглядят летом, некоторые — по весне.
Но ее нельзя было не заметить — она смеялась во сне.
Я подумал: она вгрызается в мою кожу так легко по сравненью с другими.
Если она когда-нибудь проснётся, хорошо бы узнать ее имя.

Хорошо бы узнать, откуда она приходит, куда пропадает в ночи?
Кто живёт за той дверью, к которой подходят ее ключи?
Почему она ничего не помнит, ничего не знает заранее?
Если бы патруль проверил ее карманы — получил бы новое звание.

Если бы она написала книгу про каждую из своих ран,
книга имела б такой же успех, как тора или коран.
Мужчины читали бы эту книгу, чувствуя свою вину,
и жгли бы ее на площади, прежде чем развязать войну.

Мужчинам не стоит знать про последствия, им довольно причин.
Получить всё и превратить в ничто — вот повадка мужчин.
Когда они говорят о совместном, имеют в виду лишь себя.
Лучше не говори с ним о том, что будет — потеряешь то, что есть у тебя.

Но она просыпалась, и все начиналось тогда.
Она хорошо держалась на исповедях, на допросах, в судах.
Она говорила: лучше винтовка в руках, чем кресты на вратах.
Когда она произносила слово *любовь*, я видел кровь у нее на зубах.

Берегите ее, ангелы, берите ее под крыло, храните в своей руке.
Скажите ей, пусть сохраняет спокойствие, входя в очередное пике.
Пусть вернёт мои рукописи, мое горючее, мой пот на спине.
И спросите ее при случае — помнит ли она вообще обо мне?

* * *

Мы приехали ночью, продвигаясь сквозь тьму
караваном из трех грузовиков,
обойдя перевал, что лежал в дыму
и простреливался одним из пехотных полков.

Во дворе было слышно соседей и всю их родню,
на морозе вздымалась от ртов анаша,
и бойцы поближе жались к огню,
набивая привычно рожки калаша.

И все женщины, что стояли внутри,
от дверей отступили, впуская нас,
и держали большие армейские фонари,
отгоняя тени от скул и от темных глаз.

Капитан говорил ей: сестра, все пути,
засветились во тьме на подъемах крутых,
чтоб могли к вам сюда пастухи добрести,
допивая упрямо из фляжек своих.

И потоки, сестра, и речушки в снегу,
что застужены, словно горла детей,

все горят серебром, даже звёзды вверху
загустели сейчас эхом добрых вестей.

Твой малыш подрастет и расскажет, в чем соль,
что случится ещё, назовет наперед,
будет в нём наша горечь и злость, наша боль,
что заводит нас, объединяет, несёт.

Слушать будут его зверь, и птица, и полоз речной,
ему хватит любви быть всегда начеку,
сберегая захваченный груз, отбивая конвой,
сохраняя контроль над мостами через рек***у***.

И пока рождаются дети от нас,
пока дети растут еще в этих краях,
есть кому воевать у пристрелянных трасс,
биться есть кому в наших свирепых рядах.

Пока духи и мёртвые входят в наши ряды,
нас Спаситель любой не удержит, любой Аллах.
Все проходит, сестра, вечны только следы
от шрапнели и пуль на наших черных телах.

И пусть м***е***сти науку изучит твой мальчуган,
пусть научится жить среди наших земель.
И, порывшись в своем рюкзаке, капитан
положил заводской ТТ на постель.

И все мы, что стояли у него за спиной,
доставать стали следом ножи, амулеты, пруты,
кто-то вынул наваху с рукояткою костяной,
и назад отступил, чтоб другие могли подойти.

Там уже было золото — видели мы —
и фарфор, и бронза, и куча теплых вещей,
и стояло за окнами чёрное небо зимы,
и в него подымались дым***ы*** от печей.

И тогда одна из женщин ушла с фонарём
в снег глубокий, словно ведьма с луной.
Пастухи и бойцы шли за нею гуськом,
не проваливаясь, словно бы над водой.

Дезертир

Я брал из воды только солод и лёд,
я проходил через поля, где растет кукуруза несдавшейся Европы,
там, среди беженцев с пожитками, бродячих дезертиров, циркачей,
дербанивших склад***ы*** бундесвера,

я начинал с того, с чего и надо было начать —
еще пара дней и никто уже не в силах будет
повторить эту зелень с темным соком внутри;

сколько раз я прибивался к ним и вместе мы перегоняли стада темноты,
они останавливались в утреннем городе
в форме французских волонтёров,
патрулировавших дороги во время балканской войны.

Двигаясь в их неспешных рядах,
я брал с их ладоней лишь рыбу и листовки,
уже тогда зная —

однажды среди осени,
когда в страну сквозь заводские трубы ворвутся бесы,
течение жизни снесёт меня прочь
от заводов и теплых жилищ,

с их дезертирским скарбом, детскими подушками,
игрушечными тележками. И, зная наперед,
чем все кончится, я говорю тебе именно теперь —

что я ни делал, за что ни брался,
я бил в барабаны и выбивал себе мозги из стартовых пистолетов,
чтобы ты услыхала эту стрельбу в ночном воздухе.

Однажды это происходит,
и твои волосы темнеют по осени,
когда солнца становится меньше,
когда раньше темнеет,
и вода у тебя на ладонях — приручeнная тобой вода —
прячет в себе голоса кукурузной листвы —

однажды они соберутся вместе и попробуют помочь:

— Всё у них только начинается — скажет один.
— Да, — кивнёт другой, — они думают, что смогут начать все сначала.
— Но слова их рассыпаются на гласные и согласные.
— И сквозь их молчание катятся воинские эшелоны.
— Он неуверенно показывает ей зарубки у себя на руках.
— Она шёпотом рассказывает ему о своих.
— Потому что он слишком хорошо все помнит.
— Потому что у неё такой чуткий голос.

* * *

2015 год.
Свет состоит из открытых век.
На тебя смотрит тысяча очей.
Что у тебя с собой из личных вещей?
Если этому небу судилось сгореть,
какая разница, в какой из печей?

2015-я зима.
Смерть никогда не приходит одна —
за плечом ее память видна —
ею болеют, от неё сходят с ума.
Ты видишь — я выжил, у меня два сердца,
сделай что-нибудь с ними двумя.

Всё, что известно мне:
свет рождается у ночи на дне,
прошлое образовано прозой и стихами.
Объективная реальность — разговор с мертвецами.
Мне мешает только то, что я выжил.
Дело не в принципах, дело в цене.

Свет сделан из слов,
из чёрных лексем, семантических узлов.
Среди желтых цветов и неспешных комет —
идеальное место, чтобы встретить смерть.
Хочешь найти вариант спасения —
ищи там, где ему наложили шов.

40 лет зимы.
Осень волочит тебя сквозь дымы,
Зима добивает тебя ногами.
Хорошо — когда не все безнадёжно с нами.
Свобода в том, собственно, и состоит —
добровольно войти в дверь тюрьмы.

Это ещё не конец,
В воздухе тысяча бьётся сердец.
Каждое — тёплое, лечению не поддается,
Каждое — за тебя бьётся.
Когда говоришь о равенстве и братстве,
Спроси, что про все это думает творец.

Спроси, почему он затих.
Церковь — лишь некоторое число святых,
а также отмоленных, а также убитых.
Кому я должен быть благодарен за каждый свой выдох?
Их не то что нет рядом —
их нет в живых.

Сохраняются всё и все:
ординаторские и КПЗ,
трапезные, литерные — безо всяких условий.
Те, кто клялся на уличной крови,
кто умершим обещал, что уладит всё.
кто обещал живым, что сохранит и спасёт.

Все остаётся тут.
Тёплый грунт, золотой мазут.
Небо над городом — тёмное, как ожог,
знает свой возраст, свой ведёт каталог,
дотрагивается до листьев, дотрагивается до цветов,
до женских лиц и детских простуд.

* * *

Прифронтовой город накануне Рождества.
Все в церковь идут, никто не знает слова.
Повторяют за усталыми святыми отцами,
переговариваются с самоубийцами и мертвецами.
Снег чернеет, как отрубленная голова,
Мария поет с сиротами и вдовцами.

Церковь делает нас похожими на детей —
что нам нужно еще, кроме добрых вестей?
Поем псалмы, сражаемся с сатаною,
слушаем волчий вой зимы у себя за спиною.
Ухают пушки в степи, хозяйка зовет гостей,
сонные волы просыпаются за стеною.

А смерть поджидает на улице, знает, где мы стоим,
не торопясь, читает свиток с писаньем святым,
хмуро комментирует теплые апостольские послания.
Слишком много сомнений, говорит, у апостолов в их деяниях.
В нашей вере, ей кажется, маловато тепла,
На вашу любовь, говорит, не хватает зла.

Стоят с псалтырями в руках старейшины и мудрецы,
за ними стоят полковники и командиры-отцы,
писари, денщики, пушкари, пехота стоит боевая,
встают вроде в круг, но в одиночестве застывают,
беззаветные знаменосцы, отважные бойцы,
ждут у алтаря, как на остановке трамвая.

Радуются жители, пришедшие из окрестных сел,
на горожан покой из последних сил сошел,
радуются дьяки, лирники и бандуристы,
внизу поют мироносицы, поют наверху хористы,
Гости садятся важно за праздничный стол.
Не попадают в ноты штрафники и штабисты.

Кто из вас уцелеет этой зимой, мужики?
Кто из вас выйдет с той стороны реки?
Кто упадет на снег, кто под лёд
плотью кормить озябшую рыбу пойдёт,
поить кровью своей солончаки,
тормозя над собою птичий полёт?

А смерть поджидает в поле, не входит в дом,
к смерти подходит мальчик и говорит ей — идем,
идем — посмотришь наше хозяйство, наш двор,
покорности и страха нет у меня с давних пор.
Столько света в просторе вокруг золотом,
его хватит для птичьих гнезд и змеиных нор.

И столько их здесь стоит — весёлых и нет.
Но пока между ними виден её силуэт,
пока она поёт вместе с ними,
с весёлыми, с грустными — с любыми,
смерти нет, нет несчастий и бед.
Горят огни,
засыпают волы,
длятся зимы.

Станислав Секретов

Обыкновенная трагедия

Едва ли не самым обсуждаемым романом ушедшего года стала «Обитель» Захара Прилепина. В список главных книг года нынешнего непременно должна войти «Зона затопления» Романа Сенчина. Главы из нее публиковались в «толстых» журналах, среди которых «Дружба народов», «Новый мир», «Сибирские огни», «Октябрь», «Наш современник» и «Информпространство».

Параллели с «Обителью» неслучайны: оба автора занимаются художественным осмыслением сложных эпизодов новейшей истории России, ранее уже становившихся предметом книг именитых писателей. Роман Прилепина критики сопоставляли с трудами Солженицына о Соловках, «Зоне затопления» Сенчина не избежать сравнений с повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой».

Рассуждать о преемственности мотивов можно долго. Основа повествования та же: после запуска новой гидроэлектростанции (у Распутина — Братской, у Сенчина — Богучанской) на дно образуемого водохранилища должны уйти старинные сибирские деревни, в которых живут тысячи семей. И теперь им навсегда предстоит попрощаться с малой родиной и традиционным укладом, переселившись в бездушные города. Чтобы снять лишние вопросы, Сенчин в главке-новелле «На новом месте» вложит в уста своего героя Алексея Брюханова слова о Распутине и его книге: «Читал и поражался: как после нее, так зримо показавшей ту уже давнюю трагедию, такая же трагедия может повториться? И чем объяснить, что, с одной стороны, этому писателю именно за эту книгу продолжают давать государственные премии, называть его *нашей совестью*, а с другой — строить новую, но точно такую же электростанцию, водохранилище которой уничтожит еще несколько деревень, а их жителей превратит из хозяев в унылых квартирантов?.. <...> В школе учительница часто повторяла: “Литература учит. Учит, как надо, а как не надо, что хорошо, что плохо” Да, может, и учит, да толку-то...». Выходит, что история повторяется и тема не теряет своей злободневности. В каждой главе «Зоны затопления» Сенчин говорит об острой несправедливости, царящей в обществе. Молодожены, получившие от государства отдельный, только что построенный коттедж в городе взамен крепкого деревенского дома, подлежащего сожжению, обнаруживают, что стены в новом жилище сделаны едва ли не из картона, обои отклеива-

---

Роман Сенчин. Зона затопления: В чужую землю. — «Дружба народов», 2013, № 12; Перед судами. — «Дружба народов», 2014, № 4; Чернушка. — «Новый мир», 2014, № 4; Эксгумация. — «Сибирские огни», 2014, № 7; Миражи на дне. — «Октябрь», 2014, № 8; На новом месте. — «Наш современник», 2014, № 11; Последняя баня. — «Информпространство», 2015, № 1 (187); Идет вода. — «Дружба народов», 2015, № 2.

ются, а хлипкие оконные рамы вот-вот выпадут. Три поколения одной большой семьи местные власти пытаются запихнуть в одну общую скромную квартиру только из-за того, что все были прописаны вместе. А оборудование пилорамы, дающей средства к существованию сразу нескольким людям, перевезти в город запрещают: земли нет, компенсация не положена, так что освобождайте территорию. Неудивительно, что у отчаявшихся персонажей появляется страшное желание — «уснуть и не проснуться».

Мотив смерти — константа в «Зоне затопления». Смерть Натальи Сергеевны Привалихиной в главе-рассказе «В чужую землю» (в названии — очередная отсылка к Распутину) — «первый звоночек» для обреченного села. Сенчин невероятно внимателен к деталям. Его описания привычек, чувств, мыслей деревенских жителей, готовящихся к гибели села, вызывают настоящую горечь. Героев «Зоны затопления» искренне жаль, за них болит душа — редкое чувство при чтении современных романов. Страдающих героев других книг жалеть хочется далеко не всегда— они сами виноваты: полюбили не того, были излишне любопытны, выбрали неправильный путь. К тому же большинство прозаиков дает собственным персонажам второй шанс. Сенчин в этом плане остается верен себе: шансов на спасение нет — плохо будет всем. Эта авторская стилевая черта переходит у него из книги в книгу, как переходят и слова конкретной тематической группы: тоска, обида, пустота... Обратимся к предыдущему сборнику писателя «Чего вы хотите?» — без труда отыщем их в текстах любой из трех повестей.

Сенчин — мастер аналогий. Устраивая на страницах «Зоны затопления» экскурсы в историю, он извлекает на свет много любопытных эпизодов. Есть сопоставления и в персонажах. Например, в главе-рассказе «Чернушка» два главных героя: одинокая семидесятипятилетняя вдова Ирина Викторовна, прощающаяся с домом и огородом, и ее десятилетняя курица Чернушка — умная, словно собака. Когда по всей деревне дохли куры, Чернушка выжила. Выживала и после тяжелейших болезней. Но сможет ли выжить Ирина Викторовна в городе? Увы, автор по традиции настроен пессимистично. В главке «На новом месте» описывается жизнь семьи переехавшего в городскую квартиру Леши Брюханова. Переселенцы, зажатые в одной бетонной коробке, никак не могут привыкнуть к новой жизни. Юная дочка Алексея задает отцу вопрос: «А почему вы не стали сопротивляться, когда сказали, что нужно уезжать?» И вновь больная тема общественной несправедливости. Поставленным в непростое положение простым людям никто не хочет помочь. За редким исключением.

Показательна эволюция героини главы-новеллы «Миражи на дне» Ольги. Журналистка загибающейся провинциальной газеты, впервые приехав в зону затопления по заданию редакции, общается преимущественно с большими начальниками и строителями ГЭС, не понимая деревенских: «Зачем эта добровольная ежедневная борьба за существование», если жить в городе среди благ цивилизации попросту лучше и комфортнее? Но постепенно Ольга знакомится с историями жизней людей и начинает видеть, что рушатся не только традиционный уклад, но и человеческие судьбы. Из рядовой журналистки героиня превращается в идейную правозащитницу. Ценна эта главка и глубиной сравнений. Приехав к персонажам своих публикаций в последний раз, Ольга видит, что от богатого села осталось всего четыре «осажденных» дома и выжженная земля, и

вспоминает фильм из детства, в котором фашисты во время Великой Отечественной уничтожают советские деревни.

Психологически наиболее тяжелым в книге рассказом можно назвать «Эксгумацию». Страшная суть — уже в названии: перенос кладбищ из зоны затопления — тревожное дело. Новелла напитана горем: по берегам разлившейся реки — мертвые деревни, колодцы — главное сельское сокровище — безжалостно уничтожены, островок, где молодежь устраивала романтические свидания, исчез, уйдя под воду. Сенчин поднимает очередную актуальную проблему. Нынче с экранов постоянно твердят о недопустимости переписывания истории. Тем не менее, даже если кто-то и позволяет себе с высоких трибун заявлять, что, к примеру, Красная армия оккупировала Украину, а бравые украинские солдаты героически освобождали Освенцим, уничтожить правду все равно не выйдет. Но как быть не с переписыванием, а с физическим уничтожением истории? История соткана из мелочей. Плывя по образовывающемуся на его глазах водохранилищу, герой «Зоны затопления» Леша Брюханов видит, как эти мелочи стираются, навеки исчезая из истории. Народ лишается не только родных домов, но и прошлого. И перенос захоронений ничего и никого не спасет. Кто-то раньше срока уйдет из жизни, не выдержав острых переживаний, кто-то сломается и сдастся, быстро превратившись из молодого борца в старика — старика, плывущего по течению жизни и наблюдающего за мертвящем течением рукотворного потока-убийцы. Победителей нет. Как нет и ответов на вечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» Брать на себя ответственность по-прежнему желающих не находится.

Роман Сенчин, как и Валентин Распутин, — лауреат премии Правительства России. По идее, его тревоги, его голос слышат люди, принимающие решения с большой буквы. Слышат, но не всегда слушают. Значит, боль так и не утихнет...

Ирина Василькова

Миф как миф

Не все пишущие стихи считают необходимым выстраивать из них целое. Составление книги — искусство объемное, подобное архитектуре, говорить только о поэтике, языке автора, влияниях и шлейфах — значит не видеть всего здания. В этом смысле Ирина Ермакова — поэт в какой-то мере непрочитанный. Тому доказательством, например, реакция на ее предыдущую книгу «Алой тушью по чёрному шелку». «Простой» читатель в массе своей

Ирина Ермакова. Седьмая: Книга стихов. — М.: Воймега, 2014.

отнесся к этим ста восьми танка, как к красивым камешкам, уложенным в не менее красивую японскую коробочку, и по очереди любуется каждым. Критики, сосредоточившись на структуре книги, упускают из виду сквозную поэтическую идею. По-своему прекрасная рецензия Елены Погорелой (*«Арион», 2012, № 2*) абсолютно точно фиксирует прививку к русскому языку элементов японской культуры, сапфические мотивы, культурный сквозняк, возвращение к условности, но совершенно не касается того, что в стихотворном пространстве создается новая целостность: книга построена как эротический роман с двумя героями, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, с развернутым во времени трагическим сюжетом. Не увидела никакого сюжета и другой рецензент — Мария Галина. С ее точки зрения это всего лишь «мягкая насмешка, обращенная к общекультурному представлению о "японском"», а то и вовсе «прелестная "валентинка"» (*«Новый мир», 2012, № 5*).

Об особенностях поэтики Ирины Ермаковой и высочайшем уровне версификации, как и о постоянных отсылках к античности, естественно вплетающихся в живую ткань речи, писали уже неоднократно — все это «кирпичики». У книги стихов другой масштаб: автор возводит конструкцию, которой предназначено быть моделью мира. Хочется осмыслить целое, которое выстроено в «Седьмой». И тут я сильно рискую. Ермакова — поэт герметичный, избегающий прямых высказываний, «моралей», объяснений. О стихах подобного рода очень точно выразился однажды Леонид Костюков: «... есть специфическое содержание поэтического высказывания — нечто невербальное: настроение, ощущение, возможно — мелодия, возможно — зыбкий образ или контур. Неважно, как мы опишем это вне поэтического акта, главное — это содержание невозможно транслировать иначе, как через стихотворение». В таких стихах нет кончика нитки, потянув за который, размотаешь весь клубок, но присутствуют слова-маркеры, позволяющие догадаться, в какую сторону на этот раз движется работа души. Трудность в том, что большинство стихотворений Ермаковой не поддаются препарированию, сопротивляются, их невозможно «рассказать», а те ассоциативные связи, которые включаются при чтении, у разных читателей оказываются разными. И все же попытаюсь.

«Седьмая» построена на магии числа семь. Она у автора седьмая по счету, в ней семь глав (отметим эти *главы* в *поэтической* книге), в каждой главе по семь стихотворений (кроме последней, но тут особый смысл, и о нем позже). Что это — игры с фольклором, где семь — число сказочное, счастливое, или с физикой — семь цветов спектра?.. Каждую «семерку» завершает набранное курсивом стихотворение, имеющее сложную функцию — это квинтэссенция сказанного, комментарий, подсказка и мостик к следующей главе. Вся непростая конструкция окантурена «рамкой» из вступления и послесловия, к сюжету прямого отношения вроде бы не имеющих.

Первые строки вступительного стихотворения: «Как я жила до сих пор, ничего не зная, вечно за целый свет принимая части». Дальше почти невербализуемые ощущения: вспышка — огненный полет в чью-то ладонь (на тот свет?) — и спуск на этот. Во всяком случае, теперь есть рабочая гипотеза: путешествие лирической героини (или проще — души?) туда и обратно.

Ермакова разворачивает поэтический сюжет своей книги в мифологическом пространстве — как путешествие «на ту сторону» с целью найти

«то, не знаю что» и вернуться обратно— не просто живой и невредимой, но обогащенной чем-то новым и ценным. Конкретная цель просматривается — найти возможность соединения света, разбитого на части, в одно целое. Отметим, кстати, полисемантику образа: свет — это, с одной стороны, физическое понятие, поток фотонов, с другой— весь мир, а с третьей — метафора добра.

Глава первая так и называется — «Части света». Тему разбитости, фрагментации высвечивают несколько ключевых мотивов и образов, мрачноватых и дискомфортных. Пугают иероглифы-кузнечики, горохом сыплющиеся из книги: «Никому ничего объяснить невозможно. / Все — другие. Даром, что так похожи». Холодит до мурашек «малютка-смерть», что изначально живет и растет в каждом человеке. Тоскует душа, вынужденная живописать «подробности железныя», а то и вовсе сбегающая из тела, но узнавшая, что и «там» ничуть не лучше. Ключевое стихотворение здесь — «Перекресток». «Двойного зренья фокус точный» позволяет автору не только ощущать себя на перекрестке двух миров, но видеть их «сдвоенное чудо». У Ермаковой миры пересекаются, ей видны одновременно «и горний ток и дольний рев», однако в отличие от пушкинского пророка у автора своя позиция — вовсе не «глаголом жечь». Но какая? В итоговом стихотворении улетают по воздуху люди — как журавлиный клин. «И чтоб уцелело вернулось осталось / Давай их любить». Это первый шаг к тому, чтобы собрать разрозненные части.

Вторая глава — «Любовь и другие» (мотив «все — другие» уже появлялся в первой главе — книга прошита насквозь несколькими красными нитями). Сначала мифологический Эрос браво всаживает Танатосу стрелу под лопатку. Смерть побеждена? Но... любовь оборачивается то избитой беременной Любой, которой только и остается «держать лицо» среди невыносимостей жизни, то неким человеком, про которого не поймешь — «Божий промысел или хлам Божий», то бабой Ганей, свихнувшейся от потери любимого кота, то плачущей над тазом варенья тульской гейшей Таней... Маркиз де Сад подвязывает розы в тюремном саду. Приплясывает бомжонок с кукурузным початком в зубах — этот слышит музыку даже в канаве, где приходится ночевать. И в качестве страшного фона — «в постоянном поиске урчат темноты зубчатые колеса»... Эрос слаб, Танатос непобедим, любовь никого не спасает, потому что она просто ни у кого не получается. Никто не умеет любить. Тьма кромешная. Отчаявшаяся героиня умоляет стучащий в окно дождь: «я ведь тоже вода, забери ты меня отсюда». И тогда, согласно структуре сказочного сюжета, волшебный помощник разбивает стекло, унося героиню «в самый полный Свет», где ее ждут все живые, — на «ту сторону», в царство мертвых, символом которого в книге является вода.

Третья глава так и называется — «Волна». Это волна, которая смыла всех. Здесь много разноплановых образов: взрыв на кольцевой станции метро, общий хор мертвых и живых (влиться в него лирической героине удается далеко не сразу), а еще святки, когда вспоминаются ушедшие любимые люди: «Столько любови вашей во мне, родные». Видения давно ушедшего детства, где бабушка рассекает «в небесах замерзшее молоко», и мальчики в глазах не кровавые, а солнечные. В этой же главе посвящения ушедшим друзьям — Александру Башлачеву и Татьяне Бек. И пронзительное стихотворение о травах и ветре, который «делит по ним идущих на правых и

правых, делит лежащих под ними на атомы рая». Кажется, героиня уже спустилась на самое дно Аида:

Всем-всем-всем
чего-нибудь не хватает
легионы локтей
и ртов и глаз
сводный хор
фрагментов людей
распевает
что история человечества
не удалась

И тогда она обращается к Господу с просьбой сделать из нее

Своего человека
хоть одного
целого веселого летнего человека
кому
не надо ничего

(*«Фонарики»*)

Это поворотный момент — именно эти слова срабатывают, как заклинание. Не просить ничего — и тогда испытание пройдено, трансформация совершилась, можно возвращаться. «Продираешь глаза — ну и ночка была». Здесь очень к месту появляется мотив воды мертвой и живой. Героиня умирала, прошла через тот свет и вернулась в белый день, к этому свету. И вернулась не просто так, а с найденной на той стороне потерей: «А говорил: никто никого не любит», то есть обогащенная новым пониманием или ви́дением происходящего.

Четвертая глава — «Световорот». Любимый ермаковский образ, нарастание темы света с многочисленными вариациями. Но начинается здесь все неожиданно. Катится по свету голова — оторванная, но живая — «лишь бы не заплывала телом опять душа». Цитата, отсылающая к Гоголю, слишком афористична для столь фантасмагорического стихотворения, но — маркер. Дальше — свет, свободно текущий сквозь щели, сквозь щемящие подробности жизни: «Световой завой. 58-й. Подмосковье / Миф как миф. Прочти его еще раз». Больничный лифт на небо — и привет от М. Кузмина («Я всегда была счастливее всех в Египте»). Египетский бог Тот — луч, распоровший тьму, сотворивший письменность и культуру. Сахалин — трудный подъем на скрипучей канатке, чтобы увидеть океан с самой верхней точки. Световорот на Русскомострове. И завершение — над головой легкий веселящий дух крутит огненную восьмерку. «Что б там ни было впереди / Не печалься — лети».

В пятой главе — «Пролетом» — все, конечно, о том, что «все мы тут из пустоты в пустоту пролетом». Главный вопрос — как с этим жить и что от нас остается. Эта глава целиком о творчестве, об искусстве, о «порочной нежности к жаркой красной глине». Ars poetica, а из-под клавиш рвется «световая пила». Все те же маркеры: «Свет горит — как любить любых», «а всех обиженных, Бог мой, прости, / высокой водой накрывая Шар». И в конце — удивление выходящей из воды «счастливой И»: «непонятно чего на земле так звенит».

Шестая глава так и называется: «И». Первая буква собственного имени. Здесь все земное, совсем земное, природное. Не без иронии — то полный намеков разговор с дачным соседом на фоне бузинного соловья, то срубленная, но вечно лепечущая липка, то горькая рябина из песни («словно в этой рябине назло счастливой — вся великая русская литература / (с бесполезной женской инициативой))». Женская тема задета лишь по касательной, но все же «Инь», панически бегущая от прожигающего света, стоящего «с косым копьем луча наперевес» — весьма интересный поворот сюжета. И уже совершенно естественным кажется появление старой знакомой, героини преды-

дущей книги Ермаковой — это еко, «самурай-бабочка в радужном платье». У нее здесь свое предназначение:

> заруби на воздухе эту весть
> небывалую, два нездешних слова
> (только личное, ничего иного —
> просто радуга, как всего основа):
> счастье есть!

И кончается глава повисшей на листе каплей, фокусом моментального луча, выжигающим все «недо-уменья / недо-разуменья».

Седьмая глава («Полный свет») состоит всего из одного стихотворения, сложенного из семи условных строф, но именно в нем — фокус, как в той золотой капле. Это действительно полный свет, свет Евангельский. «Двойного зренья фокус точный» сводит в одно земное и небесное, и Мария с Елизаветой здесь — обычные женщины, ждущие первенцев («И родится Свет. Но прежде — свидетель Света»), и их болтовня прошита светом, и так прекрасно-безмятежна картина, хотя и чудятся где-то (читателю, не им!) дальние громы. Снова «сдвоенное чудо», и фон этой сцены — радость. Радость не только потому что в доме гостья, потому что красивы браслеты, потому что щедры «лукум, орехи, гроздь винограда в каплях розовых, луч в разломе граната», а еще и потому, что подразумеваются Елизаветины слова: «Радуйся, Мария!». И детсады-валенки-ангины через две тысячи лет — это ведь тоже радость.

В финале героиня сидит под деревом на берегу реки, внутри у нее полная гармония, и слетаются на эту гармонию «разногласные птицы». Опять сплошные символы — дерево жизни, поток времени. Но чтобы уж не было так пафосно и серьезно:

> Стукну затылком по дереву: уф, уф.
> Все мы смешны, когда разеваем клюв.
> Уф — как трещат пёрышки. Уф — тишина.
> Перистая. И времени — дополна.

Остается повторить, что те проблемы, которые не решаются рационально, вполне разрешимы в пространстве мифа. Но миф — это по определению такая возвратная, повторяющаяся штука. Все уже произошло, обо всем сто раз сказано — но ведь не услышано или забыто. Значит, надо напоминать, и каждый раз по-новому. Поэзия ведь не «учительное красноречие», а — ритуальное магическое действо. Когда-то Борис Дубин очень точно заметил, что «современный типовой человек... почти никогда не мыслит себя как отдельное, сложносоставное существо, соединяющее в себе многих — вчерашних и сегодняшних, живых и ушедших, вообще придуманных им самим или вычитанных у кого-то другого». В данном случае автор — как раз мыслит. Миф «Седьмой» — и поэтический мир Ирины Ермаковой — синтетичен, он не только античный, но и египетский, и пантеистический, и культурный, и семейный, в нем легко сосуществуют Марсий и Тот, Верлен и божья коровка, Башлачев и еко.

Елена Сафронова

Путь от старого маяка

Наиль Ишмухаметов живет в Татарстане, работает в редакции молодёжного литературно-художественного журнала «Идель». Литературная специализация Наиля широка: поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии. Он автор многочисленных подборок стихов в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Юность», «Дети Ра», «Аврора», «Север», «Подъём», «Бельские просторы», «Байкал», «Литературная газета», «Литературная Алма-Ата», «Контрабанда», «День и ночь», «Казанский альманах», «Идель», «Казань», «Аргамак Татарстан», «Татарский мир», «Республика Татарстан». Наиль Ишмухаметов — лауреат и финалист нескольких престижных литературных премий, в том числе лонглистер премии «Золотой Дельвиг» 2012 года. И вот в Казани вышла первая книга его стихов.

Ранее я не раз встречала стихи Наиля в литературных журналах, и они производили впечатление качественных текстов, запоминающихся и оставляющих приятное «послевкусие». Поэтому сейчас, читая книгу «В поисках Неба», как указано в аннотации, «ретроспективу» творчества Наиля Ишмухаметова за десять лет, я была удивлена своей подсознательной реакцией на нее, которую не сразу удалось выразить словами.

Потом осознала: меня преследовало чувство, что Наиль Ишмухаметов — поэт и гражданин эпохи «поэта и гражданина». Можно было бы назвать его «лириком советского образца». Недаром же одна из наград поэта за творческую деятельность такого по-хорошему ретроградного толка: он кавалер ордена Маяковского «Светить всегда!», которым награждают за верное служение художественному слову, за подвижническую деятельность на ниве отечественной литературы. Имя Маяковского прочно отождествляется с ярко выраженной гражданской позицией, «злободневными» политическими стихами, воспеванием общественной жизни. Такие стихи «заслоняют» его раннюю пронзительную лирику.

Не то чтобы с Наилем Ишмухаметовым происходило то же самое, но одна параллель просматривается. Книга стихов Ишмухаметова построена так, как было принято компоновать поэтические сборники в издательствах во времена социализма — сначала «паровозик», гражданственные стихи о Родине, потом все прочие; сегодня эта практика из книгоиздания почти ушла, но поэту никто не может запретить ставить «лучшие стихи в лучшей последовательности». Вряд ли композиция книги случайна; но чем она продиктована, чистой хронологией — Наиль Ишмухаметов «дитя» советского времени» по дате рождения (1964), пережил перестройку, распад СССР, дикий капитализм 90-х и живет при нынешнем «back in USSR» — или более сложными психологическими мотивами, кто же ответит, кроме автора?

Разве что рецензент, руководствующийся поэтическим «обликом» автора.

Наиль Ишмухаметов открывает книгу диптихом с нейтральным названием «Маяк на высохшей реке». Он начина-

---

Наиль Ишмухаметов. В поисках Неба: Стихи. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2014.

ется тоже «нейтрально», с пейзажной зарисовки:

Маяк одинокий, разбитый,
Беспламенный, старый, усталый.
Забвенья расплавленный битум
Втекает в незрячий хрусталик...

Метафорический ряд здесь продолжает линию «незрячести»: «глаукома», «тьма незнакомая», «тропинка в бездорожье», играющая роль нити Ариадны:

По ней увести мне хотелось
Тебя, потерявшего пламя,
Тебя, потерявшего реку,

К обрыву последних желаний,
Где мы, пара лишних молекул,
Две клеточки прошлого века,
В родное столетие канем...

Собственно говоря, здесь, вопреки «декларируемой» в стихах незрячести, читатель прозревает: автор прямым текстом обозначил свою причастность прошлому — читай двадцатому — веку, окрестив его «родным» столетием и для себя, и для маяка, который в ушедшую эпоху не был беспламенным и разбитым, а горел на берегу бурной реки. Тут своевременно вспомнится и девиз «светить всегда, светить везде!» И позиция поэта покажется очевидной — сейчас, мол, пойдет сопоставление «тогда» и «теперь»...

Обманчивое ощущение.

Бурьяном заросшие нивы,
И рек пересохшие русла,
И люди, ветрами гонимы
То влево, то вправо... всё мимо,
И мимо, и мимо... и пусть мы
Убоги... и молимся с грустью:
«Всевышний, ужели допустишь?..»
Но с гордостью чахлую пустошь
Зовём с придыханием — Русью!

Из полной, казалось бы, прострации, из упадка выйти то ли на гордость, то ли на иронию (обе одинаково убедительны!) — это надо уметь. Наиль Ишмухаметов сумел и то, и другое, и к тому же не покинул магистральной темы Родины. А что Родина у него не такая оптимистичная, как у Маяковского, так, во-первых, с тех пор много воды утекло по руслам высохших рек, а пейзаж сильно оскудел, а во-вторых, у агитатора — горлана- главаря тоже не все было однозначно...

Нынешнее обличье Родины — это слово часто ставится Наилем Ишмухаметовым в начале строки, с априорной заглавной буквы — поэт не приукрашивает:

Родина — это не там, где уютно,
Где не сквозит из щелей,
Где непонятно, конечно, поют, но
Радостней и веселей,

Чем на рассохшихся хлипких скамейках
Под перешёпот осин
Древние бабки в худых телогрейках
Стонут не в лад о Руси...

Однако он не отклоняется от раскрытия темы Родины, ключевой для русской словесности и выражающейся в знаменитых строках Цветаевой: «Но если по дороге куст встаёт... Особенно — рябина...»:

Да, здесь не пальмы — репей и ковыль, но
Помню всю жизнь об одном,

Как, оказавшись по собственной воле
В лучшей из чуждых сторон,
Видел во сне лишь ковыльное поле
И тучи русских ворон.

За этой стихотворной присягой на верность Родине следует — опять-таки в традиции! — ее обличение, мучительное самому говорящему, что подчеркивают отрывистые предложения, обилие многоточий и яркие эпитеты:

За лесистым бугром, за облезлым плетнём,
За кровавой войной созревает страна —
Зуб за зуб,
глаз за глаз,
боль за боль день за днём —
Созревает страна, непонятна, странна.

На ажурных подвязках её фонарей —
Обгорелые коды заоблачных мечт...
Бередят синеву аппликаторы рей...
И над венчиком розог — полуночный меч...

Для неё для одной ловим жемчуг со дна,
Для неё мы сбиваем алмазы с небес...
Созревает страна, ни к чему не годна...
С ней зарёванный бог, с ней хохочущий бес.

Антонимы *бога* и *беса* в поэзии так часто встречаются, что порой становятся подвидом пошлости — однако Наиля Ишмухаметова от этой опасности отводят характеристики данных персонажей-сил. Так же как центон, зачинающий другое стихотворение из этого же «гражданственного» блока, основан на строке, пардон, затасканной до потери своего первоначального трагизма:

мы живём, на запястьях не чуя оков.
под собою земли,
над собою небес,
присягаем на верность стране дураков,
целину поднимаем до поля чудес.

Но логика Наиля Ишмухаметова обратная, нежели у Мандельштама:

путь натужно живём,
кто-то должен тужить
кто-то должен тут жить,
хлеб тяжёлый жевать,
по ночам сотрясать вековую кровать.
.....
свет, включённый не нами, не нам и тушить.

И в этой кажущейся тяжеловесной покорности судьбе залог поэтичного выхода из близкой ловушки банальности либо повтора. Чтобы больше не возвращаться к теме центонов в творчестве Наиля Ишмухаметова, отмечу, что они используются редко, но метко. В них отражается Серебряный век: «Бессонница. О.М. Другие паруса», «Ночь. Улица. Фонарь и всё такое...» (это название, а не строка стихотворения), и даже «Плоскорезы альбатросов пашут толщу лазурита...», хотя здесь «родство» с «Жадны ржавые жирафы. Лижут жесткое желе» — скорее ассоциативное, чем центонное. Но и классика Золотого века не забыта: «Пока печаль моя светла, / покуда боль переносима», «Лесов таинственная синь», «В багрец и золото — предсмертные одежды — / Леса оденутся, усталость маскируя», «Дым отечества, где же ты, сладкий кальян?»

Впрочем, в любви к звучным центонам наш герой не оригинален — но что делать, если «первоисточники» такие запоминающиеся и манкие, а их умелое использование прибавляет «плюсов» мастерству поэта? Наиль Ишмухаметов центонами не злоупотребляет, но явно знает, когда, где и зачем их применить.

В этом ряду лишь одно стихотворение кажется мне лубочным:

Загляну в глаза Казани на заре,
в них
и Рим,
и Тадж-Махал,
и Назарет,
Междуречье,
стоязыкий Вавилон,
а над ними
Гжели русской небосклон.

Поутру в глаза Казани загляну,
я у этих глаз в пожизненном плену.

Впрочем, возможно, это просто искренность, не совладавшая с эмоциями. Как и совершенно бесхитростные стихи о тысячу раз, казалось бы, сказанном:

Родина — это не там,
Где и без нас хорошо,
Где по заморским кустам
Тёпленький дождик прошёл,
Где на роскошных цветах
Жирной пыльцы порошок...

Родина — здесь, за окном...

Стихи, так или иначе трактующие тему Родины, в книге «В поисках Неба» не поддаются исчислению и цитированию, ибо она — тема и Родина — буквально разлита по всем текстам, даже тем, которые формально обращены к другим предметам и переживаниям. Круг их не так и широк. Это любовь во всех ипостасях — драматичной, сладостной, семейной, иронической:

Когда жена обнажена,
Как миллионы Вер и Варь,
Когда любви полна луна,
Отставь Квятковского словарь,

Отложь усталый карандаш,
Погладь жену с любой руки,
Как миллионы Маш и Даш
Утюжат ихни мужики.

Дождись, тестируя кровать,
Когда взорвёт мозги звонок...
И возвращайся воспевать,
Как ты безмерно одинок.

Поэзия, также порой не без иронии:

Точка, точка, запятая,
в кухне рожа пропитая.
Ручка, стопка, огуречик —
сочиняет человечек.

Час, два, три, четыре, пять,
вот и рассвело опять,
горе ты моё, порей,
ведь убьёт тебя хорей.

Вера:

Беги, покуда Бог тебя хранит,
Навстречу Небу, лемминг одинокий.

Взросление/старение человека:

на белом свете тишина, читай, беда —
взрослеют дети, улетают кто куда...

В детстве ты мечтаешь стать кадетом,
в юности — уланом на буланом...
— А сейчас мечтаешь ли?
— Да где там,
досмолил цигарку дня... и ладно.

Неизбежность смерти и желание впитать всю полноту жизни:

Всей землицы — пядь под белый камень,
Вся скрижаль — цифирь-тире-цифирь,
Всей-то цели — тихо-тихо кануть,
Виршами замусорив эфир.

Это будет... да, обидно,
Что тебя с земли не видно.
Не видны вы с Богом оба
Ни в стакане небоскрёба,
Ни в приземистой избе, но
Это будет неизбежно...

Ты, подвздошным сплетением скованный,
На аортах распятый болезненно,
Знаешь, проза всегда будет жизнью, но
Поэзия — смерть родниковая...

Это вечные темы. Сказать о тривиальном по-своему — один из критериев профессионализма. Наиль Ишмухаметов им обладает: как видно уже по приведённым примерам, он не оперирует чужими, готовыми мысле- и словоформами. Ему с избытком хватает собственных. Концепция книги «В поисках Неба» выстроена между образом забытого, не светящего, ибо некуда, маяка — символа безнадёжного поиска — и цепочкой образов:

Почувствовать Небо. Наполнить ладоней
Шершавую чашу прохладной лазурью.
...Почувствовать Небо, услышав предсмертную
Песню корней, вырываемых бурей.
Почувствовать Небо, теряя земную опору.
Почувствовать...

Небо найдено, поиск завершен, а Родина, о которой мы так много говорили, совершенно очевидно находится в Небе. Пусть отождествление само по себе не новое, а берущее начало со средневековых богословов, но пришел к нему поэт не торными тропами, а стежками, затерянными во тьме, пустоте, бесцельности, безмыслии, суете и так далее. И никого, кроме старого маяка, не попросил указать путь.

Возвращаясь к образу «поэта и гражданина» и архаичности — в самом лучшем понимании слова — книги: вероятно, это потому, что Ишмухаметов — поэт неравнодушный! Он выбирает самые элементарные (они же насущные) темы и раскрывает их с высокой, порой захлестывающей эмоциональностью — недаром одним из сквозных образов в книге служит боль, то абстрактная, а то «персонифицированная», скажем, в больное сердце. На фоне современной поэзии, часто «отрекающейся» от прямого высказывания, незавуалированных чувств и сюжетности во имя игр уж не со словом, а с буквой, и демонстрации возможностей языка, а не поэтического слога, Наиль Ишмухаметов практически раритет, ценная археологическая находка.

К определению русскости

Рубрику ведет Лев Аннинский

> «По отцу я армянин, по маме — украинец, родился в 1952 году в Эстонии, с 11 лет в России, одним словом — русский!»
>
> *(Амаяк Тер-Абрамянц).*

Цитата — из письма, которым Амаяк Павлович сопроводил присланный мне свой новый роман.

«Эстонский роман», как сказано в подзаголовке.

Для равновесия укажу, что недавно вышел и его роман из истории Армении.

Эстонский же меня в данном случае интересует, потому что... «одним словом — русский!» Хотя всецело посвящен послевоенным годам Эстонии, то есть Эстонской Советской Социалистической Республики, как она в те годы называлась.

«Разгар сталинских репрессий, пронизывающие всю толщу жизни страх и недоверие... Сопротивление, казалось бы, в самых невероятных условиях».

Должен сразу признаться, что эта издательская аннотация не вызвала у меня энтузиазма. Одно дело, когда Шаламов и Солженицын первопроходчески исследуют пути и тупики сталинского времени, и другое дело, когда нынешняя беллетристика в сотый раз утаптывает эти темы... Да и от названия романа пахнуло на меня не лагерной баландой, а скорее нынешним сладким потребительством и тусовочным энтузиазмом: «Шоколадный вождь».

По ходу чтения эстонцы, впрочем, быстро вернули меня к реальности. К тогдашней реальности, вроде бы отошедшей от нас на полвека с лишним. Конечно, я не могу следить за всем тем, что у них теперь пишется и издается, но более сильных страниц о жизни эстонцев при советском режиме мне читать не приходилось.

Хотя в центре повествования супружеская пара вполне интернационального покроя: русский (инженер-лейтенант флота) и эстонка (со школьных лет хранящая ему любовь и верность) — реальность, в которой они живут (и растят

ребенка) — сотрясает их испытаниями. Если эстонец не готов перестать быть эстонцем, — ему некуда деваться: энкаведешная метла заметет его по любому поводу. Найдется же какой-нибудь идиотский повод для энтузиазма, и если эстонец не примкнет, его возьмут под прицел и упекут в ГУЛАГ, и тогда сыну такого «врага народа» не останется других путей, кроме как к «лесным братьям», да много ли продержишься в лесу? Изведут, выведут, угробят... Вот и сопротивляются эстонцы, глядя «сквозь» эту власть, в упор ее не видя, а при первой же возможности — норовя прыгнуть в припрятанную лодку и скользнуть ночью мимо пограничников — через залив, через море — туда, где сигналят финские суда...

А больше выхода нет. Бежать. Или затеряться. Переждать эту власть как дикое наваждение.

Но откуда эта власть и откуда ее дикость?

Марта, эстонка, жена нашего флотского лейтенанта, ненавидит и презирает все советское и русское: «она не разделяет эти понятия».

И автор романа — не разделяет?

Прослеживаю краски. Вот эстонцы бросают оружие в 1939 году. «Советские моряки и офицеры что-то помечают у себя в планшетах и улыбаются». Русские? Нет, советские. А «азиаты-охранники», конвоирующие арестованных, тоже улыбаются? А осведомители из эстонцев, работавшие на Гестапо и перешедшие на такую же работу в НКВД? А кто работает в этих наших органах? «Пареньки из Рязани, Тамбова и Закавказья...» Неспроста Закавказье помянуто: кончится лес эстонский — зашумит лес чеченский две эпохи спустя...

Да, русских мордоворотов хватает в смирительных органах. Одного из таких блюстителей режима, «замполита» по фамилии Полубаков убивает инженер-лейтенант Климов. Из чистой ненависти. Другой «замполит» по фамилии Хрипоносов продолжает наводить режимный порядок. Кто ему помогает? Сотрудники: один по фамилии Ломидзе, другой по фамилии Озолиньш (явно не эстонец, хотя и прибалт).

И когда по кагебешной лестнице взбирается апологет режима душой до самого верха, — кто отечески улыбается ему с портрета? Русский Держиморда? Нет, «чудесный грузин». И орет страна «Ура!» этому грузину...

Русские, где вы?

А вот: Ленин. Который первые лагеря на Соловках открыл (так думают герои романа, хотя на самом деле не Ленин их открыл, он их унаследовал от предшественников, но это дела не меняет). Ленину в романе предстоит отдуваться за все, что делалось и при нем, и после него от его имени.

В финале романа — грандиозная пьянка в КГБ. Непроницаемые официанты-эстонцы вносят «сурприз» — голову Ленина, изготовленную из шоколада. Может, они и не хотят скандала, но Хрипоносов чует провокацию:

— Эт-то что?! Вождя — жрать?

Официанты-эстонцы мгновенно исчезают. Затем с криками «Отравлено!» разбегаются подвыпившие гебешники. Затем, не скрою, и мне, читателю, хочется сбежать куда-нибудь от этой сцены, от которой разит не безумием

послевоенного времени, а нынешним парфюмерным духом безнаказанного разоблачительства — на спрос.

И вся эта, как говорят артисты, продажа номера идет в параллель здравым рассуждениям о том, что причина бед — война, и любая война — это «подлость и разбой, потому что убивают невинных». А если уж война, то все решает — Сила.

А когда проявилась настоящая Сила в этих краях? «Со времен Чингиз-Хана, — напоминает автор романа, — кто силен, тот и прав». Увы, так и было в истории: татаро-монголы Силой укрепили государство на этой евразийской равнине. А русские где были? — не могу удержаться от вопроса «по теме». Так их еще не было, они появились как Сила и сложились как народ в ходе последующей смены Сил. Тут я с автором не без горечи соглашаюсь... транспонируя тему в русское поле.

Ну, так все-таки в романе что-нибудь о русских напрямую сказано? О Силе, которая сплющила эстонцев при Советской власти, а перед тем сплющила Россию царских времен, так что само слово «русский» стало пахнуть провокацией?

Сказано. Немного, но так, что есть смысл вдуматься.

Во-первых, сказано: *«у русских все просто»*. Принято лезть в душу, то есть входить в чужую жизнь без приглашения». Чего никогда не позволит себе корректный эстонец.

Есть такой грех? Есть. Если тебе приходится общаться (конвоировать) множество людей, которых ты видишь впервые и вряд ли встретишь потом, — то это при русском общительном характере компенсируется компанейской безоглядностью и невменяемой беспардонностью. Иногда с помощью спиртного. Что и использовал честный Климов, угробивший забулдыгу-замполита Полубакова.

Во-вторых, сказано — я думаю, справедливо, хотя и «фигуристо»:

Издревле в народе русском существовали, взаимно боролись две ипостаси — святость, стремление к правде и — разбойная лихость...

Тоже верно. При таком размахе до правды втихую не доберешься, а лихим прыжком — можно. Если получится. И святость при таких масштабах не удерживается — добывать ее приходится через лихой грех, без которого у нас и святости нет. Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Честных нет. Но все святые. В принципе.

И третье, самое поразительное для меня рассуждение о русских:

— Вы не думайте, что я только легкие книги читаю, я, между прочим, даже этого, самого умного русского читала!

Анни постучала указательным пальцем себе по лбу.

— Кого же? — удивился Рауль.

— Господина Достоевского! — Анни гордо и даже надменно посмотрела на Рауля. — Эта вещь... Идиот! — указательный палец сделал пируэт и покрутился у виска.

— Вот как! — ахнул Рауль. — Ну и как?

— Ах, Достоевский! — Анни неожиданно расстроено махнула рукой.... — Как можно быть таким жестоким! Я читала и все время плакала, пока читала, читала и плакала, такие у него люди жалкие, беспомощные, будто в ловушке все, и выхода нет!

Так, может, и «беспомощность» отдельно взятого русского — плата за ту гигантскую ношу, которой его наградила История? И без этой ноши русские не появились бы как народ? И чтобы согласиться на такую роль, надо было согласиться прослыть идиотом?

Недаром же эстонка Анни так выразительно крутит пальцем у виска.

А Амаяк Тер-Абрамянц, родившийся от армянина и украинки и выросший в Эстонии, называет себя русским — не потому ли, что чувствует тяжесть роли, которую великий народ налагает на тех, кто согласен ее нести?

Или кто-то другой возьмет на себя эту роль...

Summary

Poetry

We present some poems by Konstantin SITNIKOV from Yoshkar-Ola and Stanislav LIVINSKIJ from Stavropol. Both poets are developing in the vein of Russian poetical traditions glancing back to the predecessors but being original and independent.

Armenia in DN's Pages

In this issue we present the works by the participants of the international festival "Literary Ark" which took place in Armenia last fall – of poets, prosaists and essayists from various countries and of different generations. And their Noah, of course, is GRANT MATEVOSYAN – the man of high wisdom and unique literary talent whose eightieth anniversary is being celebrated far and wide where the characters of his wonderful books has been living. We present two of his yet unpublished essays.

Under the heading "EVENTS, JUDGMENTS, DESTINIES"

we publish the abridged version of the book by ILYA FALIKOV "The Divian Stone" (from "divs" — the giant-creatures of the eastern mythology). Its protagonist, Boris Rijij, presents one of the outstanding events in the poetry of the XX century and one of its most tragic figures.

OLDGAS SULEIMENOV. Independence Is the Deliberate Interdependency

In his short essay the famous poet and Kazakh statesman O. Suleimenov is meditating over the experience of the development of the post-soviet countries and tells how the sense of interdependency between all the Kazakhstan's ethnoses, all the peoples of the region and of the planet has been cultivated in all the citizens of his country.

Under the heading "Literature and Life"

the writer and translator ANDREJ PUSTOGAROV analyzes the poems of Sergej Zadan — the well-known poet from Kharkov, one of the most talented today's writers — and his novel "Voroshilovgrad" and comes to the conclusion that S. Zadan happened to become not only the mirror which has reflected many things in the Ukrainian crises, the romance and the tragedy of Maidan and Donbass, but also has predicted some of them. The author tries to understand on which side the characters of Zadan's prose might fight now. We also publish some new poems by Sergej Zadan in Andrey Pustogarov's translations.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

http://drujba-narodov.livejournal.com/

и в Журнальном зале

http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»